



ДЕТЕКТИВ И ПОЛИТИКА

Издание Московской штаб-квартиры
Международной ассоциации
«Детектив и Политика»
(МАДПР)



5
1991

5/1991

**Издание
Московской штаб-квартиры
Международной ассоциации
«Детектив и Политика»
(МАДПР)**

*Почетный президент,
основатель МАДПР*
Юлиан СЕМЕНОВ

Главный редактор
Артем БОРОВИК

Зам. главного редактора
Евгения СТОЯНОВСКАЯ

Редакционный совет:

Алесь АДАМОВИЧ, писатель
(Беларусь)
Чабуа АМИРЭДЖИБИ, писатель
(Грузия)
Карл Арне БЛОМ, писатель (Швеция)
Лаура ГРИМАЛЬДИ, писатель
(Италия)
Павел ГУСЕВ, журналист (Россия)
Хуан МАДРИД, писатель (Испания)
Ян МАРТЕНСОН, писатель, зам.
генерального секретаря ООН (Швеция)
Андреу МАТИН, писатель (Испания)
Раймонд ПАУЛС, композитор (Латвия)
Иржи ПРОХАЗКА, писатель
(Чехо-Словакия)
Роджер САЙМОН, писатель (США)
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ, поэт
(Казахстан)
Микаэл ТАРИВЕРДИЕВ, композитор
(Россия)
Александр ЭЙДИНОВ, издатель
(Россия)

ДЕТЕКТИВ И ПОЛИТИКА

Выпуск 5(15) 1991

Издается с 1989 года

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Жерар де Вилье Реквием для тонтон-макутов	3
Питер Устинов Игра в осведомителя	155
Флетчер Флора За те же деньги	196
Владимир Соловьев Призрак, кусающий себе локти	227
Сердца четырех	249
Виктор Ерофеев — Владимир Соловьев Конец литературной диаспоры?	271

ЭКСПЕРТИЗА

Леонид Жуховицкий Записки шпиона	281
Вячеслав Костиков Холстомер и коммуна (Опыт личности и опыт истории)	292

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Ольга Бирюзова "Я люблю тебя, жизнь"	303
Александр Поклад Эфир из "стакана"	340

Новости

Москва, 1991

ББК 94.3
Д 38

ДЕТЕКТИВ И ПОЛИТИКА

ВЫПУСК 5

Ответственный за выпуск Н.Б. Мордвинцева
Редактор С.А. Морозов
Художники А.Д. Бегак, В.Г. Прохоров
Художественный редактор А.И. Хисиминдинов
Младший редактор Е.Б. Тарасова
Корректор Л.П. Агафонова
Технический редактор Л.А. Крюкова
Технолог С.Г. Володина
Наборщики Т.В. Благова, Р.Е. Орешенкова

Сдано в набор 15.08.91. Подписано в печать 21.10.91.
Формат издания 84х108/32. Бумага газетная 48 г/м².
Гарнитура универс. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 22,36.
Тираж 400 000 экз. (4-й завод 300 001—400 000 экз.)
Заказ № 452. Изд. № 8949. Цена 6 р. 90 к.

Издательство "Новости"
107082, Москва, Б.Почтовая ул., 7

Московская штаб-квартира МАДПР
103786, Москва, Зубовский б-р. 4

Типография Издательства "Новости"
107005, Москва, ул. Ф.Энгельса, 46

В случае обнаружения полиграфического брака просьба
обращаться в типографию Издательства "Новости"

Детектив и политика. — Вып. 5. — М.:
Изд-во "Новости", 1991. — 352 с.

ISSN 0235—6686

4700000000
067 (02)—91 Без объявл.

Составление, перевод, оформление.
Московская штаб-квартира Международной ассоциации
«Детектив и Политика» (МАДПР)
Издательство "Новости", 1991

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Жерар де Вилье

РЕКВИЕМ ДЛЯ ТОНТОН- МАКУТОВ

Французский писатель Жерар де Вилье получил известность в читательском мире прежде всего как автор серии остросюжетных политических детективных романов, насчитывающей около сотни названий. Герой всех романов — непобедимый Малько Лэнж, супермен и аристократ, принц (Его Сиятельство — *Son Altesse Sérénissime* — **SAS** — откуда и название серии), оказывается в нужный момент в нужных местах, чтобы за солидное вознаграждение, но всегда со смертельным риском, расстроить планы, наносящие ущерб интересам западных демократий.

Не так давно Ж. де Вилье, не оставляя писательское ремесло, открыл свое собственное дело — стал владельцем издательства, носящего его имя и выпускающего в основном детективную, приключенческую и эротическую литературу.

1

Сняв матерчатый ремень с кобурой, в которой находился покрытый ржавчиной Смит и Вессон-“магнум”, и положив его на край могилы рядом с соломенной шляпой и бумажным пакетом, где лежали три плода манго, Эстиме Жоликёр потянулся и зевнул. Было ровно шесть часов утра, и солнце еще не припекало. Однако к девяти часам и кладбище Порт-о-Пренса, и весь город превращались в пылающую печь. Если бы мертвецов не защищали толстые плиты из цемента и мрамора, эта адская жара растопила бы их, как сливочное масло. Но, слава богу, гаитяне уважали традиции: чтобы достойно похоронить своих близких, мужчины голодали, а девушки шли на панель. Уж кому-кому, а художнику по надгробным надписям Эстиме Жоликёру это было отлично известно: девочки-подростки в качестве платы за красивую эпита-

фию на новеньком надгробии избавляли его от разорительных путешествий к потрепанным доминиканкам из жалких борделей на улице Карфур. А будучи трнтон-макутом, он мог не беспокоиться о том, что его немногие умеющие читать заказчики осмелятся указать ему на орфографические ошибки.

Эстиме взял банку с краской, вернулся к своему рабочему месту и прочитал вслух для самого себя:

"Прощай, несравненный Вождь, достойный соперник Веспасиана, Мустафы Кемалья Ататюрка и Неизвестного беглого раба из Санто-Доминго! О Франсуа Дювалье, пусть эта гаитянская земля, которую вы так чувственно любили, будет вам пухом!"

Он был несказанно горд тем, что именно его выбрали для изготовления эпитафии на могиле Франсуа Дювалье, пожизненного Президента Республики Гаити, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Главы полиции и Шефа волонтеров Службы национальной безопасности, почившего неделю тому назад и более известного под малопочтенным прозвищем "папа Док". Сквозь выкрашенную голубой краской железную ограду виднелись венки, закрывающие всю цокольную часть маленького мавзолея, дверь которого была заперта на ключ, поскольку надгробную плиту еще не зацементировали.

В конце аллеи появился дряхлый кладбищенский сторож, каждое утро отпиривший ворота со стороны улицы Жан-Мари Гийу, на восточной стороне кладбища. Чтобы попасть к могиле "папы Дока", надо было, войдя через эти ворота, повернуть направо. Весь день за сменяющимися одна другую официальными делегациями пристально наблюдали тонтон-макуты, старающиеся высмотреть тех, чье горе проявлялось недостаточно бурно. Кредо режима раз и навсегда определил министр "папы Дока" Люкнер Камбронн: "Настоящий дювальерист всегда готов убить своих детей, отца и мать!"

Этот мудрый и смелый девиз гарантировал много работы Эстиме Жоликёру. Франсуа Дювалье умер, но дювальеризм оставался: его продолжателем был сын "папы Дока" — полнотелый Жан-Клод, новый пожизненный президент, прозванный американцами "Любимый сын диктатора" — сокращенно ЛСД.

Волоча ноги, старик-сторож поравнялся с Эстиме и опасно приветствовал его. Но тот даже не повернул головы, samozабвенно работая кистью.

Солнце поднялось уже довольно высоко. В девять часов новый пожизненный президент Жан-Клод Дювалье должен был подкатить на "Мерседесе-600", чтобы поклониться могиле своего знаменитого отца. За стенами кладбища несколько такси, доставившие первых посетителей,

тронулись в обратный путь, к центру города. Из-за жары в Порт-о-Пренсе встают рано...

Эстиме Жоликёр решил сделать маленький перерыв, чтобы перекусить. Положив кисть, он взял один плод манго и, жуя, еще раз перечитал написанное. Из всех упоминавшихся в эпитафии героев он слышал только о Неизвестном беглом рабе из Санто-Доминго. Манговый сок стекал у него изо рта, пока он предавался размышлениям, наморщив лоб от этого усилия. Ему ужасно хотелось добавить к эпитафии что-нибудь от себя лично, доказав тем самым свою преданность дювальеризму. Может быть, "Величайший Благодетель"? Нет, сухогато. Этак, пожалуй, могут обвинить в недостатке любви к покойному президенту. Надо было придумать что-то более возвышенное.

Отбросив кожуру манго, он снова взялся за кисть, продолжая ломать голову в поисках какой-нибудь особенно эффектной фразы.

От этого творческого процесса его отвлек скрип тормозов. Эстиме обернулся: у ворот кладбища остановился серый "пежо-универсал", ничем не отличающийся от десятков маршрутных такси, непрерывно колесивших по Порт-о-Пренсу. Трое мужчин вылезли из машины и вошли на территорию кладбища. Первый из них, с курчавыми, коротко стриженными волосами, был в темных очках и в плотно облегающей шарообразный живот голубой тенниске. Его спутник, тоже темнокожий, был одет в белую рубашку с короткими рукавами и холщовые брюки. Из-за пояса у него торчала деревянная рукоятка маленького револьвера.

"Макуты", — подумал Эстиме, руководствуясь своим чутьем. В Порт-о-Пренсе их были сотни, а всего на Гаити — тысячи, и каждого он не мог знать в лицо. Эти, возможно, приехали из какой-нибудь отдаленной деревни в Артибоните*, чтобы поклониться праху своего любимого вождя. Официально тонтон-макуты назывались "волонтерами Службы национальной безопасности" и подчинялись только президенту.

Жоликёр встал по стойке "смирно" и рукой, все еще сжимающей кисть, попытался было отдать честь.

Но не успел завершить этот жест.

Двое незнакомцев расступились, пропустив вперед третьего — в белой куртке и галстук, — который направил на Эстиме Жоликёра большой кольт-44. Тот замер, сразу же узнав стоящего перед ним гиганта с широким, приплюснутым носом: фотографии этого человека висели во всех полицейских участках и дежурных помещениях

* Район в центральной части Гаити. (Здесь и далее — прим. перев.)

тонтон-макутов. Снабженные короткой инструкцией: "Стрелять без предупреждения".

Это был Габриэль Жакмель, бывший глава тонтон-макутов, бывшая правая рука президента, а ныне предатель и враг номер один дювальеизма, по официальным сводкам скрывающийся в горах.

Гигант улыбнулся, обнажив ослепительно белые зубы, и стволом своего кольта указал на дверь мавзолея:

— Открой!

Ошеломленный Эстиме Жоликёр не мог ни пошевелиться, ни ответить. Каким образом Габриэль Жакмель оказался в Порт-о-Пренсе? Бывший глава тонтон-макутов казался уверенным в себе. Он был выше своих спутников на целую голову, и мощный кольт выглядел крошечным в его огромной руке.

— Открой, — повторил он, — или я снесу твою паскудную дювальеристскую башку!

Курок колта был взведен. На губах у Жакмеля играла скверная улыбка. Сжимая рукоятки своих револьверов, оба его телохранителя не отрывали глаз от ворот кладбища. Нисколько не беспокоясь, что их могут заметить. Когда в Порт-о-Пренсе видят человека с револьвером, ему не задают вопросов. Болота по обе стороны дороги в Ибо-Бич полны трупами тех, кто пренебрег этим жизненно важным правилом.

Эстиме Жоликёр бросил взгляд на пустынную аллею. Сторож ушел в свою будку у центрального входа, который находился слишком далеко от мавзолея: криков там не услышать. Эстиме покосился на свой револьвер. До него было метра три. Он наконец опустил руку, в которой сжимал кисть, и с трудом выговорил:

— Чего ты хочешь?

Габриэль Жакмель надвинулся на него:

— Знаешь, что *он* сказал мне однажды по телефону? Что я сам принесу ему свою голову! Ну так вот — я пришел за *его* головой... и теперь всем буду ее показывать... Открывай!

Капли пота выступили на лбу у Эстиме Жоликёра. Это было хуже святотатства. Как все гаитяне, он был вудуистом* и, подобно многим сторонникам Дювалье, верил, что "папа Док" продолжает преследовать своих врагов — но уже в виде зомби**. Однако для этого труп его должен был оставаться в целости.

* Вуду — разновидность африканского анимизма с элементами христианства и сатанизма, широко распространенная на Гаити.

** В религии вуду: мертвец, оживший под действием вселившихся в него сверхъестественных сил.

— Клянусь дювальеристской революцией, ключ ты не получишь! — с достоинством ответил Эстиме.

Улыбка сошла с лица Габриэля Жакмеля.

— Болван! — сказал он и, слегка повернув голову, позвал:

— Тома!

Телохранитель в темных очках устремился вперед как раз в тот момент, когда Эстиме Жоликёр, бросившись к своему револьверу, уже ухватился за его рукоятку. Но вытащить его из кобуры он не успел. Перед его глазами блеснуло лезвие мачете, выхваченного Тома из штанины брюк. Эстиме почувствовал ожог в горле, но не смог даже вскрикнуть: из его перерезанной артерии забил фонтан крови, забрызгавшей Габриэля Жакмеля, и Жоликёр повалился набок. Его тело передернуло судорогой. Для того чтобы увеличить рану, Тома пнул ногой его голову и нанес еще один удар, почти отделивший ее от туловища. Затем поднял револьвер убитого и засунул его себе за пояс.

— Быстрее! — приказал Жакмель.

Тома вывернул карманы брюк Эстиме Жоликёра и, найдя маленький плоский ключ, протянул его своему шефу. Тот взбежал по ступенькам мавзолея, вставил ключ в замочную скважину и повернул в замке. Сжимая в руке мачете, Тома последовал за ним, пока его тощий приятель за ноги оттаскивал труп в укромное место. В центре аллеи осталась только огромная лужа крови. Закончив свое дело, второй телохранитель вошел в мавзолей, закрыв за собой дверь. Габриэль Жакмель и Тома наклонились над каменной надгробной плитой и ухватились за ее края. От напряжения лица их перекосилились; оба тяжело дышали.

— Давай! — скомандовал Жакмель.

Оба напряжились. Вдруг Тома, выругавшись, отпустил плиту: засунутый за пояс револьвер сильно вдавился ему в живот. С вытаращенными глазами Жакмель изо всех сил напряг мускулы. Плита сдвинулась на несколько сантиметров. Жакмель выпрямился с торжествующим криком. Полученная им информация была точной: плиту еще не зацементировали!

Тома и второй телохранитель — Люк — с воодушевлением бросились на помощь своему хозяину. Втроем они отодвинули плиту в сторону. Увидев гроб, Габриэль Жакмель злорадно ухмыльнулся. Наконец-то, благополучно ускользнув от ищеек "папы Дока", он брал реванш! Теперь все на Гаити узнают, что у него находится голова Франсуа Дювалье!

— Отрезай осторожно, а то еще сделаешь ему больно! — насмешливо сказал он Тома.

В минуту торжества он мог позволить себе немного расслабиться.

— Тихо! — вдруг прошептал Люк.

Все трое замерли. Выждав несколько секунд, Тома осторожно подкрался к двери и чуть-приоткрыл ее: снаружи, глядя на мавзолей, неподвижно стояла молодая, экзальтированная миловидная негритянка с тонкими чертами лица. На ней были типичные для деревенских девушек тюрбан и короткое платье, оставляющее открытыми тонкие мускулистые ноги. Губы ее беззвучно шевелились: она молилась.

Габриэль Жакмель вытянул вперед голову, сжимая рукоятку кольта. От накатившей волны ярости его толстые губы задрожали и разошлись в хищном оскале. Как ему хотелось разmozжить голову этой идиотке!

Девушка продолжала пожирать глазами мавзолей пожизненного президента. Уходить она явно не собиралась. Для троих человек в мавзолее каждая лишняя секунда была чревата смертельной опасностью. От бешенства лицо у Жакмеля свела судорога. Он шепнул Тома:

— Прикончи ее — быстро!

Но действовать следовало осторожно: если девушка поднимет крик и бросится бежать к выходу, то непременно всполошит находящихся поблизости тонтон-макутов. Тогда шофер, ожидающий их в машине, укатит прочь, а на кладбище примчатся все полицейские Порт-о-Пренса. Самые ярые дювальеристы давно дали клятву, что, попадись Габриэль Жакмель им в руки, они заживо сдерут с него кожу щипцами.

Тома засунул свой липкий от крови мачете в штанину и, стараясь выглядеть непринужденно, толкнул дверь мавзолея и вышел. Девушка сцепила пальцы и издала сдавленный крик. От страха ноги у нее словно приросли к земле. Тома подскочил к ней и схватил ее за руку:

— Не бойся, дура, я не зомби!

Она дрожала, не в силах вымолвить ни слова. Ее соски отчетливо выступали под легкой тканью платья.

— Все в порядке, мы охраняем останки нашего любимого президента, — важно заявил Тома.

Она немного успокоилась, разглядывая его своими большими темными глазами. Стоя к ней вплотную, Тома начал медленно вытаскивать свой мачете. Оставалось только отступить и нанести удар. Внезапно за его спиной раздались детские крики. Он вздрогнул и обернулся: трое ребятишек смотрели на него сквозь решетку кладбищенской ограды. Тома властно потянул девушку к мавзолею:

— Пойдем — посмотришь на президента!

Она была так растеряна, что не оказала никакого сопротивления. Тома втолкнул ее внутрь и закрыл дверь.

Увидев Габриэля Жакмеля с кольцом в руке, она вскрикнула от страха. Одной рукой Тома зажал ей рот, а другой снова схватился за мачете.

— Постой, — тихо сказал Жакмель.

Теперь, когда эта неожиданная гостья уже не представляла опасности, его намерения изменились.

— Встань там! — грубо приказал он, указывая пальцем в угол. — Тебя как зовут?

— Мари-Дениз, — выдохнула она.

— Ну, а мое имя ты знаешь?

— Нет.

— Я — Габриэль Жакмель!

И он напыжился от сознания собственной важности. Девушка опять начала дрожать от страха. В свою бытность главой тонтон-макутов Жакмель терроризировал весь Порт-о-Пренс. Специализировался он, в частности, на том, что насмерть забивал палкой нищих, которые, судя по всему, производили дурное впечатление на туристов...

— Не убивайте меня! — взмолилась Мари-Дениз.

Габриэль Жакмель угрожающе поднял руку:

— Заорешь — голову отрежу!

Из кармана своей куртки он достал отвертку. Ни за что на свете ему не хотелось поделиться удовольствием снять крышку гроба Франсуа Дювалье. Забившаяся в угол Мари-Дениз окаменела от ужаса. А ведь совсем недалеко, на Марсовом поле, ее ждали деревенские подруги, чтобы вместе отправиться на рынок, расположенный на бульваре Жан-Жак Дессалин...

Один из винтов в крышке гроба скрипнул под отверткой. Несмотря на предупреждение, Мари-Дениз закричала. С безумными глазами Габриэль Жакмель подскочил к ней, схватил за горло и, прижав к стене, начал медленно душить одной рукой — как он делал когда-то в казармах "Дессалин". Мари-Дениз задержалась всем телом. Платье на ней было такое легкое, что Жакмелю показалось, будто она совсем голая. Его ярость сразу же уступила место грубому желанию. Приподняв ей голову, он присосался своими толстыми губами к ее губам. Однако Мари-Дениз упорно сжимала зубы. Отпустив ее горло, он в бешенстве дал ей пощечину и рванул на ней платье, обнажив высокие, крепкие и острые груди, с более светлой, чем на лице, кожей. Очевидно, в жилах Мари-Дениз текло немного крови белых людей.

В этот момент Тома и Люк, прекратив работать отвертками, радостно вскрикнули: крышку гроба удалось наконец приподнять. Габриэль Жакмель обернулся. Маленький мавзолей наполнило ужасное зловоние: жара не лучшим образом подействовала на "папу Дока". Схватив

Мари-Дениз за талию одной рукой, Жакмель задрал ее белое платье другой и сорвал с нее трусы. Она разрыдалась, не пытаясь больше сопротивляться.

На грубом лице Жакмеля появилось совершенно животное выражение. Давненько у него не было такой привлекательной девушки. Он лихорадочно расстегнул "молнию" на своих брюках... В мавзолее слышалось только его прерывистое дыхание и урчание. Мари-Дениз больше не плакала: ее охватила апатия.

Габриэль Жакмель заурчал громче и вонзил ногти в эластичную кожу ее бедер. Его последний рывок был таким резким, что Мари-Дениз вскрикнула от боли. Ей показалось, что внутри у нее находится раскаленное железо. Жакмель высвободился и удовлетворенно вытерся о ее платье.

Она посмотрела на него, одновременно запуганная и польщенная: многие простодушные гаитяне считали человека, который только что обладал ею, злым духом, воплощением всех темных сил. И тем не менее это был такой же мужчина, как и остальные... Немного успокоившись, она шмыгнула носом.

Уже забыв о ее существовании, Жакмель сидел на корточках у открытого гроба. Мари-Дениз видела, как поднимается и опускается его мачете. Когда Жакмель достал из гроба большой черноватый зловонный шар и осторожно засунул его в пластиковый пакет, который держал Тома, ее сотряс приступ тошноты, и она отвернулась. Тома закрыл пакет с головой "папы Дока". Вонь еще больше усилилась: стоя на коленях, Жакмель мощными ударами мачете вскрывал грудную клетку трупа — ему хотелось заполучить и сердце. Перерубив ребра, он вырезал его из груди. Тома снова открыл свой пакет. Жакмель бросил туда свою мерзкую добычу, поднялся и спокойно вытер руки о разорванный саван.

— Видала? — спросил он у Мари-Дениз.

Потеряв дар речи от ужаса, та перекрестилась. Жакмель подошел к ней и наотмашь ударил по щеке. Потом снова схватил ее за горло, сжимая на этот раз не слишком сильно, и вплотную приблизил к ней лицо.

— Когда мы уйдем, — отчеканил он, — ты выйдешь отсюда и всем расскажешь, что видела, как я унес голову Франсуа Дювалье!

Мари-Дениз покорно кивнула.

Первыми из мавзолея вышли Тома и Люк, затем, пятясь, — Габриэль Жакмель. Мари-Дениз застыла на месте. Ее нагое коричневое тело, покрытое каплями пота, выглядело очень странно рядом с открытым гробом.

...

“Мерседес-600” с номерным знаком “22” затормозил на улице Жан-Мари Гийу перед воротами кладбища. Двое мотоциклистов эскорта — полицейский в синей униформе и тонтон-макут в фуфайке, поверх которой болтался на ремне старенький автомат “томпсон”, — спешили. Позади “мерседеса” остановился черный “форд”, набитый полицейскими в форме, а за ним — еще один автомобиль с пятью тонтон-макутами, которые устремились на кладбище, чтобы осмотреть его до появления там президента: Жан-Клод не носил при себе оружия, и это легкомыслие огорчало приближенных, помнивших, что его отец, Франсуа Дювалье, который вообще редко покидал свой дворец, не расставался с двумя пистолетами и никогда не убирал со своего письменного стола американский карабин с удлиненным магазином. Эти мудрые предосторожности позволили ему умереть в своей постели.

Подойдя к мавзолею, один из тонтон-макутов — очень худой, в бежевом свитере и соломенной шляпе — сразу же увидел открытую дверь. Выхватив из-за пояса никелированный пистолет, он obeжал мавзолей, наткнувшись по дороге на труп Эстиме Жоликёра, затем помчался к “мерседесу”, наклонился к шоферу и сказал:

— Быстро уезжайте — здесь опасно. Жоликёр убит!

“Мерседес” тут же тронулся с места; за ним последовала машина с полицейскими. Тонтон-макуты тем временем начали прочесывать кладбище. Один из них, коротыш в клетчатой рубашке, вошел в мавзолей — и остолбенел, увидев открытый гроб и стоящую в углу Мари-Дениз, прикрывавшуюся обрывками своего белого платья. Она никак не отреагировала на его появление. Коротыш выволок Мари-Дениз из мавзолея, и ее немедленно окружили остальные тонтон-макуты, разъяренные и напуганные. Один макут изо всех сил уцепился за сосок. Мари-Дениз закричала. Прохожие на улице ускорили шаг.

Командир группы тонтон-макутов был серым от страха: он видел изуродованный труп президента.

— Кто это сделал? — тихо спросил он.

Под его напряженным взглядом Мари-Дениз обрела дар речи.

— Габриэль Жакмель, — выпалила она. — Он такой злой! С ним были еще двое...

Пока Мари-Дениз сбивчиво рассказывала о том, что произошло, трое тонтон-макутов побежали закрывать ворота кладбища. Командир лихорадочно размышлял. Сейчас его главной задачей было сохранение всего случившегося в тайне.

— Никто больше этого не видел? — спросил он.

— Никто.

Он покровительственно положил руку ей на плечо:

— Ты хорошая девушка. Сейчас тебя отвезут на рынок. И запомни: ты никому не должна говорить о том, что видела!

Он отошел в сторону и что-то тихо сказал двум своим людям. Те тотчас же взяли Мари-Дениз за локти, потащили ее к машине и грубо втокнули внутрь.

Стиснутая между двумя тонтон-макутами, Мари-Дениз не решалась сказать ни слова. Они проехали по улице Жан-Мари Гийу до улицы Павэ и миновали Марсово поле, где ее ждали подруги. Но и тут она не рискнула нарушить молчание. Машина повернула налево, к бульвару Жан-Жак Дессалин, и оставила позади рынок. На перекрестке улицы Дельмас, при выезде из Порт-о-Пренса, один из макутов с улыбкой начал гладить ей ляжку, затем без лишних церемоний он схватил ее руку и положил себе на бедро. Второй макут, сидевший за рулем, усмехнулся:

— Новенькая всегда больше возбуждает!

Уже давно догадавшись, чего от нее потребуют, Мари-Дениз безропотно стала ласкать своего соседа...

Они проехали еще два километра. В окрестностях поселка Симон Дювалье, на пустыре, прилегающем к военному аэродрому, тонтон-макуты остановили машину. Тот, кто уже получил свою порцию ласки, держал Мари-Дениз, пока второй макут насиловал ее, — затем они поменялись местами, после чего второй макут, в соответствии с полученным приказом, в упор выстрелил ей в ухо.

2

Малько не торопясь прошел через большую комнату, полную многочисленных сотрудниц Дэвида Уайза. Ему всегда было приятно входить сюда: большинство присутствующих его знали, и замедлившийся перестук пишущих машинок означал, что его высокая, элегантная фигура, светлые волосы и золотистые глаза не оставляют равнодушными этих скромных служащих — маленьких, но иногда полных очарования винтиков Центрального разведывательного управления. Его титул принца и соответствующая этому титулу форма обращения — "Ваше Сиятельство", — равно как и репутация искателя приключений высокого полета, делали Малько несбыточной мечтой маленьких секретарш большого здания в Лэнгли.

Этель, секретарша Дэвида Уайза, улыбнулась ему и — машинально или намеренно? — положила ногу на ногу, отчего ее юбка задралась очень высоко. "Точеные и восхитительно длинные", — мысленно констатировал он.

— Заходите, — сказала Этель. — Мистер Уайз и мистер Стоун вас ждут!

Она избегала называть Малько по имени, не зная точно, как к нему следует обращаться при его титуле.

Нажатием кнопки на своем столе она отперла дверь кабинета начальника Управления оперативного планирования. Под пристальным взглядом ее сине-зеленых глаз Малько вошел в кабинет, испытывая сожаление из-за того, что не успел с ней толком познакомиться.

.

— Чудо, что он еще жив. Это один из самых отъявленных мошенников во всем Карибском регионе. Просто рожден для предательства!

Малько взял фотографию, которую протягивал ему Рекс Стоун, заведующий зоной "Северные Карибы" Управления оперативного планирования, в которую входили Багамские острова, Куба, Ямайка, Доминиканская Республика и Гаити. Это был крупный мужчина с голубыми глазами и медлительным луизианским выговором. Кондиционер работал на полную мощность: из-за высокой влажности июльская жара здесь, в Вашингтоне, была нестерпима. Из троих присутствующих только всегда старающийся выглядеть элегантным Малько был в костюме и при галстуке. Впрочем, легкая ткань из альпаки позволяла переносить даже очень сильную жару.

Малько внимательно посмотрел на фотографию: высокий негр, с широкими, мощными плечами, носом с горбинкой, глубоко посаженными глазами и кожей, как у старой рептилии, идущий по улице прямо на камеру, судя по всему, снабженную телеобъективом.

— Похож на игуану, — заметил Малько.

Рекс Стоун весело фыркнул:

— Совершенно верно! Враги этого человека так его и называют: "Игуана". Впрочем, друзей у него нет... Итак, знакомьтесь: Жюльен Лало, семьдесят восемь лет. Когда мы оккупировали Гаити в пятнадцатом году, он предложил нам свои услуги — и оказал их немало: доносил на всех подряд... После нашей эвакуации с острова в тридцать четвертом все были уверены, что гаитяне сварят его заживо. Ничуть не бывало! Он продолжал заниматься доносительством, но уже для других хозяев. Словом, прекрасно вышел из положения. Работая на нас, он немного разжился и получил лицензию на импорт какого-тохлама. Предавал каждого нового президента и, разумеется, стал работать на Дювалье, когда тот решил покончить с мулатами, хотя Жюльен Лало сам мулат, несмотря на темную кожу. Отношения с этой старой сволочью "папой

Доком" у него были самые доверительные. Правда, это не мешало ему немножко работать и на нас — наверное, он боялся утратить навык. В остальном его интересуют только бабы. Преимущественно белые. Похоже, что все маломальски привлекательные жены дипломатов в Порт-о-Пренсе прошли через его постель. Совсем неплохо для его возраста!

Малько положил фотографию на стол:

— Прекрасный образчик человеческой породы!

В его золотистых глазах поблескивало любопытство, смешанное с презрением. Решительно "кухня" разведслужб была не слишком подходящим местом для дворянина... Малько пока не знал, чего хочет от него Дэвид Уайз, но начало не предвещало ничего хорошего.

— В общем, Жюльен Лало для вас весьма ценное приобретение?

— Это будет ваш лучший союзник в Порт-о-Пренсе, — ласково сказал Рекс Стоун. — Он там всех знает. Главное — убедить его предавать только тех, кого нужно.

Прежде чем Малько успел возразить, в разговор вмешался Дэвид Уайз. Его слова пригвоздили Малько к креслу:

— Это отличный малый! — заверил начальник Управления оперативного планирования.

По его глубокому убеждению, все, кто предавал свою страну в пользу США, были люди с чистой душой.

А Рекс Стоун уже извлек из досье вторую фотографию:

— Уверен, она вам понравится больше.

На фотографии была запечатлена девушка в шортах, с круглым, миловидным лицом, большими глазами и ниспадающими на плечи волосами, вылезая из "форда-мэверика". Ее поза позволяла по достоинству оценить стройные ноги и обтянутую майкой высокую грудь. Определить ее расовую принадлежность было трудно. У Малько вдруг пробудился интерес к предстоящей миссии.

— Кто это? — спросил он.

— Симона Хинч. Ее отец находится в изгнании в Пуэрто-Рико. Он духовный глава всех эмигрантов-антидювальеристов. Почти все его близкие были убиты людьми Дювалье. Симона живет недалеко от Порт-о-Пренса, в горах. Вряд ли кто-нибудь ненавидит клан Дювалье сильнее, чем она.

Рекс Стоун положил фотографию на место и продолжал:

— Она будет рада встрече с вами — особенно если вы привезете ей свежие новости об отце.

Все это выглядело весьма загадочно. Пока что Малько

было ясно только одно: ему предстоит действовать на Гаити.

Дэвид Уайз спокойно наблюдал, как его сотрудник демонстрирует фотографии, и с объяснениями не торопился. Малько держался настороженно, отлично зная бесцеремонность секретных служб.

Рекс Стоун ободряюще улыбнулся:

— Недурна, правда? Даже и не скажешь, что негритоска!

Малько проигнорировал его ремарку. Решительно эти спецслужбисты — просто-напросто шантрапа. Ни тени учтивости!

Рекс Стоун выудил из досье очередное фото и протянул его Малько:

— Еще один из ваших будущих друзей...

На снимке была какая-то пара, пьющая шампанское в заведении, похожем на ночной клуб. Женщина с копной ярко-рыжих волос была красива, но вульгарна. Мужчина походил на провинциального альфонса. Над его толстой верхней губой топорщились усики, на мизинце правой руки поблескивал огромный перстень. В складках рта чувствовалась жестокость.

— Чезаре Кастелла, — сказал Рекс Стоун. — Лучшая ищейка СИМа — тайной полиции покойного Трухильо из Санто-Доминго. Однажды приказал расстрелять из крупнокалиберного пулемета группу доминиканских крестьян, которые не хотели платить налоги. В настоящее время безработный. После убийства Трухильо мы дали ему убежище в нашем посольстве в Санто-Доминго и тем самым избавили от серьезных неприятностей. Я лично знаю нескольких человек, которые мечтают заживо сварить его в кипящем масле... Да, так вот потом он перебрался на Гаити, где оплатил вид на жительство, выдав тонтон-макутам всех доминиканских агентов в Порт-о-Пренсе. По справедливости весь южный участок кладбища в Порт-о-Пренсе надо бы назвать в его честь. В настоящее время по-прежнему живет в Порт-о-Пренсе. Дювальеристы его пока терпят. Мы иногда подбрасываем ему деньги.

— Зачем помогать такому подонку? — с искренним возмущением спросил Малько.

Рекс Стоун пожал плечами:

— Хорошие профессионалы нужны всегда...

Малько с трудом удержался, чтобы не спросить, не собирается ли Конгресс Соединенных Штатов наградить Чезаре Кастелла за его подвиги...

— Ну а женщина?

— Ею жена. Бывшая содержанка Трухильо. Спит с одним высокопоставленным тонтон-макутом — опять-таки ради продления вида на жительство.

Малько вздохнул и вернул фотографию. Вряд ли была нужда в дополнительных сведениях о Чезаре Каstellла, еще одном славном представителе злосчастной человеческой породы. Почувствовав, какое он испытывает отвращение, Дэвид Уайз поторопился его успокоить:

— Эти люди всего лишь статисты. Нас интересует вот кто...

Он протянул Малько снимок, сделанный в кабинете президента Франсуа Дювалье: "папа Док", положивший руку на плечо гигаңта ярко выраженного негроидного типа, который торжественно прижимал к сердцу автомат "томпсон" с вставленным магазином.

— Габриэль Жакмель в эпоху "медового месяца" с "папой Доком", — проинформировал Рекс Стоун. — Был в числе первых его сторонников. Немало способствовал избранию Дювалье с помощью динамитных шашек, очень разумно распределенных между его политическими противниками. Умен и необуздан. Поссорился с "папой Доком" по идеологическим причинам. До своей внезапной опалы занимал высокие посты.

Всматриваясь в крупные черты лица Габриэля Жакмеля и в его лишенные всякого выражения глаза, Малько спросил:

— Какие именно посты?

— Был шефом тонтон-макутов.

Казалось, в кондиционированном воздухе кабинета запахло кровью... Увидев гримасу Малько, Дэвид Уайз счел нужным снова вмешаться в разговор:

— Он поссорился с Дювалье два года назад. С тех пор за его голову обещано вознаграждение. В Порт-о-Пренсе говорят, что через несколько дней после смерти Дювалье Жакмель проник в его усыпальницу, отрезал голову трупа и вырвал у него сердце.

Все лучше и лучше...

— И съел их? — с омерзением спросил Малько.

Дэвид Уайз принужденно улыбнулся:

— Нет, просто это связано с религией вуду. Многие на Гаити считают, что "папа Док" обладал "лоа" — магической силой. Жакмель решил завладеть ею...

— Так вы теперь интересуетесь магией? — изумленно спросил Малько.

Телеграмма Дэвида Уайза с просьбой прибыть в Вашингтон заставила его спешно покинуть свой замок в Австрии. Правда, он все равно собирался лететь в Америку, чтобы продать свой дом в Поукипси, в штате Нью-Йорк, поскольку реконструкция замка поглотила десятки миллионов долларов. Одно его крыло было уже вполне пригодно для обитания, и Малько хотелось успеть этим воспользоваться, прежде чем какой-нибудь агент из противо-

борствующего лагеря не отправит его на тот свет: работы по реконструкции замка и благоустройству окружающего парка были — увы! — далеки от завершения, и Малько ни сейчас, ни в обозримом будущем не мог послать Центральное разведывательное управление ко всем чертям и начать спокойно жить на своих землях. Да вдобавок ко всему Александра предпочитала платья от Диора тракторам строителей. Словом, имея на руках полуразвалившийся замок и дорогостоящую невесту, он должен был продолжать свою карьеру внештатного агента.

Пока же ему было ясно только одно: ЦРУ планирует какую-то операцию на Гаити, где только что умер президент Франсуа Дювалье и откуда всего пятьдесят километров до Кубы — рукой подать...

Но какую именно операцию?

На столе зазвонил один из телефонов. Дэвид Уайз снял трубку, и, благодаря встроенному динамику, Малько услышал голос президента Соединенных Штатов:

— Дэвид, жду вас в моем кабинете!

В динамике зазвучали короткие гудки. Начальник Управления оперативного планирования невозмутимо положил трубку на рычаг. Вертолет, площадка для которого была оборудована на крыше здания № 2, позволял добраться до Белого дома за десять минут.

— Продолжайте без меня, — сказал Дэвид Уайз. — Я — к президенту.

Достав из стенного шкафа свой пиджак, он простился и вышел из кабинета. Малько мысленно задал себе вопрос, не связан ли этот вызов к президенту с темой их разговора.

Рекс Стоун неторопливо раскурил сигару и снова стал перебирать фотографии.

— С какой целью вы мне их показываете? — спросил Малько.

Чиновник из ЦРУ лукаво сощурился:

— Вам предстоит встретиться с этими людьми. Их фотографии могут спасти вам жизнь. Несколько месяцев назад один из наших агентов должен был войти в контакт с неким гаитянином. Он знал только его имя — фото у нас не было. Под видом нужного человека на встречу явился тонтон-макут. С тех пор нашего агента никто не видел.

Обнадеживающая история...

— Ну а ваш фотограф — он был поосторожнее?

В глазах американца блеснул насмешливый огонек. Взяв из досье еще один снимок, он протянул его Малько. Тот нахмурился: на снимке был изображен пастор в темном костюме строгого покроя и с Библией в руке. На щеках у него играл здоровый румянец. Из-за очков в роговой оправе он казался старше.

— Пастор Джон Райли, — пояснил Стоун. — Работает на Гаити уже четыре года. Почти святой, если судить по ценности переданной им информации. Одержим фотографией.

Малько едва сдержал свое возмущение:

— Это настоящий пастор?

— Гм, ну скажем, это человек глубоко верующий. При встрече с ним сошлитесь на меня. Вы найдете его на "Радио-Пакс", независимой гаитянской радиостанции, которой мы немного помогаем материально.

Малько было хорошо известно бескорыстие ЦРУ...

— А что у вас там на "Радио-Пакс" — база ПВО? — иронически спросил он.

Рекс Стоун предпочел не отвечать. Этот австрийский принц был неисправим! Ничего святого.

Он выпустил сигарный дым и сказал:

— Вы неплохо действовали в Аммане. Но на Гаити ситуация еще более деликатная. Н-да, одних посылают на Луну, а вот вас — прямиком в средневековье. Да еще и к неграм!

Малько не был расистом — эта миссия беспокоила его по другим причинам. Настало время объясниться:

— Вы хотите, чтобы я открыл на Гаити филиал Армии Спасения для безработных агентов?

Лицо Рекса Стоуна вновь приняло серьезное выражение. Он откинулся на спинку кресла и жестко сказал:

— Пора наконец покончить с семейством Дювалье. Сейчас самый подходящий момент: "папа Док" мертв, а его сын — пустое место. Если все пройдет хорошо, то через несколько месяцев Гаити освободится от дювалье-ристской клики, и никто не будет об этом жалеть. Вы ведь знаете, каковы были методы Дювалье, чтобы удержаться у власти?

Малько знал и потому не испытывал симпатии к старому чернокожему тирану и его дебильным и свирепым тонтон-макутам.

Стоун начал что-то чертить на лежащем перед ним листе бумаги. Потом поднял голову:

— Четырнадцать лет "папа Док" плевал нам в лицо: обращался с нашими послами, как с дерьмом, и тянул из нас деньги. Он даже прибегал к шантажу: однажды, для того чтобы выудить у нас еще денег, объявил, будто дал согласие на открытие в Порт-о-Пренсе посольства Польши — под тем предлогом, что двести лет тому назад служившие во французских войсках поляки перешли на сторону восставших рабов. Теперь потомки этих поляков продают гаитянам мачете, с которыми те маршируют на парадах!

Он сделал паузу — словно для того, чтобы дать своему

собеседнику возможность осознать всю глубину этой вопиющей несправедливости, — потом продолжил:

— Мы должны вмешаться — иначе Гаити окажется под властью коммунистов: сторонников Дювалье уничтожат, и на смену им придут кубинцы. С шестьдесят восьмого года на острове существует ОПГК — Объединенная партия гаитянских коммунистов. В один прекрасный день она может захватить власть. Надо их опередить.

Малько выслушал эту тираду скептически:

— Но разве режим не стал либеральнее?

Рекс Стоун хмыкнул:

— Либеральнее! Действительно: раньше они приводили в исполнение смертные приговоры в четыре часа утра, а сейчас — в шесть. Подарили приговоренным еще два часа сна... А разорившихся торговцев больше не казнят. Правда, государственные служащие по-прежнему получают часть своего жалованья лотерейными билетами. Но перейдем к делу!

Из-под досье с фотографиями он достал тонкую белую папку:

— Вот что послужило причиной для разработки операции. Это рапорт, недавно полученный от нашего сотрудника на Гаити. Работу он проделал серьезную. После смерти "папы Дока" мы внимательно следили за эволюцией событий и требовали от нового правительства сделать некоторые шаги в сторону либерализации режима. Мы дали им понять, что только так они могут рассчитывать на установление с нами нормальных отношений и получение кредитов. Речь шла о самых элементарных вещах: освобождение политических заключенных, хоть немного свободы печати, более цивилизованное правосудие...

Он умолк.

— И как они к этому отнеслись?

— Они отказались, — мрачно ответил Рекс Стоун. — Потчевали нас самым наглым враньем. Один министр, например, поклялся Фрэнку Гилпатрику — нашему человеку в Порт-о-Пренсе, — что на Гаити нет ни одного политического заключенного!

— А это не так?

Рекс Стоун чуть не свалился с кресла:

— Что значит "не так"? Да у них был по меньшей мере один политзаключенный — банкир, которому мы оказали помощь, потому что он обещал нам избавить Гаити от семейства Дювалье! Они посадили его в "Фор-Диманш" — тюрьму Порт-о-Пренса, — там и убили...

Малько посмотрел на висящую на стене карту острова, правую часть которого занимала Доминиканская Рес-

публика, а левую — Гаити, где так легко можно было сложить голову...

— И что же вы собираетесь предпринять? — мягко спросил он. — Выпустить в небо Порт-о-Пренса белых голубей в надежде пробудить в дювальеристах гуманность?

Он был неисправим.

— Речь идет о захвате власти антидювальеристами, — сказал Рекс Стоун.

Весьма туманно.

— Во главе с кем?

Рекс Стоун выдержал его взгляд.

— С Габриэлем Жакмелём. Это единственный человек, который вот уже два года сопротивляется клике Дювалье. Нужно только помочь ему взять верх и установить на Гаити демократию.

— А не приходилось ли вам прежде помогать Фиделю Кастро? — ядовито спросил Малько.

По кабинету, казалось, прошепествовал бородатый призрак... Рекс Стоун живо ответил:

— Знаете, что было главным в работе Жакмеля, когда он возглавлял тонтон-макутов? Ликвидация коммунистов! Он убил их с добрую тысячу. Некоторых по его приказу загнали в сарай вместе с женами и детьми и сожгли там заживо. Уж этот парень нас точно не продаст!

— Понятно, — сдержанно сказал Малько. — Вы предлагаете мне устроить революцию с помощью безработного убийцы, профессионального доносчика и смазливой девицы — ах да, и еще одного бывшего тонтон-макута...

Рекс Стоун помрачнел. В ЦРУ было принято говорить не о "революции", а о "народном восстании". С иронией глядя на американца, Малько поигрывал своими темными очками. Значит, ему хотели поручить ни больше ни меньше как свержение законного правительства. Теперь он понял, почему Дэвид Уайз обратился именно к нему: в случае провала в лапы тонтон-макутов попадет не американский разведчик, а внештатный агент, да к тому же иностранец, от которого всегда можно спокойно отречься. Малько вспомнил о несчастном Штайнере, представшем перед суданским трибуналом и оставленном на произвол судьбы своими заказчиками по части мокрых дел. Безрадостная перспектива.

Словно прочитав его мысли, Стоун поторопился добавить:

— Вы будете не один. Сейчас я вас ознакомлю с некоторыми деталями операции "Вон-Вон"...

Малько встал и надел свои темные очки.

— Но я еще не закончил! — воскликнул Стоун.

— А я закончил. Поищите другого героя, — вежливо сказал Малько. — У меня нет никакого желания быть из-

рубленным в куски тонтон-макутами. Или зажаренным, как те кубинские коммунисты. Позвоните супермену — пусть он прилетит и все вам быстренько устроит! Можно еще приказать правому агенту, который родил этот рапорт, начать партизанскую войну. Ну а если его схватят — пошлите ему на выручку морскую пехоту!

Он взялся за ручку двери. Остаться здесь не имело никакого смысла: в ЦРУ иногда были склонны принимать желаемое за действительное.

Рекс Стоун не пошевелился. Он трюлько поднял указательный палец и торжественно заявил:

— Избавить Гаити от дювальеризма — нужная и благородная миссия. Кроме того, в случае успеха вы получите пятьсот тысяч долларов!

Рука Малько словно приклеилась к ручке двери. Пятьсот тысяч долларов! Даже с учетом инфляции огромная сумма. Может быть, ему все-таки удастся завершить реставрацию замка. И есть еще Александра, безропотно ожидающая, когда наконец он попросит ее руки. После улаживания всех материальных проблем это станет возможным. Мысленным взором Малько увидел донжон и крышу левого крыла своего замка: побитая черепица, прогнившие деревянные конструкции... Он вспомнил, какой озноб у него вызвала смета, сделанная венской строительной фирмой: а ведь реставрацию следовало завершить до наступления зимы... Да-а, операция должна быть сверхрискованной, если Дэвид Уайз, не отличавшийся щедростью в трате "параллельного" бюджета ЦРУ, выделил такую сумму...

Рекс Стоун помолчал, давая Малько возможность подумать. Потом, видя его озабоченное лицо, уточнил:

— Мы гарантируем вам сто тысяч — только за вашу поездку на этот сволочный остров. Если же операция пройдет успешно, но вы оттуда не вернетесь, то вся сумма будет переведена на счет того лица, которое вы нам укажете. Даю в том мое честное слово.

Значит, в худшем случае Александра станет богатой наследницей.

Малько отпустил ручку двери и вернулся к своему креслу. Рекс Стоун с облегчением налил себе полный стакан "пепси-колы".

— Но разве не дешевле послать туда кого-нибудь из ваших штатных сотрудников? — спросил Малько. — Даже учитывая повышение пенсий...

Рекс Стоун отрицательно покачал головой:

— Дело не в деньгах. Обстановка на Гаити очень сложная: если вы попадетесь, на помощь не рассчитывайте. И потом, здесь нужен особенно находчивый и деликатный человек — такой, как вы. У Габриэля Жакмеля были

какие-то нелады с Симоной Хинч — а для успеха операции необходимо их взаимодействие.

— Жакмель в курсе?

— Нет. Вы сами его во все посвятите. Но для начала вам предстоит его разыскать.

— Где?

Американец устало улыбнулся:

— Не имею ни малейшего представления. Ваша задача состоит в том, чтобы сунуть руку в корзину с гремучими змеями и не быть укушенным.

— Спасибо за откровенность.

Рекс Стоун широко улыбнулся:

— Мне вовсе не хочется, чтобы ваш призрак посещал меня по ночам... Кстати, если вы принимаете наше предложение, — вот самая опасная из всех гремучих змей, — он протянул Малько фотографию высокой, сравнительно молодой женщины в длинном платье. Изящное овальное лицо, маленький прямой нос, тонкие губы. Пышные волосы делали ее тяжеловатый подбородок менее заметным.

— Одна из немногих мулаток, примкнувших к Дювалье. Очень умна и совершенно аморальна. После бегства Габриэля Жакмеля фактически управляет деятельностью тонтон-макутов. Думаю, она непременно встретится на вашем пути.

— И как зовут это нежное создание? — спросил Малько, возвращая фотографию.

— Амур Мирбале. У нее вилла в Петьонвиле, недалеко от Порт-о-Пренса, и кабинет во Дворце.

Малько посмотрел на квадрат неба в окне. Как обманчива была тишина в этом прохладном кабинете! Каждый ящик несгораемого шкафа у стенной карты хранил в себе неведомую миру жестокую и кровавую историю. Вроде той, в которую теперь хотели вовлечь и его. Несмотря на нужность и благородство миссии по избавлению Гаити от дювальеризма и пятъсот тысяч долларов, Малько отчаянно хотелось отказаться от всего этого.

Догадываясь о его сомнениях, Стоун сказал:

— Прежде чем вы примете окончательное решение, позвольте мне ознакомить вас со всеми деталями операции "Вон-Вон"...

Он откинулся на спинку кресла и начал свой рассказ. Малько зачарованно слушал. Работников ЦРУ можно было обвинить в чем угодно, но только не в глупости. Помимо возможности заработать крупную сумму, Малько увлекался логичность и скрупулезная точность плана этой рискованной операции. Сама собой напрашивалась параллель с прекрасно выверенным часовым механизмом, в котором ему, Малько, предстояло быть пружиной. В уютном кабинете, где звучал мягкий голос Рекса Стоуна,

четко излагавшего мельчайшие детали разработанного в ЦРУ плана, все казалось очень простым. Когда Стоун закончил, у Малько сложилось ясное представление об операции "Вон-Вон". Он посмотрел в глаза своему собеседнику. Пора было определяться.

— Я согласен, — заявил он.

Рекс Стоун посмотрел на него с нескрываемым восхищением.

— Или вам чертовски нужны пятьсот тысяч, или вы действительно заслуживаете своей репутации, — сказал он.

— В Вашингтоне есть ресторан, где подают приличную икру с русской водкой? — спросил Малько. — Если есть — я вас приглашаю!

Прежде чем принять участие в беспощадной междоусобице в нищей, полудикой стране, ему хотелось немного насладиться прелестями жизни. Он решил пригласить и симпатичную Этель.

3

Поджав хвост и почти касаясь носом земли в поисках пищи, вдоль здания аэровокзала трусил крупная черная собака с торчащими ребрами и впалым животом. Увидев ее, солдат, стоящий на посту перед дверью багажного отделения, издал боевой клич, щелкнул затвором автомата и прицелился. Раздалась короткая очередь. С отчаянным взвизгом несчастное животное перекувырнулось, упало и осталось лежать с конвульсивно дергающимися лапами.

Негр-носильщик торопливо поставил на землю оба чемодана Малько и устремился к выходу, чтобы посмотреть на агонизирующую в луже крови собаку. В маленьком аэровокзале Порт-о-Пренса наступило некоторое затишье. Несколько гаитян окружили собаку. Один из них злобно плюнул на нее. С автоматом наперевес, словно приближаясь к вооруженному врагу, солдат-постовой раздвинул зевак и в упор разрядил магазин в лежащую собаку, превратив ее в кровавое месиво.

Чувствуя, как к горлу подступает тошнота от этой бессмысленной жестокости, Малько повернулся к высокому гаитянину, вместе с которым летел из Нью-Йорка на "Боинге-707" авиакомпании "Америкэн Эрлайнз":

— Какая гнусность! Почему он это сделал?

Тот не успел ответить — вмешался подоспевший полицейский:

— Это больное животное. Очень опасное. Оно могло покусать людей!

Малько не стал спорить. Гаитянам, как он только что

убедился, удалось найти весьма эффективный способ борьбы против бешенства. Институт Пастера мог только позавидовать такому простому решению...

Когда полицейский отошел, попутчик Малько наклонился к нему и прошептал:

— Он сказал неправду. Это "папа Док" приказал убивать всех черных собак!

— Всех черных собак? Почему?

Гаитянин серьезно ответил:

— Говорят, что государственный изменник Габриэль Жакмель может превращаться в черную собаку. Именно так ему удалось спастись от полиции...

Солдат тем временем схватил мертвую собаку за хвост и поволок ее в сторону. К возмущению, вызванному у Малько и самой это сценой, и породившим ее нелепейшим предрассудком, примешивалась глубокая тревога. Ведь именно Габриэля Жакмеля ему и надо было разыскать — и отнюдь не в обличье собаки...

Жизнь аэровокзала вернулась в нормальное русло. Малько вытер лоб шелковым платком: в лишенном кондиционеров помещении ему пришлось простоять четверть часа в очереди только для того, чтобы поставить штамп в паспорт. Настроение у него испортилось еще на подлете к Порт-о-Пренсу, когда, взглянув в иллюминатор, он увидел стиснутый между побережьем и зелеными холмами город, свинцовое море и стоящие в дальнем конце аэродрома, рядом с двухмоторным самолетом "Пайпер Команч", принадлежавшим покойному Франсуа Дювалье, три старых, прогневших "Мустанга П-51" и один "Б-25".

Носильщик поставил багаж Малько перед таможенником, который рылся в чемодане пассажира, прибывшего тем же рейсом. Достав из чемодана связку писем, таможенник нахмурился, развернул одно из них и принялся его изучать, держа вверх ногами.

Малько с трудом сдержал приступ смеха. Владелец писем был очень напряжен. Стоявший рядом с Малько пассажир шепнул ему:

— Он проверяет, не от эмигрантов ли это!

Продemonстрировав свою власть, таможенник брезгливо положил письма на место.

Сидя на скамейке за его спиной, двое крепкого телосложения негров в черных куртках и темных очках наблюдали за происходящим. Один из них полез во внутренний карман своей куртки за сигаретами: Малько заметил деревянную рукоятку пистолета. Это были тонтонмакуты — свирепые гвардейцы дювальеристского режима. Сердце у Малько забилось быстрее. Он снова погрузился в странный, полный опасностей мир...

Придвинувшись к таможеннику, попутчик Малько с детской непосредственностью засунул ему в нагрудный карман сложенную купюру. Тот сразу же начертил мелом крестик на его чемодане, а заодно и на чемоданах Малько, в одном из которых было оборудовано двойное дно, где лежал специальный ультраплоский пистолет. Малько даже не успел поблагодарить своего спасителя: тот уже шагал к помятому серому "форду". У выхода из аэровокзала Малько толкнул какой-то негр в коротких клетчатых брюках. Это был, престранный, пообезьянны гримасничающий, необыкновенно худой субъект с наголо бритой, как у Юла Бриннера, головой. В руке он держал трость с серебряным набалдашником, совершенно неуместную у такого персонажа. Он очень долго извинялся, мешая французские и английские слова, потом подпрыгивающей походкой вошел в здание аэровокзала.

Носильщик положил чемоданы в багажник покрытого пылью "пежо", и Малько устроился на грязном продавленном сиденье.

— Мне нужно в "Эль-Ранчо", — сказал он по-французски.

Окружающий городской пейзаж очень напоминал африканские трущобы. Из-за опущенных стекол воздух в машине был горячим и влажным.

Шофер ловко маневрировал между маршрутными такси и "тап-тапами" — грузовиками, выполняющими функции автобусов и покрытыми наивными рисунками и лозунгами религиозного и политического характера. Несколько минут машина Малько следовала за "тап-тапом", украшенным надписью: "Папа Док на всю жизнь!", потом развернулась на большой круглой площади и покатила по широкому, поднимающемуся к холмам бульвару, по обеим сторонам которого росли деревья, покрытые удивительными ярко-красными цветами. Малько заметил вдалеке огромный экран "драйв-ина", совершенно неожиданного в этих местах.

* * *

На взятой напрокат "мазде" Малько проехал мимо гигантского транспаранта, на котором гирляндами красных электрических лампочек было выложено: "Да здравствует пожизненный президент Жан-Клод Дювалье!". После смерти "папы Дока" достаточно было заменить имя... Утомленный тряской на неровной дороге, Малько сбавил скорость и взглянул на одиноко стоящий в центре Марсова поля "Пале Насьональ" с его пустынной эспланадой. Это было небольшое белое трехэтажное здание

длиной метров в пятьдесят, расположенное на красивой лужайке и окруженное высокой железной оградой и плотной изгородью кустарников. Поглощенный этим зрелищем, Малько лишь в самый последний момент заметил "кирпич" и едва успел затормозить. Подъезд ко дворцу был запрещен, дабы у кого-нибудь не возникло искушение бросить гранату в его левое крыло, где обитала семья Дювалье. Позади дворца находились казармы "Дессалин", где были расквартированы отборные части гаитянской армии, а перед ним — приземистое здание казарм "Франсуа Дювалье", в которых размещалось Управление полиции, также охранявшее покой семьи диктатора.

Малько повернул налево, в сторону памятника Неизвестному беглому рабу. Хотя его "мазда" была совершенно новой и обладала отменными ходовыми качествами, он чувствовал себя измочаленным от этой автопрогулки: дорога из Петьонвиля в Порт-о-Пренс была вся в ухабах. Да к тому же требовались крепкие нервы, чтобы постоянно лавировать между пешеходами и "тап-тапами", которые вдруг резко тормозили или совершали крутые виражи. Кругом царила ужасающая нищета. Большинство гаитян ходили босые, по обеим сторонам дороги были дощатые хижинки с крышами из жести. Под беспощадно палящим солнцем рикши перевозили тяжелые грузы. Виллы состоятельных людей находились далеко от этого узкого, петляющего шоссе — к ним вели каменистые дороги, по которым почти невозможно было проехать.

У кинотеатра "Рекс" он, как его и проинструктировали, повернул налево. Центр Порт-о-Пренса был выстроен по американскому стандарту: улицы пересекались под прямым углом. Если бы не автомобили, можно было подумать, что находишься на Диком Западе конца прошлого века, видя эти обшарпанные дома с большими деревянными балконами, незаасфальтированные улицы и торговцев, разложивших свой нехитрый товар прямо на тротуаре.

Малько въехал на изрытую ухабами улицу Паве, вдоль которой тянулись лавчонки с незастекленными витринами, проехал три квартала и пересек бульвар Жан-Жак Дессалин — главную артерию Порт-о-Пренса, идущую параллельно морскому берегу. Множество разноцветных "тап-тапов" двигались в сторону рынка. "Мазда" запрыгала на неровном покрытии. Улица Паве кончилась. Малько увидел желтый фасад и надпись "Канадский королевский банк". Напротив находилось большое складское помещение — обитель профессионального доносчика Жюльена Лало. Подробная информация Рекса Стоуна позволила

Малько избежать компрометирующих контактов с работниками американского посольства — и прежде всего со вторым советником и резидентом ЦРУ в Порт-о-Пренсе Фрэнком Гилпатриком.

Выйдя из машины и едва не задохнувшись в раскаленном, влажном воздухе, который, казалось, можно было разрезать ножом, Малько открыл дверь в помещение склада. Узкая деревянная лестница вела на второй этаж, к застекленным кабинетам. Малько увидел какого-то негра и обратился к нему:

— Мне нужен господин Лало.

— Он наверху.

Малько поднялся на второй этаж и, увидев дверь с табличкой "Дирекция", постучал и вошел в кабинет.

* * *

Жюльен Лало переливал какую-то жидкость из большой бутылки в бутылку поменьше. У него была удивительно темная кожа. Окон в кабинете не было, но астматичный кондиционер создавал некоторую прохладу. Подняв иссохшие и морщинистые, как у рептилии, веки, Жюльен Лало посмотрел на Малько. Его седеющие волосы были аккуратно зачесаны назад. Он выглядел не старше шестидесяти лет. Наверное, преступления позволяют хорошо сохраниться...

Малько протянул ему руку:

— Я — друг Рекса Стоуна.

Жюльен Лало невозмутимо поставил бутылку, поднялся из-за стола и, вкрадчиво улыбнувшись, с недюжинной силой сжал руку Малько. Он был выше его сантиметров на десять.

— Какой приятный сюрприз! Давненько мы с ним не виделись... Садитесь!

Малько быстро воспользовался этим приглашением, пока Жюльен Лало не передумал, и, сняв свои темные очки, спросил:

— Что вы переливаете с такой осторожностью?

Плутовская улыбка озарила иссохшее лицо старого негра. Он взял маленький пузырек и протянул его Малько:

— Возьмите, это вам пригодится, если вы пробудете на Гаити еще немного времени...

Малько понюхал желтоватую жидкость. По запаху это напоминало скверный ром.

— Спиртное?

Жюльен Лало прыснул со смеху:

— Нет, не совсем. По-креольски это называется "буа-кошон" — возбудитель!

— Шпанские мушки?

— Нет.

Жюльен Лало показал на большую бутылку:

— Знахари делают это из коры разных деревьев, которую они три недели настаивают на роме.

Он наклонился к Малько:

— Точно говорю, действие поразительное. Я каждый вечер выпиваю по стаканчику!

Рептильи веки Жюльена Лало приподнялись; темные белки его глаз были бы неразличимы на черном лице, если бы не мерцавший в них похотливый огонек. Малько вспомнил, что ему говорил Рекс Стоун: несмотря на преклонный возраст, Жюльен Лало жил интенсивной половой жизнью. Воспользовавшись тем, что старик погрузился в свои эротические мечтания и утратил бдительность, Малько сказал:

— Рекс Стоун заверил меня, что вы сможете оказать одну услугу, в которой он очень нуждается...

Все еще думая о своем, Жюльен Лало слегка кивнул:

— Да, да, конечно. А о чем речь?

— Мне нужно встретиться с Габриэлем Жакмелем.

Помяни он сатану в римском соборе Святого Петра, вряд ли эффект был бы сильнее. Из горла Жюльена Лало вырвался хриплый возглас, а веки опустились на глаза, точно занавес.

— Мистер Стоун не в курсе последних событий, — тихо произнес он. — Эту просьбу выполнить невозможно. Габриэль Жакмель — враг гаитянского народа. И в Порт-о-Пренсе его наверняка нет. Лично я думаю, что он подох где-нибудь, как собака.

Он был почти убедителен. Впрочем, Малько ожидал такой реакции.

— Из надежных источников нам известно, что Жакмель находится в Порт-о-Пренсе, — твердо сказал он. — Вы тут всех знаете — вам нетрудно будет его разыскать. Это единственное, о чем я вас прошу.

Жюльен Лало отрицательно покачал головой:

— Это невозможно. Когда-то я действительно оказал несколько услуг мистеру Стоуну, но сейчас я занимаюсь только бизнесом. И президент Франсуа Дювалье был моим другом. Встретиться с Жакмелем означало бы предать его память. Вот — посмотрите!

Он встал и снял со стены фотографию в рамке. Малько искоса взглянул на нее: Франсуа Дювалье, протягивающий смиренно склонившемуся Жюльену Лало американский карабин "М-1".

— Он подарил мне его за несколько недель до своей смерти, — с верноподданническим трепетом сказал Лало. Забыв уточнить, что патроны к карабину были переданы

ему позднее. "Папа Док" любил дарить оружие своим верным сторонникам, но соображения безопасности были превыше всего...

Это трогательное проявление дружбы оставило Малько холодным.

— Доктор Дювалье мертв — а вот мистер Стоун находится в добром здравии.

Жюльен Лало снова покачал головой:

— Я не смогу вам помочь. Найдите кого-нибудь другого. У мистера Стоуна много друзей в Порт-о-Пренсе...

Эвфемизм, означавший: здесь найдется множество людей, готовых на все. Доллар, как-никак, имеет на Гаити хождение наравне с местным гурдом... Но все-таки только Жюльен Лало мог выйти на Жакмеля. Значит, следовало немного поднажать.

Хозяин кабинета встал, давая понять, что беседа окончена. Не поднимаясь со стула и не меняя позы, Малько произнес:

— Насколько мне известно, еще совсем недавно вы оказали несколько услуг мистеру Стоуну. Жаль, что мне придется проинформировать его о внезапном изменении вашей позиции. Очень жаль!

Он сделал ударение на слове "очень". Жюльен Лало словно окаменел. Малько поднялся со стула, надел свои темные очки и протянул ему руку:

— До свидания, господин Лало, рад был с вами познакомиться!

Жюльен Лало отчаянно заморгал. На его морщинистой шее вздулись вены, а в темных глазах блеснула ненависть: достаточно было нескольких телефонных звонков из ЦРУ — и прощай его лицензия на импорт!

Со страшным усилием он выдавил из себя улыбку:

— Вы мне нравитесь. Пожалуй, я все-таки попробую вам помочь. Знахарь, у которого я покупаю "буакошон", — очень известный хумган*. Может быть, он что-нибудь знает... Завтра я должен с ним увидеться — заодно и расспрошу о Жакмеле!

Малько не стал афишировать свое удовлетворение. Пока Жюльен Лало прихрамывая провожал его до двери, Малько все пытался угадать, за счет чего он еще мог пользоваться успехом у женщин. Кожа на его шее была сморщенной, как печеное яблоко.

— Я живу в "Эль-Ранчо", — сказал напоследок Жюльен Лало.

Его рукопожатие было не таким энергичным, как при встрече.

* Жрец вуду.

* * *

Дорога, петлявшая среди поросших деревьями холмов, начала углубляться в джунгли. До Петьонвиля было несколько километров. Вцепившись в руль машины, Малько всматривался вперед. Чтобы найти дом Симоны Хинч, он располагал лишь примитивным планом, который набросал для него один из служащих ее картинной галереи. Надо было проехать три километра в сторону Кенскофа и повернуть направо у высокой стены. К дому молодой женщины вела узкая дорога. У ворот должен был стоять ее зеленый автомобиль марки "мэверик".

Малько взглянул в зеркало заднего вида: ни души. В этом районе находились виллы богатых гаитян из Порт-о-Пренса. За покупками они ездили в расположенный в десяти километрах Петьонвиль. Нервы у Малько были на взводе: охваченный паникой Жюльен Лало вполне мог послать его в западню. Выбор у старого доносчика был мучительно трудный: избавиться от Малько — или рискнуть встретиться с Габриэлем Жакмелем. На всякий случай, отправляясь в это путешествие, Малько сунул под сиденье машины свой ультраплоский пистолет.

Показалась упомянутая служащим стена. Малько повернул направо и поехал по узкой дороге между виллами, которые казались необитаемыми. Увидев зеленую машину, он затормозил и выключил мотор. Воздух здесь был восхитительно чистым и прохладным. Малько достал из своей поясной сумки адресованное Симоне Хинч письмо и положил его во внутренний карман пиджака.

* * *

Выхватив письмо из рук Малько, Симона Хинч развернула его и сразу же погрузилась в чтение, так и оставшись стоять посреди комнаты. В жизни она оказалась еще привлекательнее, чем на фотографии: джинсы аппетитно обрисовывали округлость ее ягодиц, а полурасстегнутую блузку распирала высокая грудь. Однако в ее больших карих глазах, красоту которых подчеркивали аккуратно уложенные на висках волосы, сквозила бесконечная усталость. В ней ощущался какой-то надлом. Нежное и чувственное от природы лицо портили напряженность и озабоченность. Ее кожа была удивительного золотисторычиневатого тона, будто подвергнутая обжигу.

Прочитав письмо, она посмотрела на Малько и мелодичным голосом, в котором, однако, тоже чувствовалась напряженность, сказала:

— Извините — я даже не предложила вам выпить...

Она ушла на кухню и вернулась оттуда с подносом, на

котором стояли два стакана, бутылка рома и минеральная вода "Перье". Налив ром в стаканы и разбавив его "Перье", она села напротив Малько.

В доме царила полная тишина. Чистый воздух и окружающий ландшафт напоминали Швейцарию. Малько пригубил крепкий и прохладный напиток, не спуская глаз с хозяйки дома. На вид ей было лет двадцать пять. Что заставило ее уединиться в этой глухомани? Симона Хинч в свою очередь оценивающе смотрела на Малько. Молчание становилось очень красноречивым... Вдруг эта почти незнакомая женщина вызвала у Малько острое, животное желание. Она казалась такой женственной и беззащитной со своим цветущим телом и красивым, истомленным лицом...

Наверное, почувствовав его состояние и решив разрядить атмосферу, она положила ногу на ногу и спросила:

— Вы знаете моего отца?

Малько покачал головой:

— Лично нет — но много о нем слышал.

— Зачем вы приехали сюда?

Она продолжала сжимать в руке письмо, точно опасаясь, что его могут отнять.

Малько улыбнулся:

— А вы — почему вы прячетесь в этой глуши, вдали от Порт-о-Пренса?

Симона Хинч горько улыбнулась:

— Потому что хочу покоя. Раньше я жила в квартале Буа-Бернар, недалеко от церкви Сакре-Кёр. У меня там было много друзей. Но одни уехали, других нет в живых. Все опустело. А возле моего дома часто стали появляться тонтон-макуты — и, поскольку мне хорошо известно, на что они способны, я предпочла поселиться здесь.

Малько не отрываясь смотрел на нее своими золотистыми глазами.

— В ожидании лучших времен?

Симона Хинч на секунду оживилась, но потом глаза у нее снова потухли, и она покачала головой:

— Об этом нечего и мечтать — у дювальеристов очень сильные позиции. Чудес не бывает.

— Речь идет не о чудесах... — начал Малько, решив, что пора переходить к делу.

И он спокойно рассказал ей о причинах своего приезда на Гаити и о ее возможной роли в операции. Поначалу она слушала с изумлением, потом с интересом и наконец возбужденно стала покусывать губы. Не будучи еще уверенным в ее согласии, Малько пока не упомянул о Габриэле Жакмеле. Когда он закончил, Симона Хинч долго молчала, опустив глаза, потом сказала:

— Мне бы очень хотелось поверить, что это возможно! До сих пор все попытки покончить с дювальеризмом были заранее обречены на провал. Однажды заговорщики даже захватили "Б-25" и бомбардировали Дворец — и так были уверены в успехе, что не запаслись горючим на обратный путь. Им пришлось сесть на аэродроме Порт-о-Пренса, где их и схватили. "Папа Док" лично пытал их в подвалах своего дворца. Трупов потом никто не видел...

И она мрачно добавила:

— Поэтому будьте осторожны. Тюрьма "Фор-Диманш" битком набита людьми, которые думали, что им удастся свергнуть Дювалье...

Малько колебался: прежде чем выложить все карты на стол, надо было убедиться в ее готовности сотрудничать. А для этого следовало завоевать ее доверие — и в самый короткий срок: дювальеристы со дня на день могли заинтересоваться целью его приезда на Гаити.

— Мне бы хотелось пригласить вас в какой-нибудь приличный ресторан, — предложил он. — Здесь такие есть?

Симона неуверенно ответила:

— Это было бы неосторожно с нашей стороны. Нам лучше не показываться вместе.

Она помолчала, потом слабо улыбнулась:

— Хотя, когда вы подъезжали к дому, вас, наверное, все равно видели: здесь все друг за другом следят... И повсюду — макуты. На людях нельзя сказать ничего лишнего... Может быть, пойти в "Сэ Си Бон"? Это дансинг, где макутов не слишком много...

...

Под звуки песни "Папа Док на всю жизнь!" три пары тряслись на крошечном пятачке между столиками. Музыканты маленького оркестра от души веселились, глядя на самозабвенно вращающую бедрами высокую негритянку с выкрашенными в рыжий цвет волосами.

Малько и Симона сели за столик недалеко от входа. Снаружи "Сэ Си Бон" был похож на обычную виллу. Погруженная почти в полную темноту танцплощадка находилась на первом этаже. Здесь пили и ели танцуя. В углу какая-то пара находилась в продвинутой стадии флирта.

Оркестрик не переставая играл практически одну и ту же слащавую мелодию.

— Потанцуем? — предложил Малько.

В темноте он едва различал черты ее лица. Кокетливо собранные на затылке волосы, подчеркивающее строй-

ную фигуру короткое платье и запах тонких духов делали ее очень привлекательной.

Танцевала она грациозно, не прикасаясь к Малько.

И вдруг прижалась к нему всем телом.

Он даже не успел этому обрадоваться: она прошептала ему в ухо:

— Посмотрите!

Пять негров усаживались за один из столиков.

— Это макуты!

Она сжала руку Малько. В центре лба у нее образовалась глубокая морщина. Малько обнял ее; она положила голову ему на плечо. Они танцевали не в такт музыке, прижавшись друг к другу. Постепенно она стала расслабляться — но вдруг встрепенулась и, отодвинувшись от него, прошептала:

— Боюсь, вы будете разочарованы.

— Разочарован?

— Да. Мужчины меня не интересуют. Но я могу подыскать вам какую-нибудь девушку. Я понимаю, что вам это нужно.

Уставшие музыканты решили сделать перерыв. Малько и Симона сели за свой столик. Макуты молча пили пиво. Симона снова напряглась. Малько дружески погладил ей руку.

— Это сильнее меня, — тихо произнесла она. — Я видела слишком много ужасов. Люди здесь иногда исчезают. Время от времени узнаешь, что кого-то из них макуты забили насмерть в "Фор-Диманш".

Помолчав, она сказала:

— Уйдем отсюда!

Пока они шли к выходу, Малько не покидало ощущение, что все пятеро тонтон-макутов не спускают с них глаз. Снаружи царил кромешный мрак. Малько с трудом разыскал свою машину. Симона откинула голову на подголовник и, казалось, заснула, не смущаясь тем, что платье у нее задралось почти до бедер.

• • •

Всю дорогу они ехали молча — только когда Малько затормозил у ее дома, она подала признаки жизни.

— Извините, я задремала...

Она повернулась к нему. Несколько секунд они смотрели друг на друга, потом, повинаясь властному инстинкту, Малько обнял ее и привлек к себе. Она не сопротивлялась. Он попытался раздвинуть ей зубы языком: на какой-то миг это ему удалось — но она сразу же опять плотно сжала челюсти и губы, хотя и не отодвинулась от него. Малько положил руку на ее обнаженную ляжку.

Сильно вздрогнув всем телом, Симона съежилась, точно укушенная змеей. Малько снова попробовал раздвинуть ей зубы, но на этот раз она молча отодвинулась от него. Он не стал упорствовать.

— Как зовут человека, который должен возглавить переворот? — неожиданно спросила она.

Малько заколебался. Трудно было не ответить на столь прямой вопрос. Более того: если Симона почувствует, что он ей не доверяет, это повредит делу.

— Габриэль Жакмель.

Лицо Симоны Хинч исказилось, а губы задрожали, словно ее ударили. Несколько тягостных секунд она молчала — и вдруг, разрыдавшись, стала судорожно открывать дверцу машины.

— Уезжайте! — сдавленным голосом произнесла она. — Уезжайте — и никогда больше не возвращайтесь!

Малько замаялся. Она хотела еще что-то добавить — но только всхлипнула и стремительно выскочила из машины, стукнувшись головой о верхнюю кромку кузова. Когда Малько вышел из машины, она уже взбегала по ступенькам своего дома. Он бросился за ней, но дверь захлопнулась перед его носом. Он постучал: никакого ответа. Странно. Рекс Стоун упоминал о "неладах" между Жакмелем и Симоной Хинч, но, похоже, слово это было слишком мягким.

Дверь внезапно распахнулась. Стоя на пороге, Симона целилась в Малько из пистолета "лама". Лицо у нее было залито слезами, но глаза горели ненавистью.

— Мне очень хочется всадить вам пулю в живот, — прошипела она, — и если вы немедленно не уберетесь, я так и сделаю. Не появляйтесь здесь больше никогда!

Малько был в нерешительности. Пистолет подрагивал в ее руке. Она действительно могла выстрелить. Малько отступил. Он был очень зол на самого себя.

— Я вернусь, — сказал он. — Не знаю, чем я провинился, но если я причинил вам боль, прошу меня простить.

Она не ответила и проводила его глазами до машины.

4

— Церемония вуду начнется завтра в одиннадцать вечера. Там будет один человек по имени Финьоле — он и устроит вам встречу с Жакмелем. Не пытайтесь его разыскать, он сам вас найдет — я ему описал вашу внешность.

Жюльен Лало говорил, почти не шевеля губами, как будто среди травинки искусственного газона, окружающего бассейн в "Эль-Ранчо", прятался целый отряд

тонтон-макутов. Он сидел в шезлонге у бортика бассейна — именно в таком положении и нашел его Малько, когда спустился из своего номера.

Малько не нравилась мысль о ночных посещениях местных фольклорных обрядов: на этих сборищах так легко получить удар мачете...

— Почему вы не хотите пойти вместе со мной?

Рептильи веки старого негра опустились еще ниже:

— Не нужно, чтобы меня там видели. Вы — другое дело: никого не удивит, если иностранный турист захочет побывать на церемонии вуду. И Захария — это хумган — в курсе. Он мой друг и целитель. Вам нечего бояться...

Вот это как раз и казалось сомнительным.

Хотя поблизости не было ни души, Жюльен Лало склонился к Малько еще ближе:

— Найти это место нетрудно: по улице Авраама Линкольна доедете до масонского храма "Ла Веритэ", а от него отсчитаете третий дом. Там предупреждены — вас сразу впустят!

Предупреждены-то, предупреждены — вот только о чем? Жюльен Лало довольно убедительно разыгрывал простачка, и это вызывало беспокойство.

Однако была и другая проблема.

— Жакмель знает, кто я?

Жюльен Лало покачал головой с выражением детской наивности на лице:

— Да как я мог ему об этом рассказать? Я ведь с ним лично не знаком. Ему просто передали, что вы — от моего приятеля, вот и все....

Старый мошенник. Малько оставалось только прибегнуть к традиционной угрозе.

— Наш друг Рекс Стоун будет очень недоволен, если со мной что-нибудь случится, — уронил он.

Жюльен Лало вдруг уставился на что-то за его спиной. Малько обернулся: на ступеньках лестницы, ведущей к бассейну, стоял тонкий как спичка негр, с которым он столкнулся в дверях аэровокзала в день своего прибытия в Порт-о-Пренс. На нем был легкий пиджак в клеточку и карикатурно узкие брюки, штанины которых не доходили до щиколоток. Увидев Лало, он приветственно взмахнул тростью и танцующей походкой направился к нему.

Выругавшись сквозь зубы, Жюльен Лало молниеносно извлек из кармана маленький флакон и вручил его Малько как раз в тот момент, когда незнакомец подошел к ним, суетливо демонстрируя безмерную радость от этой встречи. Он пожал руку Жюльену Лало, обменялся с ним несколькими словами по-креольски, затем повернулся к Малько, отвесил ему глубокий поклон и представился:

— Туссен Букан к вашим услугам! Я занимаюсь обслуживанием туристов. Если у вас есть проблемы — готов помочь. Найти меня легко: я каждый вечер бываю в гостинице "Олафсон".

От его английского произношения королева Виктория, наверное, перевернулась в гробу.

— Весьма признателен, — вежливо сказал Малько.

А Туссен Букан оживился еще больше:

— О, я вижу, мой друг Жюльен достал вам "буа-кошон". Это потрясающая вещь!

Он разразился визгливым смехом, расшаркался, покрутил тростью и пошел к вестибюлю.

Как только он скрылся, Малько спросил:

— Кто это?

Жюльен Лало брезгливо поморщился:

— Стукач. Все шляется и вынюхивает. Чтобы сбить его с толку, я и дал вам "буа-кошон".

— Зачем же вы назначили мне встречу в таком месте?

Старый негр пожал плечами:

— Половина моих служащих все равно стучит на меня макутам. И в "Эль-Ранчо" я бываю часто.

Он встал и протянул Малько руку:

— Наверное, мы больше не увидимся...

Казалось, он сейчас прослезится. Игуаньими слезами... Слегка прихрамывая, он удалился. Малько проводил глазами его высокую фигуру.

Главное сейчас — поддерживать свою "легенду". Он — обычный турист, большую часть времени проводящий возле бассейна. И думающий о Симоне Хинч. Будь Жюльен Лало достойным доверия, Малько, разумеется, расспросил бы его о ее отношениях с Жакмелем. Но единственным человеком, которому он мог теперь задать этот вопрос, был сам Габриэль Жакмель. Если встреча с ним, обещанная Жюльеном Лало, все-таки состоится.

Зевнув, он направился в бар, где не было почти ничего, кроме рома.

* * *

В гостинице "Эль-Ранчо" на конторке у портье горела свеча. Неполомки с электричеством происходили каждый день. Старенькой электростанции Порт-о-Пренса давали передышку.

Малько повернул ключ в замке и вошел в свой номер. В нем было душно, поскольку кондиционер не работал. Когда Малько закрыл за собой дверь, все погрузилось во мрак. Ему вдруг показалось, что в номере кто-то есть. Он застыл на месте. Его ультраплоский пистолет лежал в глубине чемодана — все равно что на другом конце света.

Малько начал медленно отступать к двери. Он уже взялся за ручку, когда услышал:

— Не бойтесь!

Он не сразу узнал голос Симоны Хинч. Люстра внезапно зажглась, а кондиционер заработал: было уже восемь часов, и подачу электроэнергии возобновили. Симона Хинч сидела в кресле, одетая в красное платье "мини". Она пристально смотрела на Малько. Глаза у нее пугающе поблескивали — словно она была под действием алкоголя или наркотика. Правая рука лежала на замке сумки. Сердце у Малько забилося сильнее. Цель ее прихода могла быть только одна: она намеревалась убить его, как и обещала.

— Сядьте! — сухо сказала она.

• • •

Через тонкие стены была слышна песня "Папа Док на всю жизнь!", доносившаяся из ночного бара "Фламбуайен". В течение нескольких секунд это были единственные звуки в номере.

— Сядьте! — повторила Симона. — Не беспокойтесь: меня никто не видел — я прошла через сад виллы "Креоль".

Малько сел на одну из двойных кроватей. Он уловил запах рома: Симона Хинч была пьяна.

— А я как раз хотел снова с вами повидаться, — сказал Малько. — В Вашингтоне мне сообщили, что у вас были нелады с Жакмелем, но...

Молодая мулатка пронзительно засмеялась — но ее смех сразу же оборвался. Она судорожно открыла сумку, достала пачку сигарет и закурила.

— Я передумала. Теперь я согласна работать с вами и Жакмелем. Ради моего отца: он уже много лет мечтает вернуться на родину. Может быть, это его последний шанс. Я не имею права лишать его этого.

Малько колебался:

— Не знаю, насколько...

— Замолчите! — выкрикнула Симона. — Я все равно сделаю по-своему!

Она вдруг двусмысленно улыбнулась и спросила:

— Что это вы сегодня такой робкий? Даже не пытаетесь меня поцеловать!

И, вызываяще глядя на него, она бесстыдно раздвинула ноги. Малько не смог помешать себе ни бросить взгляд на ее прекрасно вылепленные бедра, ни подавить острое желание. Но какая метаморфоза произошла с Симоной? В ней так странно сочетались вызов и отчаяние...

— С какой стати мне вас целовать?

Ее улыбка была одновременно насмешливой и горькой:

— В прошлый раз вы меня поцеловали! Я помню, какое ощущение вызвал ваш язык во рту — он был похож на маленькую теплую улитку. Я тогда почувствовала отвращение. Но сейчас — другое дело!

И поскольку он не отвечал, она произнесла, глядя ему в глаза, несколько крепких слов, которые шокировали Малько. Потом встала и, шатаясь, подошла к нему. Ее живот был на уровне его лица. Она спокойно сбросила платье и осталась в простых белых трусиках и лифчике, отчетливо выделявшихся на смуглой коже. Ее дыхание могло убить муху в двадцати метрах. Она выпила не меньше бутылки рома. Взгляд у нее был полубезумный, лицо застывшее, лишенное всякого выражения.

Она обошла кровать, легла рядом с Малько и впилась в него жадным поцелуем. Ее губы, в прошлый раз такие безжизненные, были словно пиявки, язык лихорадочно шарил у него во рту. Распаленный Малько прижался к ней всем телом: она резко подалась тазом назад, словно испугалась, — но потом снова прильнула к нему и начала срывать с него рубашку. Затем, прерывисто дыша и не отрывая своих губ от его, на ощупь сняла все остальное. Ее движения были грубыми и неуклюжими. И все-таки Малько испытывал сильнейшее влечение к этой фурии. Ее живот то вжимался в него до боли, то судорожно отдергивался назад, как будто она хотела ускользнуть. За все это время она не произнесла ни слова. Глаза у нее были закрыты. Когда Малько медленно и нежно проник в нее, она вдруг словно окаменела. Чувствуя, как в нем нарастает напряжение, он целиком отдался зову инстинкта...

Симона была вялой и неподвижной. Судя по всему, она явно ничего не почувствовала и теперь лежала на спине с закрытыми глазами, будто рядом никого не было. Малько еще не приходилось заниматься любовью таким странным образом. Он попробовал собраться с мыслями. Из ночного бара по-прежнему слабо доносились звуки оркестра. Малько повернулся к Симоне и тронул ее за руку: она не отреагировала. По ее ровному дыханию он понял, что она спит.

Лежа в темноте рядом с ней, он старался угадать причину ее неожиданного поведения. Она сделала все, чтобы добиться близости с ним, но не получила от нее никакого удовольствия.

Воздух в номере посвежел — кондиционер снова работал. Малько пошел в ванную принять душ. Когда он вернулся, Симона по-прежнему спала. Он улегся на другую кровать.

* * *

Малько разбудили странные звуки, доносившиеся с соседней кровати. Прошло несколько секунд, прежде чем он смог их определить: это были прерывистые и бурные рыдания. Он встал и протянул руку к Симоне. Она тотчас же притянула его к себе с необычайной силой и, содрогаясь от рыданий, прижалась к нему. Охваченный жалостью, он погладил ее по голове.

— Простите меня, — прошептала она.

Постепенно молодая женщина успокоилась. Малько зажег ночник у ее изголовья. Она издала вопль:

— Нет! Не надо света!

Он поспешно щелкнул выключателем. Симона прижалась к нему еще крепче.

— Мне нужно поговорить с вами, — едва слышно сказала она. — Я сейчас расскажу вам то, что никогда никому не рассказывала. Но только не зажигайте свет — мне будет слишком стыдно!

Она провела губами по его груди.

— Вы целовали меня так нежно! Извините меня за все, что я наговорила. Я слишком много выпила: думала, вдруг хоть так наконец получится... Но все-таки не получилось — не смогла...

Она снова заплакала.

— Почему? — мягко спросил Малько.

Симона ответила не сразу. Когда она заговорила, ему пришлось напрячь слух, чтобы ее услышать:

— Я расскажу вам о Жакмеле. Только ни о чем не спрашивайте и не перебивайте — иначе у меня не хватит мужества... Так вот: во время "большой чистки" противников дювальеризма Габриэль Жакмель, который тогда был шефом тонтон-макутов, явился к нам со своими людьми, чтобы арестовать меня, моего брата, мужа и нашего трехмесячного сына. Моя мать схватила ребенка и выскочила из квартиры. Они нагнали ее на лестнице и насмерть забили палками. Я все это видела... Потом Жакмель отвез нас в свою "штаб-квартиру", которую он устроил в борделе, в конце улицы Карфур. Там у меня на глазах он зарубил мачете мужа и сына. Я надеялась, что и меня он тоже убьет — но он схватил меня за волосы, поволок в соседнюю комнату, заставил встать на колени, потом расстегнул "молнию" на брюках, усмехнулся и сказал: "Если будешь пайнойкой, я дам тебе десять гурдов и отпущу домой!" Я была как сумасшедшая: укусила его изо всех сил. Он кричал, бил меня кулаком по голове, потом ударил меня рукояткой пистолета, и я потеряла сознание...

Симона умолкла. Малько решил, что она не в силах

больше говорить. Из ночного бара по-прежнему доносилась все та же танцевальная мелодия.

Монотонным голосом Симона продолжила свой рассказ:

— Когда я очнулась, то лежала на животе, голая, привязанная к деревянным козлам примерно метровой высоты. Какая-то совершенно пьяная доминиканская шлюха поливала мне лицо ромом. Потом появился Жакмель. Он с трудом передвигался. Никогда еще я не видела столько ненависти в человеческих глазах. Я была уверена, что сейчас он будет насиловать меня, но не хотела, чтобы он увидел мой страх и отвращение — не хотела доставлять ему это удовольствие. Он усмехнулся: "Скоро ты будешь умолять, чтобы я тебя взял, но я до этого не опущусь. Ты останешься жить, но крепко запомнишь Габриэля Жакмеля! Сегодня вечером ты будешь участвовать в шоу. Жаль, что сейчас тут нет иностранцев..." Я сразу же поняла, что он имеет в виду, и стала орать, как безумная. Весь Порт-о-Пренс знал, что этот бордель славился представлением, которое очень нравилось иностранным туристам: доминиканская проститутка совокуплялась с ослом. Я должна была ее заменить... Со мной случилась истерика: в эту минуту я действительно готова была умолять Жакмеля овладеть мной... Доминиканская проститутка, вдрызг пьяная, поношенная и злобная, схватила меня за волосы и крикнула: "Чего ты боишься — я это проделываю каждый вечер! Тебе скоро понравится!.."

Помолчав, она продолжила еще тише, но все таким же монотонным голосом — словно находилась под гипнозом:

— Я пробыла там две недели. Номер с ослом повторяли пять или шесть раз. Я думала, что умру от боли и омерзения. Когда Жакмель, который боялся огласки, узнал, что эта история дошла до президента, он вывел меня на улицу и сказал на прощание, что убьет, если я не буду держать язык за зубами... С тех пор я ни разу не была ни с кем близка...

Малько был вне себя от ярости. Так вот что в ЦРУ называли "неладами"! Если бы в мире существовал конкурс эфемизмов, Рекс Стоун мог бы с полным основанием претендовать на золотую медаль.

Симона сильно сжала ему руку.

— Вы меня вылечили, — сказала она. — Даже несмотря на то, что я ничего не почувствовала. Теперь я могу встретиться с Жакмелем лицом к лицу. Могу пойти даже на сотрудничество с ним. Я вам уже говорила: в целом мире у меня есть только один близкий человек — мой отец. Он для меня все. Я хочу, чтобы его мечта наконец

осуществилась — чего бы мне это ни стоило! Я уверена, что вы сумеете меня защитить.

— Я вами восхищаюсь, — сказал Малько.

— В один прекрасный день мы расквитаемся за все, — добавила она. — Но это будет после победы. Я прекрасно понимаю, что Жакмель был только инструментом в руках “папы Дока”.

ЦРУ умело находить себе союзников. Теперь Малько не оставалось ничего другого, как идти до конца.

— Надеюсь, что мы победим, — сказал он.

— Я тоже надеюсь.

Оба замолчали. Через несколько минут по ее ровному дыханию Малько понял, что она опять уснула. Он с удовольствием последовал бы ее примеру, но не смог сомкнуть глаз: это погружение в жестокий, кровавый и анахроничный мир не прошло даром для его нервной системы. Беспокоило его и весьма проблематичное сотрудничество Симоны Хинч и Габриэля Жакмеля. Этот альянс был опаснее нитроглицерина. Кто знает, какая реакция будет у молодой женщины, когда она встретится со своим мучителем?

5

Облаченный, по своему обыкновению, в пуленепробиваемый жилет, сидя на корточках за стволом дерева и уперев приклад автомата “томпсон” в локтевой сгиб правой руки, Габриэль Жакмель следил за тропинкой с таким напряжением, что его лицо совершенно застыло и было не выразительнее тыквы. Его левая рука постоянно сжималась и расжималась, похожая на большого черного паука. В ней отливал медным блеском патрон сорок пятого калибра, которым Жакмель манипулировал, чтобы придать эластичность сухожилию, поврежденному год назад пулей дювальериста. В зарослях, окружающих бассейн гостиницы “Иболеле”, он с нетерпением ожидал человека, который должен был принести ему “уенгу” — зелье, изготовленное из сердца Франсуа Дювалье и обладающее силой помешать семье покойного навести на него порчу. Кроме того, Жакмель надеялся получить подтверждение, что чрезвычайно важная для него встреча с американским агентом состоится.

За поворотом тропинки послышались легкие шаги. Жакмель напрягся. Автомат “томпсон” казался игрушкой в его огромных руках. Из-за деревьев появилась сутулая фигура Финьоле, его связника. Он шел медленно и неуверенно, не зная в точности, где прячется его шеф. Жакмель тихо свистнул. Финьоле остановился, затем двинулся в

нужном направлении. На всякий случай Жакмель продолжал держать палец на спусковом крючке.

Финьоле подошел и опасливо присел рядом: Жакмель внушал ему страх. Он нервно достал из кармана флакон "уенги" и вручил его бывшему главе тонтон-макутов.

— Хумган сказал, чтобы ты все время носил его при себе, — пояснил он.

Жакмель засунул флакон под пуленепробиваемый жилет, в карман рубашки.

— А что американец?

Финьоле улыбнулся беззубым ртом:

— Если хочешь, сегодня вечером я его приведу!

Жакмель чуть не закричал от радости. Эта неожиданная помощь со стороны свидетельствовала о чудотворном вмешательстве Огум-Ферайя, вудуистского бога войны.

Если только тут не было ловушки. Жизнь давно научила Жакмеля дьявольской осторожности. Не обладая он этим качеством, его череп давно украшал бы письменный стол Франсуа Дювалье. Он знал, что американцы ненавидят клан "папы Дока" почти так же сильно, как и он. Но сам Жакмель их не любил. Он вырос в квартале Ла Салин — самом бедном в Порт-о-Пренсе, среди вредоносных болотных испарений. Первое мясо, которое он попробовал, было мясом крысы. Для того чтобы купить его, матери Жакмеля пришлось экономить. Когда доктор Франсуа Дювалье начал свою избирательную кампанию, Жакмелю исполнилось двадцать два года, и, чтобы не умереть с голоду, он воровал сахарный тростник и плоды манго. Устроиться на работу ему удалось только один раз: в течение трех месяцев он был помощником повара у богатых мулатов, которые кормили его объедками и платили ежемесячно двадцать гурдов — то есть примерно четыре американских доллара. Однажды хозяйка заявила ему, что между неграми и собаками нет существенной разницы. Поэтому его сразу же привлекло предвыборное обещание Франсуа Дювалье положить конец господству мулатов. Сильный, как Геркулес, беспредельно жестокий и смелый до безумия, Жакмель оказался идеальным помощником в проведении предвыборной кампании "папы Дока". У него вскоре появилась возможность показать свои достоинства. В ходе кампании понадобилось избавиться от трех мулатов — помощников другого кандидата в президенты. В один вечер Жакмель обошел их дома и задушил всех троих, с удовольствием наблюдая, как их глаза вылезают из орбит. После этого он стал специализироваться на распылении политических противников Франсуа Дювалье при помощи украденных со строительной площадки динамитных шашек. Тронутый такой преданностью, "папа Док" преподнес ему в своем кабинете

его первое оружие — старый, с пятнами ржавчины и неисправным предохранителем пистолет “стар” калибра девять миллиметров. Теперь Жакмель стал полноценным человеком. Впервые в жизни у него появилась уверенность в том, что он не будет больше голодать. Пока был жив Дювалье, Жакмель мог бесплатно брать у лавочников что душе угодно и убирать с дороги тех, кто ему мешал... Очередной вехой в его биографии стала расправа в тюрьме “Фор-Диманш”, где он убил палкой шестерых политических заключенных-мулатов, которые попытались бежать, оглушив охранника. Их крики до утра не давали спать другим заключенным. К рассвету от всех шестерых оставалось только кровавое месиво, по которому Жакмель колотил уже по инерции. С того дня он стал внушать страх даже своим друзьям. Президент мягко пожурил его за излишнее рвение, но обойтись без него уже не мог: ведь именно Жакмель завербовал в столичную организацию тонтон-макутов особенно много людей — главным образом обитателей квартала Ла Салин, которые видели в нем своего и восхищались им. Все шло хорошо до той поры, пока он не осознал свое могущество. Откровение произошло благодаря истории с Симоной Хинч. Это опьянило его: ведь прежде она безнаказанно могла приказывать высечь его — даже убить. Поэтому, глядя, как она лежит под ослом, он почувствовал головокружение от собственного всемогущества. Он подвергал ее таким же мучениям еще несколько дней уже не столько из садизма, сколько из желания лишний раз удостовериться в своей власти. Именно после этого случая он и стал заноситься. Месяц спустя он хапнул сорок тысяч долларов, принадлежавших государственной табачной компании — вотчине и главному источнику неофициальных доходов президента Дювалье. Разумеется, это не осталось тайной для “папы Дока”. Жакмель ожидал скандала, вспышки гнева. Но президент был с ним еще любезнее, чем обычно, — даже подарил новенький автомобиль марки “воксхолл”.

Некоторое время спустя Жакмель получил важное задание: соблюдая строжайшую секретность, схватить прокубинских агитаторов, скрывавшихся в глухой деревне. Он должен был отправиться туда с двумя лучшими своими друзьями. Однако в последнюю минуту, руководствуясь шестым чувством, он взял вместо них двух других тонтон-макутов, которых недолюбливал. Когда он послал их к дому, где предположительно скрывались “кастрисы”, оттуда застрочил пулемет... Жакмель спрятался в соседнем доме, который быстро окружили солдаты Дювалье. Ему удалось выскочить из окна и улизнуть до того, как дювальеристы взорвали дом. Сразу после взрыва солдаты увидели бросившуюся наутек черную собаку.

Гнев "папы Дока" был ужасен. Чтобы оправдаться, солдаты поклялись ему, что своими глазами видели, как бывший шеф тонтон-макутов превратился в черную собаку.

С тех пор Жакмель познал в полной мере, что такое ненависть. Уезжать из страны он не хотел: за граница его пугала. Оставалось либо погибнуть, либо убить Дювалье. Эта игра в прятки продолжалась до кончины пожизненного президента.

И вот теперь, похоже, у него появились нежданные союзники. Он был уверен, что с помощью американцев сумеет уничтожить семейство Дювалье.

Не обращая внимания на Финьоле, он встал и подошел к краю скалы, откуда открылась восхитительная панорама: Петьонвиль, аэродром и море... Если дело выгорит, все это будет принадлежать ему, Габриэлю Жакмелю!

Он повернулся к Финьоле, который ждал, сидя на корточках:

— Приведи его сюда сегодня вечером. Его будут ждать. Малé!"

Сам он никогда не приходил на встречу в одно и то же место два раза подряд. Вот и на этот раз он собирался послать вместо себя своих людей, которые смогут держать под наблюдением узкую дорогу, ведущую к гостинице "Иболеле", и выяснить, не готовится ли ловушка.

Сжимая в руке свой автомат, Жакмель широкими шагами углубился в заросли. Финьоле пошел назад по тропинке. Ему было не по себе. Каждая встреча с Жакмелем вызывала у него противоречивые чувства: экзальтацию — ведь не проходило недели, чтобы газета "Нуво монд" не объявляла в очередной раз о смерти или аресте врага режима номер один, — и страх, потому что любой контакт с этим человеком был смертельно опасен.

Идя к своему спрятанному за деревьями велосипеду, Финьоле предпочел не вспоминать о том, как после бегства Жакмеля разъяренный "папа Док" приказал убить нескольких гаитян только потому, что они носили имя "Габриэль".

6

С легким шуршанием из-под двери выскользнул белый конверт. Малько поднял его и распечатал. Внутри лежал листок бумаги с одной-единственной строчкой, написанной по-английски: *"Жду вас в одиннадцать часов в*

* Я ухожу! (креольск.)

"Альпийском домике", напротив посольства. Фрэнк Гилпатрик".

Малько в ярости смял письмо. К чему была вся эта конспирация, если резидент ЦРУ в Порт-о-Пренсе открыто назначает ему встречу? С таким же успехом можно повесить себе на грудь табличку с надписью: "Я американский агент!"

Что же случилось? Вряд ли Гилпатрик сошел с ума: характер операции "Вон-Вон" полностью исключал какой-либо намек на причастность к ней ЦРУ, и если он "засвечивал" Малько, значит, у него была для этого серьезная причина.

Охваченный сильнейшей тревогой, Малько быстро надел пиджак: времени, оставшегося до назначенной встречи, едва должно было хватить на дорогу.

• • •

Выстроенный из блоков ядовито-зеленого цвета "Альпийский домик" скорее наводил на мысль о трущобах, чем о швейцарском ресторане. По счастью, к заведению была пристроена маленькая терраса, где сидел единственный посетитель — коренастый белый с мясистыми губами, волосами цвета воронова крыла и медальным профилем. Заметив Малько, он помахал ему рукой и отложил "Нуво монд" — официальный дювальеристский листок, который гаитяне упорно называли газетой.

Малько сел рядом, чувствуя себя совершенно разбитым от жары и влажности, которая в этой спускающейся к морю части города была такой высокой, что кожа у него покрылась липкой пленкой. На другой стороне улицы приземистое здание американского посольства, как дикообраз, оцетинилось антеннами, которые, казалось, дрожали в горячем воздухе.

Фрэнк Гилпатрик пожал Малько руку с силой гидравлического пресса.

— Добро пожаловать в Порт-о-Пренс, принц Малько!

Его тон, однако, не соответствовал этой гостеприимной формуле.

— Почему вы назначили мне встречу? — спросил Малько. — Что происходит?

Подошел официант.

— Что будете пить? — осведомился Гилпатрик. — Может, ром-пунш?

Малько отдал бы крыло своего замка за водку с лимонным соком и льдом — или, на худой конец, большой стакан "виши" или "контрекса". Но ром...

— В такую жару?

— Ну тогда фруктовый пунш. А я возьму виски "Джей энд Би".

Выжженный солнцем Порт-о-Пренс был погружен в дремоту. Со стоящего в порту пассажирского судна для короткого знакомства с городом сходили по трапу десятки туристов.

Как только официант отошел, Фрэнк Гилпатрик мрачно сказал:

— Меня предупредили о вашем приезде. Я не собирался вмешиваться в... — он поискал подходящее слово, — в вашу деятельность, поскольку считаю, что план, который вас попросили осуществить, неудачен. Однако сегодня утром произошло одно серьезное событие. Очень серьезное событие...

Малько был, как на горящих углях. Этот distinguished составитель рапортов явно не одобрял действий Управления оперативного планирования ЦРУ. Кому после этого верить?

— Операция отменяется? — спросил Малько.

Фрэнк Гилпатрик помрачнел еще больше.

— Нет. Но возникло осложнение: гаитяне знают, что вы на нас работаете...

Несмотря на жару, Малько показалось, что его окатили холодной водой.

— Вы шутите! — хрипло произнес он.

Гилпатрик издал невеселый смешок:

— Вы встречались с неким Жюльеном Лало? Так вот: он настолько испугался, что на всякий случай сбегал во Дворец и сказал, что вы — американский шпион. И знаете, кому он это сказал? Амур Мирбале — самому опасному созданию на Гаити!

Малько потерял дар речи. Старая сволочь! Хорошенькое дело! Сначала история с Симоной Хинч и Жакмелем, теперь это... Капкан на каждом шагу!

— Но как вы об этом узнали?

— Как? Да от нее самой!

Все лучше и лучше...

— И вы не отрицали?

Гилпатрик покачал головой:

— Вы не знаете Амур Мирбале. Это только усилило бы ее подозрения — с вас бы глаз не спускали. Пришлось малость расколотся: я сказал, что вы действительно наш человек, получивший задание проверить, нет ли на Гаити коммунистической агентуры. Это был единственный способ не вызвать у них нервозности...

— Она вам поверила?

Американец пожал плечами:

— Будущее покажет!

— Надеюсь, мне не придется познакомиться поближе с этой змеей! — высказал пожелание Малько.

Гилпатрик посмотрел на него с иронией:

— Лучше не надейтесь. Амур Мирбале сейчас ждет нас во Дворце. Очень хочет с вами познакомиться.

Сюрприз за сюрпризом...

— Но зачем, черт возьми?!

— Она сказала, что мои друзья — это ее друзья, — ответил Гилпатрик, поднимаясь из-за стола. — Может быть, это просто-напросто женское любопытство: говорят, у нее повышенный интерес к мужчинам. Ну, а вы белый, новичок в городе...

Едва не подавившись своим фруктовым пуншем, Малько встал и последовал за резидентом ЦРУ.

Выйдя на улицу, он испытал новый шок, увидев у своей машины девочку-нищенку лет двенадцати, с ампутированными выше колен ногами, которая молча и смиренно сидела на покрытой материей дощечке, выставив культы на всеобщее обозрение. Малько дал ей крупную купюру. Она поблагодарила его по-креольски.

* * *

Светофор на перекрестке бульвара Дессалин и улицы Энелюс Рюбэн не работал. Полицейский в синей униформе вяло пытался ликвидировать пробку. Малько услышал, что сзади кто-то несколько раз посигналил. Сердце у него забилось быстрее. Он обернулся: водитель маленькой "тойоты" подавал им знаки рукой. Поскольку это был белый, Малько немного успокоился. Фрэнк Гилпатрик раздраженно прорычал:

— Опять это дерьмо собачье!

"Тойота" подъехала ближе и остановилась. С тяжелым вздохом Гилпатрик вылез из машины.

— Извините, я — только на одну минуту, — сказал он Малько.

У человека, который вышел из "тойоты", были взъерошенные светлые волосы, красноватое лицо, выдающаяся вперед верхняя губа и скошенный подбородок. Голубая рубашка плотно облегла его упитанное тело. Фрэнк Гилпатрик подошел к нему с хмурым видом. Не глядя в сторону Малько, незнакомец в течение нескольких минут о чем-то возбужденно рассказывал Гилпатрику. Закончив, он снова сел в свою "тойоту". Гилпатрик вернулся, покачивая головой:

— На Гаити попадаются самые странные типы. Это американец, которого зовут Берт Марни. Разыскивается Интерполом.

— За что?

На лице Гилпатрика появилась гримаса отвращения:

— За довольно гнусное дело. В Ла Салине — самом бедном квартале Порт-о-Пренса — он открыл липовое отделение “Красного Креста”, где занимается покупкой у бедунов-бездарных их крови из расчета четыре доллара за пол-литра... После сдачи крови он их даже не кормит, и плевать ему на то, что одни и те же доноры приходят по три раза в неделю. Настоящий вампир! Сейчас он почти банкрот: трудно продавать кровь в Штаты по шестнадцать долларов за литр. Гаитяне собирались вышвырнуть его из страны, но он дал в лапу кому надо, и его оставили в покое. И все-таки ему лучше убраться отсюда поскорее — иначе в один прекрасный день макуты тихонько его пристукнут.

Конец рассказа Малько уже почти не слышал: полицейский свистел не переставая, пока последний “тап-тап”, блокировавший перекресток, не тронулся с места.

До “Пале Насьональ” они ехали молча. На автостоянке Дворца Малько припарковал свою машину рядом с большим, золотистого цвета “линкольном”, на номерном знаке которого было выведено синей краской: “НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ”. Что ж, спасибо за предупреждение...

Весь первый этаж Дворца был полон солдатами. Гилпатрик, который, похоже, знал тут все и вся, быстро нашел сержанта, чтобы тот препроводил их на второй этаж.

Снаружи, за густыми зарослями олеандра, трое солдат дремали возле двадцатимиллиметровой пушки. За каждым кустом был установлен крупнокалиберный пулемет. Малько заметил даже старый американский “гочкисс” с водяным охлаждением, наверное, еще в начале века украденный у Эмилио Запата. По обе стороны парадного подъезда, в аркадах, стояли два легких танка.

В сопровождении сержанта они поднялись на второй этаж и оказались в коридоре, где группки военных и штатских вели оживленную беседу. Сержант подвел Малько и Фрэнка Гилпатрика к столу у Зала Бюстов, за которым сидел какой-то лейтенант. На столе была табличка: “В кабинет президента вход с оружием запрещен!”. Здесь явно царил доверие...

Двое подпиравших стену тонтон-макутов подозрительно оглядели вновь прибывших. Вдруг раздался радостный рев, от которого Малько вздрогнул. К нему подошел высокий негр в военной форме и в темных очках, с болтающимися на бедрах, как у ковбоя, двумя кольцами-457-

“магнум”. Он похлопал по спине Фрэнка Гилпатрика и пожал руку Малько, едва не сломав ему фаланги пальцев.

— Я капитан Лувертюр, — представился он. — Сейчас объясню вам, как пройти к Амур Мирбале. Проводить вас я не смогу: мне нужно заняться вот этим арестованным.

Он указал на негра в рубашке, со связанными за спиной руками и распухшим от битья лицом, который был прикован длинной цепью к тонтон-макуту в соломенной шляпе.

— Его хочет видеть президент, — пояснил капитан Лувертюр.

Малько взглянул на отупевшее лицо арестованного.

— А что он сделал?

Капитан Лувертюр нахмурился:

— Это мятежник и враг народа. Он вступил в заговор с врагами дювальеризма!

Тонтон-макут потянул арестованного за цепочку, и тот с опущенной головой отошел в сторону.

* * *

Малько чихнул. В кабинете Амур Мирбале, размерами чуть больше кабины лифта, царил арктический холод. Для повышения эффективности кондиционера потолок здесь сделали очень низким.

В платье от Нины Риччи и с сумкой “Гермес” Амур Мирбале была очень элегантна. Малько изучал ее из-под своих темных очков: тонкие, как у белой, черты лица, маленький рот, пышный бюст. Короткое платье оставляло открытыми длинные и крепкие ноги цвета бронзы, которые, при широких бедрах, казались очень худыми.

Не поднимаясь с кресла, Амур Мирбале протянула Малько руку и сказала певучим и чуточку капризным голосом:

— Очень мило, что вы пришли навестить меня. На Гаити так редко видишь новые лица!

Да, это была та самая женщина, фотографию которой Малько показывали в ЦРУ. С трудом верилось, что томно расположившаяся в кресле привлекательная особа с мелодичным голосом может быть беспощадной убийцей. Она скорее походила на тех хорошеньких квартиронок, которые скрашивали монотонное существование плантаторов прошлого века. Она говорила по-английски с мягким акцентом. Малько обратил внимание на ее длинные, тонкие пальцы: они все время были в движении — как лапки паука.

— Принц Малько находится на Гаити проездом, — сказал Фрэнк Гилпатрик. — Он попросил, чтобы я вам его представил.

Амур Мирбале улыбнулась:

— Очень приятно! С удовольствием посвятила бы вам больше времени, но, к сожалению, сейчас у меня много работы. Приглашаю вас обоих к себе в гости — послезавтра у меня намечается маленькая вечеринка.

— Буду рад, — ответил Малько.

— Ну а теперь мне пора к президенту, — заявила Амур Мирбале. — Вы знаете, он в прекрасной форме!

Маленький комплимент президенту, который, по последним сведениям, весил около ста двадцати килограммов — без орденов и медалей.

Апартаменты Жан-Клода Дювалье занимали все левое крыло Дворца, куда вооруженная охрана допускала только ограниченный круг людей. Как и при Франсуа Дювалье, свет в кабинете пожизненного президента горел всю ночь напролет, дабы гаитяне видели, что он круглосуточно трудится на благо страны.

Амур Мирбале встала и оправила платье. Все-таки ее крутые бедра не гармонировали с тонкими, длинными ногами.

— Вы почти не загорели, — сказала она Малько. — Надеюсь, у вас еще будет время полежать на солнышке. До послезавтра!

Малько поцеловал ей руку. Она открыла дверь в коридор, где какой-то негр в голубом костюме разглагольствовал перед группой молодежи. Этот маленький Дворец с прилегающим к нему садом, где пулеметов было не меньше, чем цветов, казался ирреальным среди окружающей нищеты. Стоило ли бороться за установление контроля над такой страной?

7

С трубкой в зубах и в сдвинутой на затылок адмиральной фуражке, с закатанными выше щиколотки штанинами и в рубашке с развевающимися полами, закрыв глаза и прижав к внушительному животу огромную бутылку рома, в центре круга, образованного неистово выплясывающими и пронзительно поющими хумси*, как волчок вертелся дюжий хумган. Видимо, хумси, исступленно держащие бедрами взад-вперед, точно в попытке оттолкнуть окружающих, вводили его в транс: он вращался все быстрее и временами терял равновесие и почти падал на зрителей, которые снова выталкивали его в центр круга.

Малько с трудом верил своим глазам. Он представлял себе вудуистский обряд как торжественное костюмиро-

* Танцовщицы, принимающие участие в обрядах вуду (прим. авт.).

ванное действо. Здесь же только хумси в своих коротких белых платьях из хлопка казались имеющими какое-то отношение к ритуалам вуду. Но никак не этот пузатый оборванец, выступающий в качестве главного жреца. Сидящий рядом с Малько второй хумган — высокий, худой, с совершенно черной кожей и довольно красивым лицом, — пожалуй, лучше подходил на эту роль. Именно он перед началом обряда встретил их с Симоной и посадил на стулья у стены.

Молодая женщина настояла, чтобы он взял ее с собой. Ее знание креольского языка могло ему пригодиться. А пока Малько оставалось уповать на то, что предательство Жюльена Лало было лишь частичным, и старый доносчик не сказал Амур Мирбале о его планах в отношении Жакмея.

Ритуал происходил в жалкой хижине с глинобитным полом, из которой вынесли всю мебель. Хумси танцевали босиком, но с повязанными косынками.

Внезапно их белый круг разорвался. Беспрестанно моргая, толстый хумган подскочил к Малько, торжественно откупорил бутылку рома и жестами предложил отхлебнуть. Малько заколебался: не говоря уже о том, что джентльмену не пристало пить из горлышка, содержимое бутылки вызывало у него опасение. Да и пришел он сюда для встречи с Габриэлем Жакмелем, а не для возлияний.

— Пейте! — шепнула Симона Хинч. — Это клерен!*

— Но...

— Пейте — иначе он рассердится!

Малько взял бутылку, сделал глоток и пролил немного рома себе на рубашку. Крепкий и терпкий напиток обжег ему горло. Пение и танцы возобновились. Хумган удовлетворенно забрал бутылку и медленно отошел к стулу, на который в начале обряда поставили зажженную свечу. Откуда-то появился человек с холщовым мешком в руке. Достав из него пригоршню серого порошка, он принялся сыпать его тонкой струйкой на пол, образуя сложные фигуры.

— Что он делает? — спросил Малько.

Симоне было явно не по себе. Вероятно, несмотря на свой современный вид и европейские блузку и брюки, она принимала религию вуду всерьез.

— Он рисует "вевэ" — магические знаки вуду — кукурузной мукой, — объяснила она. — С их помощью вызывают богов.

Малько вздохнул.

— А где же посланец от нашего человека?

Симона невозмутимо ответила:

* Ром низкого качества (прим. авт.).

— Он здесь.

— Где?

Малько оглядел комнату. В ее глубине на перекладинах лестницы, которая вела на чердак, сидели несколько негров. Остальные зрители стояли. Их было около тридцати — тех, кого пропустил стоявший в дверях помощник хумгана, руководствовавшийся только ему известными критериями отбора.

Так кто же из них был посланец Жакмеля? Может быть, один из обнаженных по пояс барабанщиков, задающих ритм танцу хумси?

Симона изобоченно посмотрела на него и прошептала:

— Не ищите его глазами! В комнате наверняка есть пара макутов. Я попросила Захарию показать мне этого Финьоле. Он стоит рядом с барабанщиками — в клетчатой рубашке.

Малько посмотрел в указанном направлении и увидел очень худого негра с прямыми волосами и крючковатым носом, жадно глядящего на мясистые ягодички одной из хумси.

— Так чего же мы ждем? — спросил Малько, которому изрядно надоела вся эта канитель.

До сих пор все прошло гладко: масонский храм он нашел без труда. Из-за разразившейся грозы улицы были безлюдными. Как только Малько с Симоной подъехали к нужному дому, появился сухощавый хумган Захария. Обменявшись несколькими фразами по-креольски с Симоной, он повел их по темному проходу между домами. Недовольства по поводу приезда молодой женщины он не выразил.

Церемония длилась уже около двух часов, не отличаясь разнообразием. Малько было ужасно жарко. От хумси, которые продолжали под руководством хумгана свои экзотические танцы и пение, исходил резкий запах пота. Каждые четверть часа они делали паузу, болтали друг с другом и пили кофе. Через определенные промежутки времени хумган подходил с бутылкой рома к очередному зрителю, который в экстазе отпивал из нее глоток. Происходящее больше напоминало невинный сельский праздник, чем магические действия. Тем не менее, в отличие от тех представлений, которые устраивались на улице Карфур, все это предназначалось не для туристов. Как объяснила Симона, здесь происходило освящение дома.

Малько ерзал на стуле. Пути ЦРУ были неисповедимы. Что сказали бы американские налогоплательщики, если бы увидели агента этого ведомства в гаитянской хижине на обряде вуду!

Симона, похоже, не разделяла его нетерпения. Почти не шевеля губами, она произнесла:

— Главное — не торопитесь! Когда церемония окончится, мы пойдем за Финьоле. Он приведет нас к людям Жакмеля, которые завяжут нам глаза и доставят к нему. И не забудьте: Жакмеля ищут все тонтон-макуты Порт-о-Пренса!

Малько посмотрел на Финьоле. Их взгляды встретились. Тот едва заметно подмигнул. Сердце у Малько забилось быстрее: через несколько часов первый этап его миссии будет завершен. Он пощупал своей ультраплоский пистолет на животе под рубашкой. Вступив в заговор с государственным преступником с целью свержения законного правительства, рассчитывать на пощаду в случае провала не приходилось... Он подумал об Александре и о добропорядочных обитателях своего Литцена. Хорошо, что они не видят его в убогой хижине среди всей этой публики! Он снова взглянул на посланца Жакмеля. Тот по-прежнему пялился на хумси, которые теперь танцевали отрешенно, с остановившимся взглядом. Время от времени они резко дергали бедрами и одна из них запевала какое-то заклинание, которое под ускоряющийся бой барабанов подхватывали остальные.

— И долго еще это будет продолжаться? — спросил Малько.

На лице Симоны отразилось беспокойство.

— До тех пор, пока боги не ответят. В два, а может быть, и в три часа ночи...

Ну и ну...

Заклинания хумси вдруг стали более пронзительными, и они сильно затопали босыми ногами по глинобитному полу. Некоторые из них стали размахивать пальмовыми листьями, а потом рвать их на мелкие кусочки. Отставив свою бутылку, толстый хумган подошел к стулу, на котором горела свеча, набросил сверху простыню и, комично тряся складками жира, пустился в круговой танец, по очереди отталкивая хумси на зрителей своим огромным животом. Одна из них почти упала на Финьоле, который воспользовался этим, чтобы ее пощупать, хотя происходящее и не навевало эротических мыслей.

Малько еще раз оглядел присутствующих. Как узнать, кто из них тонтон-макут? Все они замороженно следили за действиями хумгана, и все были похожи друг на друга: бедно одетые, с грубыми лицами... Потенциально каждый из них был опасен.

Рукоятка пистолета сильно давила ему на живот, затрудняя дыхание... Вдруг Симона слегка ущипнула его за бедро и прошептала:

— Посмотрите туда!

Он повернул голову: весь проем двери занимала огромная, важная негритянка с тройным подбородком. На голове у нее была нахлобучена украшенная цветами и закрепленная длиннющей шпилькой соломенная шляпа. Захария подбежал к этой странной особе и поцеловал ей руку.

— Это мамбо — жрица вуду, — сказала Симона. — Ее зовут Матильда. Она пользуется большим влиянием. Говорят, Франсуа Дювалье не раз тайком приглашал ее во Дворец и просил приготовить "уенгу" для защиты от врагов.

Политика всегда неразрывно связана с магией.

Матильда величественно прошла через комнату и села на скамью. Малько поискал глазами Финьоле: тот стоял на месте. Был уже час ночи.

Две хумси с кадильницами в руках подошли к накрытому простыней стулу. По знаку толстого хумгана и под заклинания своих подруг они подняли кадильницы и помахали ими, как в церкви. Потом сняли со стула простыню и задули свечу. Наступил маленький перерыв. Несколько хумси сели на корточки у ног мамбо.

Малько весь взмок, и рубашка у него приклеилась к телу. Он посмотрел на Симону: она доставала из сумки пачку сигарет. Хумси пили и курили. Выбившийся из сил толстый хумган рухнул на скамью и приложился к своей бутылке. Зрители стойчески ждали продолжения, не двигаясь с места. Одна из хумси подметала центр комнаты...

— Сейчас начнется настоящая церемония, — сказала Симона. — Станут вызывать одного из богов вуду. Знаете, иногда это поразительное зрелище!

— А какого именно бога?

— Это решает мамбо — в зависимости от своего настроения.

В комнате наступила мертвая тишина. Зрители оцепнели. Синкопированно забили барабаны. Стоящие перед Малько хумси внезапно издали дикий вопль. Барабанный бой усилился. Нарисованный на полу посреди комнаты магический круг оставался пустым.

— Да что все это... — начал было Малько.

В центр магического круга выпрыгнул обнаженный по пояс негр в юбке и в завязанном на голове белом платке. Обеими руками он сжимал мачете с длинным широким клинком, которым можно было отрубить голову быку. Покачиваясь, он медленно прошел перед стоящими в первом ряду зрителями, задевая некоторых из них плечом. Клинок мачете блеснул в нескольких сантиметрах от лица Малько, который успел заметить, что зрачки у этого нового участника представления расширены, как у наркомана. Толстый хумган поставил свою бутылку, вскочил на ноги,

поднял руки и выкрикнул по-креольски какое-то заклинание, тотчас же хором подхваченное хумси. Грохот барабанов стал оглушительным.

— Это Огум-Ферай! — Симона почти касалась губами уха Малько.

Услышав такое забавное имя, он с трудом сдержал улыбку*.

— А кто это?

Симона очень серьезно ответила:

— Бог войны. Если этот человек хороший медиум, бог войдет в него.

— И что тогда случится?

— Никто не знает. Обычно люди, в которых он входит, впадают в транс и теряют сознание.

Финьоле тем временем встал в первом ряду. Медиум, поддерживаемый обоими хумганами, продолжал двигаться по кругу. Глаза у него блуждали. Хумси неистово плясали, периодически испуская резкие крики. Их стройные темные ноги мелькали все быстрее. Запах мускуса становился невыносимым. Малько вдруг почувствовал какой-то глухой, атавистический страх. В ярости на самого себя он попытался мысленно приказать своему сердцу биться медленнее. Неужели он начал верить в черную магию? Он — кавалер ордена "Святого Гроба Господня"!

Зрители стояли плотной черной массой, заслоняя дверь. Выражение их лиц изменилось: еще не так давно многие смеялись и обменивались шутками с хумси — теперь же они казались напуганными, напряженными, зачарованными... Медиум продолжал свое движение, под удары барабанов поднимая и опуская свой мачете. Оба хумгана поддерживали его, словно боясь, что он сейчас упадет. По его лицу и торсу градом катился пот. Одна из хумси испустила пронзительный вопль и закурилась на месте, как дервиш. Ее белое платье парусом вздулось над черными бедрами. Остальные хумси обступили свою подругу. Закатив глаза, она что-то бессвязно выкрикивала, чередуя отдельные слова с отрывками песен. Мамбо величественно поднялась со скамьи и низким голосом отдала какой-то приказ. Хумси тотчас же замерла с поднятыми руками. Две подруги отвели ее в сторону. Она двигалась как сомнамбула. Мамбо снова села.

— Начинается! — тонким голосом сказала Симона. — Частичка бога вошла в эту хумси. Но главное еще впереди: Огум-Ферай должен воплотиться в медиума.

А тот, не обратив никакого внимания на истерику хумси, продолжал ходить по кругу, поддерживаемый двумя хумганами. Малько вдруг поймал себя на том, что не

* "Ферай" по-французски означает "железный лом".

спускает глаз с равномерно поднимающегося и опускающегося блестящего клинка мачете. Для того чтобы не впасть в гипнотическое состояние, он заставил себя перевести взгляд на посланца Жакмеля. Финьоле по-прежнему стоял в первом ряду, такой же напряженный, как и все остальные. Казалось, он тоже находится в трансе. Кто на Гаити не принимает вуду всерьез?

Мамбо опять торжественно встала, зачерпнула пригоршню кукурузной муки из мешка, которую протянула ей одна из хумси, вышла в центр комнаты, чуть разжала средний и безымянный пальцы и медленно, не нагибаясь, вывела на полу замысловатый узор. Барабаны били в том же ритме, но тише. Медиум все ходил по комнате, осторожно перешагивая через полосы рассыпанной муки. Малько отметил, что они находились как раз перед Финьоле.

Жрица вернулась к своей скамье и села.

Малько откинулся на спинку стула. У него ныла поясница. Сколько еще времени будет продолжаться эта комедия? Когда он наконец встретится с Габриэлем Жакмелем?

• • •

Из состояния легкого оцепенения Малько вывел пронзительный крик. Спектакль перешел в новую фазу: медиум резко оттолкнул обоих хумганов и, потрясая мачете, встал в центр комнаты. Хумганы почтительно отошли в сторону. Хумси умолкли. Первые капли тропического дождя громко застучали по жестяной крыше.

Закатив глаза и держа мачете в горизонтальном положении, медиум начал медленно поворачиваться вокруг собственной оси — и замер, когда клинок оказался направленным в сторону мамбо. Та молитвенно сложила руки и встала. Барабаны перестали выбивать дробь. Зрители сдерживали дыхание. Малько безуспешно старался подавить в себе нарастающую тревогу.

Мамбо нараспев произнесла какую-то длинную фразу по-креольски и села.

Медиум начал танцевать. Вновь забили барабаны, и вскоре уже невозможно было определить, кто руководит церемонией. Медиум опять издал громкий клич и стал кружиться все быстрее, постепенно подступая к зрителям и описывая в воздухе опасные круги своим мачете. Малько подумал, что, увидев пугающе поблескивающий клинок, стоящие в первом ряду сейчас попятятся. Но никто не пошевелился. Медиум неуклонно приближался: теперь его мачете рассекал воздух, почти касаясь лиц окружающих. Малько похолодел. Зрители как будто не видели

клинка. Глаза их застлала какая-то пелена, и они раскачивали головами в такт бою барабанов. Медиум не мог точно рассчитать свои движения — он так сильно закатил глаза, что практически ослеп. Малько взглянул на Симоны: у нее был такой же отрешенный вид, как и у остальных.

Кружась и пританцовывая, медиум постепенно приближался к Малько. Иногда он нагибался, и острие мачете царапало глинобитный пол, поднимая фонтанчики пыли. Малько боялся, что, когда клинок окажется у его лица, нервы у него не выдержат и его реакция может быть непредсказуемой и чреватой большими неприятностями. Сквозь рубашку он машинально пощупал рукоятку своего пистолета.

Медиум был уже перед четвертым от Малько зрителем и кружился все быстрее. Малько собрал все силы, чтобы не поддаться панике. Нельзя было терять лицо — просто из уважения к самому себе. Вдруг его заледенила ужасная мысль: а если все это только инсценировка с целью от него избавиться? Клинок мачете описал сложный рисунок вокруг шеи и груди Симоны и едва не отрубил ей нос. Малько даже не успел испугаться, когда увидел перед собой медиума и блестящее лезвие мачете. Почувствовав движение воздуха у своего лица, он инстинктивно подался назад, но глаза не закрыл. Хладнокровие, хладнокровие любой ценой, пронеслось у него в голове. Он был натянут как струна, ожидая, что вот-вот почувствует обжигающее прикосновение стали, и, для того чтобы не фиксировать внимание на грозном оружии, посмотрел на белки глаз медиума. Бой барабанов был оглушительным. Прошло несколько секунд — и медиум прошел дальше. Малько чуть не рассмеялся: в самом деле, он едва не уподобился дикарям! "Церемония" была не чем иным, как дешевым представлением для наивных гаитян и легковверных иностранцев вроде него. Малько вновь охватило нетерпеливое желание, чтобы все это поскорее закончилось. Однако медиум не торопился: теперь он "обрабатывал" какую-то женщину с бельмом на глазу. В экстазе, словно ее ласкал бог, она смотрела здоровым глазом, как клинок совершает зигзаги перед ее лицом. Хумси молчали, сбившись в белую кучку. Барабанщики продолжали отбивать все тот же будоражающий ритм. Медиум почти завершил свой обход. Малько взглянул на мамбо — и чуть не подскочил на стуле: толстуха пристально смотрела на Финьоле, к которому, потрясая мачете, приближался медиум. Барабанщики изменили ритм. Уши у Малько заложило, как при канонаде. Он мысленно спросил себя, уж не подмешал ли хумган в ром какого-то зелья.

Мамбо поднялась, вытянула вперед свои толстые руки и закрыла глаза. Финьоле, как и остальные, казался загипнотизированным блеском мелькающего клинка. Потухшая сигарета приклеилась к его нижней губе, глаза навывкате утратили сколько-нибудь осмысленное выражение. Медиум уже был перед ним.

Сердце у Малько учащенно забилося...

И вдруг перед его глазами словно начали прокручивать замедленный фрагмент фильма: медиум все кружился, Финьоле по-прежнему стоял совершенно неподвижно, а из его горла брызнула длинная струя крови. Выражение его лица не изменилось, сигарета все так же свисала с нижней губы. Затем все вошло в нормальный темп. С видом крайнего удивления Финьоле поднял руку и прикоснулся к своему подбородку, будто хотел удержать голову на месте. Кровь забила уже фонтаном: удар мачете почти отделил голову от туловища. Финьоле не издал даже стона. Послышалось только бульканье — и он упал лицом вниз, забрызгав кровью своих соседей. Раздался истошный женский визг. Словно игрушка, у которой кончился завод, медиум стоял как вкопанный в центре комнаты, с перекошенным лицом и совершенно пустыми глазами, все еще сжимая в руках окровавленный мачете. Барабанный бой оборвался. Симона истерически крикнула: "Он сошел с ума!" Отрезвевшие зрители обступили Финьоле. Отпихнув стоявших на его пути и растолкав локтями кольцо зевак, Малько склонился над посланцем Жакмея. Тот умирал. Хлеставшая из его горла кровь впитывалась в глинобитный пол, глаза остекленели, только губы еще шевелились — но беззвучно: голосовые связки были перерезаны. Медиум вслепую нанес смертельно точный удар! Кто-то тронул умирающего за голову, и она почти совсем отделилась от туловища. Взгляду предстало трепещущее кровавое месиво. Это зрелище в душевной, грязной комнате оказалось слишком сильным испытанием для нервов Малько: его вырвало прямо на ботинки высокого негра в очках, который этого даже не заметил. Запахи крови и пота образовали ужасающий "букет".

Финьоле уже ничем нельзя было помочь. Немного придя в себя, Малько бросился к хумгану. Перед ним прошли две хумси, ведя под руки медиума, который еще не вышел из транса. Его завели в смежную комнатушку, служившую хумси раздевалкой. Малько толкнула огромная туша: мамбо величественно удалялась, равнодушная к трагическому финалу церемонии и ко всем этим крикам и суете.

Малько схватил Захарию за локоть и тихо сказал:

— Вы его убили!

Хумган замотал головой:

— Нет, нет! Это случайность. Удар нанес Огум-Ферай. Человек, в которого он вошел, не понимал, что делает. Для него это тоже было опасно — он сильно болен!

В Малько закипела ярость. Очень удобно свалить все на таинства вуду! У него под носом ликвидировали человека, который должен был привести его к Жакмелю, — и сделали это открыто, вызываясь, для того чтобы ни у кого не возникло желания принять эстафету. Для начала следовало выяснить, *кто* стоял за этим убийством: сам ли Жакмель, демонстрирующий таким образом, что он не хочет вмешательства амёриканцев, иди тонтон-макуты? Ведь дальнейший ход операции зависел от ответа на этот вопрос. И единственным, кто мог на него ответить, был убийца.

— Что за человек этот медиум? — властно спросил Малько.

Хумган уклончиво ответил:

— Я его почти не знаю. Но медиум он хороший: боги вселялись в него несколько раз. Сегодня это было опасно, потому что Огум-Ферай — бог войны.

Зрители начали расходиться. Только подростки, усевшиеся на перекладинах лестницы, похоже, не торопились. Одна из хумси накрыла тело Финьоле белой простыней, на которой стало расплываться красное пятно.

Хумган продолжил, стараясь быть убедительным:

— После церемонии он ничего не помнит. Его рукой водил бог...

Подавленная Симона молча слушала их разговор. Малько пристально посмотрел на хумгана своими золотистыми глазами и сухо произнес:

— Я хочу с ним поговорить!

Хумган замялся, но под настойчивым взглядом золотистых глаз в конце концов уступил:

— Он в маленькой комнате. Только не причиняйте ему зла! После пробуждения он бывает очень усталым. И потом, он не говорит по-французски.

— Я говорю по-креольски, — напомнила ему Симона.

Отталкивая расходящихся зрителей, Малько, а за ним и Симона устремились к маленькой комнате.

Дверь была заперта.

Малько постучал. Молчание. Он сильно толкнул дверь, и она распахнулась. Медиум неподвижно лежал на соломенном тюфяке, закрыв глаза и сложив на груди руки. Кто-то до подбородка укрыв его одеялом. Рядом на корточках сидела хумси. При виде посторонних она вскочила, заслонила лежащего медиума и что-то сказала по-креольски. Симона стала кусать себе губы. Потом перевела для Малько:

— Она говорит, что за ним пришел барон Самди...

— Что, что?

— Он мертв. Барон Самди — бог смерти вуду.

— Кто его убил?

Симона долго объяснялась с хумси. Та постепенно успокоилась и вздохнула начала о чем-то рассказывать. Малько посмотрел на медиума: казалось, он спит...

Симона вздохнула:

— Она думает, что когда бог из него выходил, то взял с собой его душу... А по-моему, его отравили.

Малько быстро подошел к мертвецу и откинул одеяло. На груди медиума в области сердца виднелось красное пятнышко. Рана была такой маленькой, что почти не кровоточила. Он наклонился и пощупал грудь убитого вокруг раны. Судя по всему, его ударили в сердце чем-то вроде длинного отточенного шила. Малько вспомнил про огромную шпильку, закреплявшую шляпу толстой мамбо. Хумси задумчиво посмотрела на кровавое пятнышко, негромко вскрикнула и выбежала из комнаты. Малько показал Симоне на рану:

— Мамбо убила его своей шпилькой.

Симона в ужасе потянула его за рукав к выходу. Все это напоминало кошмарный сон. В хижине было пусто и тихо, словно ничего не произошло.

— Уйдем отсюда, — прошептала Симона. — Мне страшно!

Малько последовал за ней, чувствуя привкус горечи. Убийца Финьоле уже никому ничего не расскажет. Чистая работа! Самым невыносимым было сознание того, что где-то в Порт-о-Пренсе его напрасно ждет Габриэль Жакмель. Если, конечно, не он сам организовал это убийство. Малько теперь понял причину сдержанности Фрэнка Гилпатрика. Он увидел истинное лицо Гаити: примитивное и жестокое.

8

Улицу осветили автомобильные фары. Малько быстро увлек Симону назад в узкий темный проход, из которого они только что вышли. Подпрыгивая на неровной дороге, машина промчалась мимо.

После пережитого кошмара нервы у Малько были словно оголены. Кругом царил тишина: Порт-о-Пренс мирно спал. О случившемся на церемонии полицию в известность не поставили: все разошлись как ни в чем не бывало. Дверь хижины заперли на ключ.

— Надо разыскать мамбо, — сказал Малько.

Симона помотала головой и повела его в сторону мasonicского храма. Она вся дрожала.

— Где ее искать? — прошептала она. — Мамбо сейчас может быть на другом конце города — или в двух шагах отсюда. Но даже если мы ее разыщем, она все равно ничего не скажет.

Если не считать крыс, сновавших вокруг деревянных домов, Малько с Симоной были единственными живыми существами на улице. Все участники и зрители обряда вуду давно разошлись: только пузатый хумган остался в хижине охранять трупы Финьоле и медиума.

Симона прижалась к Малько:

— В этой машине, наверное, были макуты. Нельзя здесь больше оставаться. К тому же собирается дождь.

Действительно, на Малько упала крупная теплая капля. Он неохотно последовал за Симоной, ломая голову в поисках ответа на вопрос: по чьему же приказу убили Финьоле? Во что бы то ни стало нужно было это выяснить.

— В конце концов, от дождя мы не растаем, — возразил он.

Симона нервозно засмеялась:

— Вы не знаете, что такое грозовой дождь в Порт-о-Пренсе! Через четверть часа вся эта улица будет на метр покрыта грязной водой. Сточных канав здесь нет. Да и что тут стоять? Так мы все равно ничего не узнаем.

— Есть еще Жюльен Лало, — вспомнил Малько. — Вот кто наверняка в курсе! Надо его найти.

Несмотря на тридцатиградусную жару и почти стопроцентную влажность, Симона зябко поежилась.

— Если его сейчас нет дома, то он может быть только в одном месте... — сказала она.

Нога у Малько провалилась в ямку. Выругавшись, он спросил:

— Где?

Они подошли к его машине. Рядом с ней, на тротуаре, спали двое нищих, прикрыв лица шляпами. Малько сел за руль.

— В казино, — сказала Симона. — Это единственное место, которое сейчас еще не закрыто.

* * *

В зале казино было тесно, как в чулане, но, к счастью, там работал кондиционер. Заведение находилось в конце авеню Гарри Трумэна, на берегу моря. Перед входом стояло около десятка машин. На противоположной стороне бульвара устало прохаживались проститутки. Дела у них, похоже, шли не блестяще...

Сидевшая на складном стуле юная негритянка открыла дверь Малько и Симоне. Было половина третьего ночи, и

в зале осталось совсем немного игроков. Четверо негров без большого энтузиазма дергали ручки расположенных вдоль стен игровых автоматов, беспардонно запрограммированных на проигрыш. Игра в рулетку уже закончилась — оставались только карты и "Большая лотерея". В баре сидело несколько пьяных.

Жюльена Лало не было.

Малько нахмурился, заметив сидящего к нему спиной за стойкой бара толстого длинноволосого белого в голубой рубашке: это был не кто иной, как Берт Марни — Вампир.

— Пошли отсюда, не будем терять времени! — сказал Малько Симоне.

Но не успел он договорить, как заметивший их Берт Марни быстренько заказал три ром-пунша и, выражая бурную радость, бросился к Малько. Его светлые волосы были спутаны, верхняя губа выступала вперед еще больше, чем обычно, скошенный подбородок, казалось, отсутствовал вовсе.

— А где же мой друг Фрэнк, почему его с вами нет?

Малько холодно ответил:

— Я его не видел.

В маленьких глазках Берта Марни блеснул циничный огонек. Он скользнул взглядом с Малько на Симону и хохотнул:

— Ну да, оно, может, и к лучшему...

На его рубашке не хватало двух пуговиц, брюки были покрыты пятнами. Он фамильярно взял Малько под руку и потащил его к бару. Симоне не оставалось ничего другого, как последовать за ними. По дороге Берт Марни схватил оставшуюся в чьей-то тарелке дольку ананаса и сунул ее себе в рот. Дальше произошло нечто неожиданное: выругавшись, он опустился на четвереньки, пошарил по грязному полу и торжествующе выпрямился, держа двумя пальцами какой-то маленький белый предмет. Улыбнувшись и продемонстрировав отсутствие зубов, он быстро поднес руку ко рту.

— Этот чертов протез все время от меня убегает! Однажды выпал прямо на улице и по нему проехала машина.

Малько смотрел на него с жалостью, к которой примешивалась изрядная доля отвращения. Каков представитель цивилизованного мира!

— Почему бы вам не сходить к дантисту?

Берт Марни невесело усмехнулся:

— Тогда придется выложить восемьсот долларов!

И он начал жаловаться на жизнь: у него трудности с продажей крови, бедняки из квартала Ла Салин требуют

все больше и больше гурдов, да тут еще и неприятности на таможне...

— В общем, из вас здесь прямо сосут кровь, — заметил Малько.

Пока Берт Марни испытующе смотрел на него, чтобы определить, шутит ли он или говорит серьезно, Малько положил на стойку бара десять гурдов и потянул Симону к выходу.

— Эй, а играть-то вы так и не будете? — воскликнул Берт Марни.

Сдерживая раздражение, Малько бросил ему:

— Мы просто ищем нашего друга.

— Кого это? Может, я его знаю?

— Жюльена Лало.

Берт Марни захохотал:

— Он здесь действительно был, но потом уехал в "Суит Соул" в Петьонвиле.

Симона тихо сказала Малько:

— Я знаю, где это.

Они пошли к выходу, не простившись с Бертом Марни. Тот философски пожал плечами и снова уселся за стойку бара.

Открывая дверцу своей машины, Малько заметил на заднем сиденье два силуэта. Его прыжок назад мог бы стать украшением Олимпийских игр. Реакция Симоны была совершенно неожиданной: она рассмеялась и села в машину. Успокоившись, Малько подошел и включил свет в салоне. На заднем сиденье расположились две веселые юные негритянки. Их короткие юбки были задраны до пупка.

Малько сел за руль, испытывая сильную досаду. Симона оживленно беседовала с девушками по-креольски. Несколько раз послышалось слово "бузэн". Малышки явно никуда не торопились. Одна из них нежно погладила затылок Малько потной ладонью. Симона повысила голос. Незванные гости наконец вылезли из машины и растворились в темноте. Малько тотчас же тронулся с места.

— Здесь так принято, — пояснила Симона. — Девуцы садятся в машину и ждут владельца...

— Что вы им сказали?

Она улыбнулась:

— Что я тоже "бузэн". Они уговаривали меня обслужить вас втроем!

Улица была пустынна — до кинотеатра "Капитоль" они не увидели ни одной машины. На полдороге к Петьонвилю шоссе было перекрыто: велись ремонтные ра-

* Проститутка (креольск.).

боты. Им пришлось поехать в объезд. Сразу же после панно с надписью "Петьонвиль" Симона сказала:

— Это здесь!

Крошечная дискотека "Суит Соул" находилась в доме, большую часть которого занимала химчистка. Из-за полуоткрытой двери доносилась музыка. Они вошли. Поснявшаяся от косметики негритянка в кожаных шортах многообещающе улыбнулась Малько. В глубине, у бара, высокая девица с выкрашенными в рыжий цвет волосами и в красном платье, туго обтягивающем ее великолепное тело, флиртowała с мулатом. Площадка для танцев имела форму маленького прямоугольника, расположенного у бетонной стены, возле которой какая-то пара совершала подозрительные телодвижения. К счастью, в полумраке нельзя было различить, чем именно она занимается. На стене кто-то написал красной краской: "Sock it to me, baby". Целая программа действий...

Жюльена Лало в дискотеке не было.

Симона перебросилась несколькими словами с девицей в кожаных шортах и после короткого колебания сообщила Малько:

— Он отправился в одно довольно специфическое заведение. Это совсем рядом.

На прощание девица в шортах вручила Малько карточку с адресом и телефоном дискотеки.

Они сели в машину, свернули на темную проселочную дорогу и затряслись на колдобинах. Метров через сто, которые они преодолели с черепашьей скоростью, Симона сказала: "Приехали!", вышла и осторожно постучала в дверь какого-то барака. Было темно и тихо. Гроза давно кончилась.

— Что здесь такое? — шепотом спросил Малько.

— Подпольный бордель.

Дверь открылась, и на пороге появилась старая негритянка с керосиновой лампой в руке. Увидев Симону, она нахмурилась. Последовала тихая дискуссия. Симона повернулась к Малько:

— Лало здесь, но она не хочет меня впускать. Впрочем, так лучше: я и сама туда не стремлюсь, да и пора домой. Пойду ловить такси.

— Я потом к вам заеду, — сказал Малько.

— Нет, не нужно, чтобы вас часто у меня видели. Каждый вечер с девяти до десяти часов я буду вас ждать у "Ману" на площади Сен-Пьер в Петьонвиле. Там полно проституток, и на меня не обратят внимания. Желаю удачи!

И она исчезла в ночи...

* Выдай для меня на всю катушку, детка! (англ.)

Малько последовал за старухой, которая открыла вторую дверь в глубине барака. Он увидел комнату, слабо освещенную двумя свечами. На полу шевелилась какая-то темная масса. Приглядевшись, он различил двух обнимающихся на циновке негритянок. У стены, на импровизированном диване, сооруженном из матраса и подушек, смутно вырисовывалась длинная фигура Жюльена Лало. Над его животом склонилась какая-то негритянка. Лало был так поглощен созерцанием двух лесбиянок, что не заметил появления Малько. Тот сел на подушку в углу комнаты.

Представление завершалось. Обе лесбиянки добросовестно изобразили судороги страсти, покричали, изрыгнули несколько непристойных креольских слов и замерли в объятиях друг друга. Жюльен Лало хрипло застонал. Лесбиянки спокойно встали, закурили и вышли из комнаты. Жюльен Лало с закрытыми глазами неподвижно лежал на спине. Обслужившая его девица подошла к Малько и с удивительной ловкостью забралась своими длинными пальцами ему под одежду. Без лишних слов Малько придержал ее руку и тихо позвал: "Лало!"

Выванный из своего блаженного состояния Жюльен Лало подпрыгнул, словно укушенный скорпионом, быстро заморгал, схватил свечу и поднял ее повыше, чтобы рассмотреть зовущего. Удивленная девица сидела смирно. На морщинистом лице Жюльена Лало не отразилось никаких эмоций — только веки опустились еще ниже. Когда он заговорил, голос у него звучал почти нормально:

— Что вам нужно?

Малько с трудом подавил в себе желание немедленно его придушить.

— Финьоле мертв, — сказал он. — Из-за вас. Вы продали меня Амур Мирбале!

Лало схватил девицу за загривок, как котенка, и отшвырнул к двери. Потом, не прикрывая наготы, подполз к Малько.

— Как? Что случилось?

Вид у него был жалкий. Дослушав до конца, он помолчал, затем произнес:

— Вам лучше уехать!

— Я здесь для того, чтобы встретиться с Жакмелем, — холодно сказал Малько. — Вы единственный, кто может мне в этом помочь. Надо все начать сначала.

Рука Жюльена Лало с поразительной силой вцепилась Малько в плечо.

— Нет, я еще дорожу жизнью! — заявил он. — Делайте что хотите, но я вам больше не помощник. Если вы не идиот, завтра же утром садитесь в самолет компании

“Америкэн Эрлайнз” и никогда не возвращайтесь на Гаити. Иначе вы окажетесь в другом самолете — компании “Элуа Эрлайнз”!”

Он оделся с панической торопливостью скромницы, которую застали во время купания нагишом, и с порога бросил Малько:

— Я никому не говорил о Жакмеле — я не сумасшедший!

И хлопнул дверью.

Итак, на Жюльена Лало рассчитывать больше не приходилось. Малько встал и направился к выходу. Старуха, окруженная тремя девицами, преградила ему путь, что-то сердито выкрикивая по-креольски. Купюра достоинством в десять гурдов сразу ее успокоила.

Даже если Лало никому не говорил о Жакмеле, размышлял Малько, Амур Мирбале все-таки узнала правду. И недвусмысленно дала это понять. Значит, следовало найти другой способ вступить в контакт с Жакмелем и при этом избежать ловушек тонтон-макутов.

Обратный путь ему пришлось проехать задним ходом: дорога была слишком узкой, и развернуть машину он не смог.

• • •

Порт-о-Пренс плавился от жары. Старые побитые американские машины поднимали облака пыли на незаасфальтированных улицах. Малько поменял деньги в “Канадском королевском банке” и, перед тем как сесть в свою “мазду”, прошелся по тенистым аркадам улицы Миракль. С противоположной стороны полицейский в синей униформе жестами показал ему, что стоянка тут запрещена, но поленился пересечь освещенное солнцем пространство, чтобы засунуть под “дворники” квитанцию на уплату штрафа.

Кто-то подергал Малько за штанину. Он опустил глаза и чуть не отпрыгнул в сторону: то, что находилось у его ног, наверное, много лет назад было человеком — сейчас же только глаза, казавшиеся большими на исхудалом лице, были человеческими. В остальном это существо с тонкими искривленными конечностями больше походило на паука и передвигалось короткими прыжками. Скрюченные пальцы были протянуты к Малько. Испытывая сострадание, он достал банкноту в пять гурдов и положил ее на темную ладонь. Пальцы нищего тотчас же схватили его руку. Малько попробовал вырваться, но костлявые пальцы вцепились в него мертвой хваткой. Вдруг что-то поще-

* Элуа — известный на Гаити убийца, тонтон-макут (прим. авт.).

котало ему ладонь. Краем глаза Малько успел увидеть клочок бумаги. Калека пристально посмотрел на него, как будто хотел сообщить что-то очень важное, и украдкой присоединил к записке какой-то предмет, хотя еще секунду назад в его руке ничего не было. Совершив эту операцию с ловкостью фокусника, он демонстративно помахал пятигурдовой купюрой, по-военному отдал честь и боком, по-крабьи, двинулся прочь. Никто, включая полицейского, не заметил его трюка. Малько сел в машину и разжал кулак: на ладони у него лежал маленький пластиковый пакет и записка, содержащая одну-единственную фразу: *"Завтра в 11 часов в "Ламби"*. Он развернул пакет, в котором было что-то мягкое и зловонное, похожее на сгнивший кусок ваты. Прошла добрая минута, прежде чем он понял, что держит в руке человеческое ухо.

Кто-то постучал в ветровое стекло. От лица Малько отхлынула кровь. Уф! — это был всего-навсего мальчишка, продающий сигареты. Стоящий метрах в тридцати полицейский поглядывал на машину Малько. Калека давно скрылся. Мимо прогрохотал "тап-тап", украшенный лозунгом: "Бог победит!".

Малько положил ужасную посылку на сиденье и резко рванул машину с места. Если исключить версию о том, что калека подарил ему остаток своего обеда, объяснение случившемуся было только одно: Габриэль Жакмель искал контакта. Видимо, эта мерзкая добыча бывшего главы тонтон-макутов служила своего рода паролем. Малько вспомнил, что ему говорили в ЦРУ: две недели назад Жакмель похитил голову Дювалье из его мавзолея. Но одно дело услышать об этом в комфортабельном кабинете, оборудованном кондиционером, и совсем другое — держать в своей руке ухо "папы Дока"... Замечательного союзника нашло себе ЦРУ! И он, Малько, порядочный человек, должен сотрудничать с подобным субъектом! Есть от чего перевернуться в гробу его предкам... Хорошо еще, что Жакмель не послал ему всю голову целиком!

Была и другая причина для беспокойства: макуты знали, кто он и с какой целью находится на Гаити. Когда они решат, что он становится опасным, его попросту ликвидируют.

Погруженный в свои мысли, он лишь в самый последний момент успел избежать столкновения с выскочившим из-за поворота "тап-тапом", круто свернув и едва не врезавшись в дерево. Только после этого он вспомнил, что приглашен сегодня на вечеринку к Амур Мирбале. Можно сказать, на ужин с дьяволом. Будет ли у него достаточно длинная ложка?

9

"Док наш пожизненный сущий во Дворце! Да святится имя ваше; да пребудет оно в памяти всех грядущих поколений; да будет воля ваша в Порт-о-Пренсе, как и в провинции; обновленную страну дайте нам всем и НИКОГДА не прощайте хулителям нашим и врагам нашей Родины, которые непрестанно плюют ей в лицо; и не избавляйте их от искушений и мучений — пусть захлебнутся они своим ядом и желчью..."

Едва Малько закончил читать этот удивительный образчик дювальеристской молитвы, висевший в рамке на стене гостиной, как у него за спиной слащавый голос произнес:

— Прекрасно, правда?

Внутренне корчась от смеха, он повернулся к Амур Мирбале. Несмотря на хорошо обрисовывавший ее фигуру брючный костюм из белого трикотажа, в котором она казалась голой, молодая женщина была серьезна, как мошенник, получающий орден Почетного легиона. И разыгрывала при этом светскую даму: модный парик, унизанные кольцами и перстнями пальцы, легкий макияж...

— Это что, пародия? — с невинным видом спросил Малько.

Амур Мирбале смерила его взглядом и отчеканила:

— Это, мой дорогой, "Заповедь дювальериста", которой все мы неукоснительно следуем!

Несколько секунд молодая женщина пристально смотрела в его золотистые глаза и, казалось, хотела что-то добавить; ее дыхание немного участилось, и она облизала свои тонкие губы кончиком розового языка. Но в конце концов так ничего и не сказав, она повернулась и снова вышла в сад.

Малько еще раз перечитал "Заповедь". Если он выберется отсюда, будет чем позабавить друзей зимними вечерами... Конечно, его ремарка не отличалась дипломатичностью, но он слишком не любил арапства. Ему совсем не хотелось стать похожим на Фрэнка Гилпатрика: американца снаружи — тонтон-макута внутри...

В поисках резидента ЦРУ он тоже вышел в сад. Вечеринка получилась невеселой; в доме, не оборудованном кондиционером, было очень душно, и гости — человек тридцать — маленькими группками стояли в саду вокруг пустого бассейна. Под кокосовой пальмой какой-то негр пел и бил в барабан, но никто не танцевал. Все были слишком утомлены: дорога, ведущая к вилле Амур Мирбале, оказалась бы не по зубам даже для танкистов из "Афри-

канского корпуса" Роммеля. Сама хозяйка оставляла свой "ламборгини" за километр до виллы и пересаживалась на драмодера*...

У стола с напитками Фрэнк Гилпатрик о чем-то рассказывал Амур Мирбале, высокому негру и сексапильной девице с длинными тонкими пальцами и носом с горбинкой. Не особенно рассчитывая на удачу, Малько все-таки искал глазами водку — но на столе были только пунш, ром, портвейн, бутылка виски "Джей энд Би" и сок. Малько остановил свой выбор на последнем.

— Вы в нашей стране по делам? — спросил его высокий негр.

— Не совсем, — уклончиво ответил Малько. — Я приехал повидаться с моим другом Фрэнком. Он очень тепло отзывался о Гаити и о вашей самобытной демократии...

Амур Мирбале сделала вид, что не уловила в его словах иронии, и заученно изрекла:

— Франсуа Дювалье всего себя отдал стране — всю свою плоть и кровь. Он сгорел в служении гаитянам, которых любил, как родных детей!

Желая привлечь к себе внимание, барабанщик выбил особенно громкую дробь, чем избавил Малько от нужды отвечать на это заявление.

— Ти Роро хочет, чтобы его послушали, — заметила Амур Мирбале. — Подойдем поближе!

Как только они окружили его, барабанщик начал жалобно распевать:

— Du feu nan caille-la... Du feu nan caille-la!

Малько повернулся к Фрэнку Гилпатрику, чтобы спросить его о смысле этих слов, — и осекся. Американец казался озабоченным и напряженным. Но самое странное — барабанщик не спускал с него глаз! Осушив свой стакан, Малько направился к столу с напитками. Гилпатрик быстро последовал за ним.

— Будьте осторожны, — шепнул он. — Ти Роро сейчас предупредил меня, что тут готовится что-то скверное.

— Ти Роро?

— Да, он один из моих информаторов. Его песня — это сигнал. Слова "Du feu nan caille-la" означают: в доме пожар! Вам грозит опасность.

Малько задумчиво поставил свой стакан. Значит, охота за ним уже началась...

— Идите к бассейну и ждите меня там, — сказал Фрэнк Гилпатрик. — Ти Роро наверняка найдет способ сообщить мне, в чем дело.

Впервые резидент ЦРУ выражал готовность ему помочь. Малько последовал его совету.

* Одногорбый верблюд.

* * *

Когда Гилпатрик вновь подошел к нему, вид у него был по-прежнему озабоченный.

— Ну что? — спросил Малько.

— Вам готовят сюрприз по-карибски, — мрачно ответил Гилпатрик.

— То есть?

— Амур Мирбале приказала убить вас, как только вы уйдете отсюда. Четверо макутов, которые ждут в белом "фиате" недалеко от виллы, при вашем появлении откроют стрельбу из кольтов. Практика для них типичная: они предпочитают действовать ночью, чтобы нагнать побольше страха. В случае срыва еще четверо ждут вас у "Эль-Ранчо". Наверное, она решила, что времени на отъезд у вас было достаточно, и раз вы этим не воспользовались...

Малько почувствовал покалывание в ладонях. Пульс у него сильно участился. Бой барабана действовал угнетающе. Он изо всех сил старался не поддаваться панике.

— Пожалуй, я поеду с вами, — хрипло сказал Гилпатрик. — Тогда они не осмелятся...

— Осмелятся! — возразил Малько.

Они молча посмотрели друг на друга. Малько лихорадочно размышлял... Мимо них в обнимку прошла какая-то парочка. Неужели все это не сон? К горлу подступил страх. План тонтон-макутов был чрезвычайно примитивен — а помешать осуществлению примитивных планов всегда особенно трудно. Со скоростью компьютера Малько начал анализировать все хранившиеся в его удивительной памяти факты; связанные с его пребыванием на Гаити.

Внезапно он кое-что нащупал.

— Возвращайтесь один, — сказал он. — Предоставьте мне выкрутиться самому.

— Вы с ума сошли, — прошептал Гилпатрик. — Они вас убьют!

— В этом случае будьте так любезны, отправьте мое тело в Австрию первым же самолетом, — сухо ответил Малько. — Мне не хочется лежать в одной земле с "папой Доком". Ну а если я уцелею, то приду завтра в посольство и расскажу, как мне это удалось. А теперь мне нужно остаться одному — уезжайте... и спасибо!

После короткой паузы Фрэнк Гилпатрик сдавленным голосом произнес:

— Желаю удачи!

И он исчез в темноте.

Малько посмотрел на звездное небо и, машинально

щупая под пиджаком рукоятку своего ультраплоского пистолета, подумал, что ему потребуется немало дерзости и находчивости, для того чтобы не умереть в эту прекрасную летнюю ночь.

* * *

В саду осталось только шестеро гостей. Малько усердно разыгрывал роль поклонника Бахуса, надеясь, что окружающие бассейны кусты не погибнут от украдкой вылитого в них скверного рома. Однако три рюмки пришлось выпить: для запаха и блеска в глазах. За это время он успокоился и теперь был холоден, как рыба. Дважды он подходил к автостоянке и во второй раз, при свете фар отъезжавшей машины, увидел четыре силуэта в белом "фиате": ожидающие его убийцы.

Слегка пошатываясь, он подошел к Амур Мирбале, взял ее за руку и томно спросил:

— А где в Порт-о-Пренсе можно потанцевать?

Во взгляде мулатки была смесь презрения, иронии и любопытства. Но глаза Малько, хоть и покрасневшие от рома, сохраняли свой магнетизм — поэтому она все-таки ответила:

— Ну например, в дискотеке "Кав"...

— Тогда пошли в "Кав" — выпьем бутылку "Дом Периньона"!

Амур Мирбале рассмеялась:

— Да там даже не знают, что это такое! Кроме того, я устала.

И она осторожно высвободила свою руку, оставаясь такой же холодной, как и он. Однако роль подвыпившего ухажера давала Малько возможность проявить некоторую бесцеремонность.

— А где ваш кавалер?

— У меня его нет.

— В таком случае я вас похищаю!

Он снова взял ее за руку. Стоявшая недалеко от них пара тактично отошла в сторону. Малько медленно путешествовал взглядом по ее телу, словно лаская его, затем поднял глаза и с хрипотцой сказал:

— Мне ужасно хочется с вами потанцевать!

Даже идиотка поняла бы, что под словом "потанцевать" подразумевалось "обладать".

Он снова опустил глаза и уставился в ее декольте. Молчание становилось невыносимым. Ее грудь заволновалась. Он посмотрел ей в лицо. С Амур Мирбале произошла метаморфоза: ее тонкие губы набухли, и вся она как-то смягчилась.

— Я только пойду переоденусь... — сказала она осипшим голосом.

Малько налил себе ром-пунша — на этот раз не для того, чтобы полить им кусты. Первый этап его дерзкого предприятия прошел удачно. Такая женщина, как Амур Мирбале, не могла не испытать возбуждения от ухаживания обаятельного мужчины, которого вот-вот должны были убить по ее же приказу.

* * *

Амур Мирбале облачилась в красное платье, закрывавшее ее сверху до подбородка и открывавшее снизу до середины бедер. Под тонким шелком рельефно выступали соски.

— Я готова! — заявила она.

Малько поставил свой стакан и взял ее за руку. Она не сделала попытки высвободиться.

Они направились к стоянке, где оставалось только четыре машины, включая белый "фиат" тонтон-макутов. Малько шел, прижавшись боком к своей спутнице, готовый при малейшей угрозе использовать ее в качестве живого щита. Конечно, подобное поведение не делает чести светскому человеку, но ведь он находился среди дикарей...

Скрип гравия у них под ногами казался оглушительным. Машина Малько стояла за белым "фиатом" макутов. Малько прошел мимо, постаравшись, чтобы Амур Мирбале была между ним и макутами. Он был весь напряжен, готовясь прижать к себе свою спутницу, если дверца "фиата" вдруг распахнется.

Макуты не пошевелились.

Малько сразу же вновь обрел свойственную ему галантность и гостеприимно открыл дверцу своей машины. Амур Мирбале села, продемонстрировав свои ляжки, и потянулась к нему, прежде чем он успел завести мотор. Когда их губы встретились и передние зубы стукнулись друг о друга, ему показалось, что он прикоснулся к оголенному электрическому проводу. Амур Мирбале неистово терлась о него грудью, а ее рука с ловкостью змеи заскользила по его бедру. Она была так исступленно активна, что машина закачалась, и Малько на какое-то мгновение забыл об опасности. Он успел только выхватить из-за пояса свой пистолет и сунуть его под сиденье. Амур Мирбале ударилась головой о руль, но не обратила на это никакого внимания. Не говоря ни слова, она судорожно прижималась к Малько, словно его возбужденное состояние само по себе подводило ее к оргазму.

Внезапно она отстранилась и скомандовала:

— Поменяемся местами!

И она приподнялась, чтобы его пропустить. Когда он перебрался на ее место, она уселась на него верхом, упираясь головой в потолок машины, задрала платье и запыхтела, открыв рот. Макутам не так легко будет заработать свои гурды, пронеслось в голове у Малько. Сплетаясь с Амур Мирбале, он был в сравнительной безопасности...

Она слезла с него с такой же резкостью, с какой незадолго до этого бросилась в его объятия, и, снова став холодной и официальной, сказала:

— Ну а теперь поехали!

Малько наспех привел себя в порядок и сел за руль, краем глаза следя за мулаткой, чтобы успеть удержать ее, если она сделает попытку выпрыгнуть из машины... Белый "фиат" тронулся вслед за ними.

До авеню Америка дорога была такой ужасной, что Малько пришлось переключить на нее все свое внимание. У него было впечатление, что он съезжает по северному склону Монблана. Амур Мирбале закурила, положив ноги на приборную панель. Под платьем у нее ровным счетом ничего не было.

Когда они выехали на авеню, она попросила его остановиться. Малько взглянул в зеркало заднего вида: белый "фиат" их еще не нагнал.

— Пересядем-ка в мой "ламборгини"! — предложила Амур Мирбале, показывая на припаркованную метрах в двадцати от них большую спортивную машину желтого цвета.

"Это еще зачем?" — подумал Малько. Пока Амур Мирбале шла к "ламборгини", он достал пистолет и снова сунул его себе за пояс.

Авеню Америка была пустыня: весь Петьюнвиль уже давно спал. "Ламборгини" взревел. Малько подбежал к нему, открыл дверцу и сел. Внутри пахло кожей и бензином. Воспользовавшись тем, что Амур Мирбале следила за датчиками на приборной панели, он быстро спрятал пистолет между дверцей и сиденьем, а затем для восстановления атмосферы интимности погладил ей колени. Она нажала на газ и слегка раздвинула ноги. Малько с наслаждением вдохнул запах кожи: он любил роскошь. Но главное, в этой машине он находился в большей безопасности, чем в танке: для макутов она была священна.

* * *

Амур Мирбале вела "ламборгини" уверенно и спокойно. Они проехали гостиницу "Шукун". Стоявшие перед входом проститутки восторженно завизжали при виде шикарного автомобиля. Вскоре снова началась тряска:

они въехали на погруженную в темноту немощеную дорогу. Дискотека находилась в стороне от нее, за кюветом, в котором мог бы поместиться автобус. Нигде не было никаких указателей — гаитянская дорожная служба, вероятно, постеснялась их установить....

Узнав Амур Мирбале, негр, дежуривший у входа в дискотеку, почтительно встал. Не удостоив его даже взглядом, она с надменным видом прошла внутрь. Малько заплатил два доллара за вход. Пистолет он оставил в "ламборгини": в обществе Амур Мирбале опасность ему не грозила.

В дискотеке, которая состояла из двух крошечных залов и бара, было очень шумно и темно. Их провели во второй зал. Пока они танцевали "джерк", Амур Мирбале держалась отчужденно и высокомерно, но когда начался медленный танец, она прильнула к нему и стала сильно тереться о него животом, затем отстранилась со свойственной ей резкостью. Малько мысленно спросил себя, не оказался ли этот контакт достаточным, чтобы удовлетворить ее во второй раз. По лицу у нее текла тушь, и она уже не казалась такой молодой. Ее глаза лихорадочно блестели.

— Ну хватит! — вдруг безапелляционно заявила она.

Сидевшие за стойкой бара негры поглядывали на ее длинные ноги. Малько с трудом верилось, что происходящее — явь, а не сон. В чем причина такого странного поведения Амур Мирбале? Может быть, она просто заурядная нимфоманка?

Прихлебывая ром-пунш, она насмешливо спросила:

— Что, любите негрятянок?

Малько улыбнулся:

— О ком это вы?

Он был единственным белым в дискотеке, битком набитой темнокожими молодыми людьми. Интересно, куда девались макуты, получившие приказ убить его?

Амур Мирбале встала и взяла свою сумку:

— Я сейчас вернусь!

Малько проводил ее взглядом до двери туалета, приказав замолчать внутреннему голосу, который настоятельно советовал ему немедленно уйти. Но бывают ситуации, когда джентльмен должен оставаться джентльменом даже с риском для жизни...

От ром-пунша у него начала кружиться голова. Он напряженно следил за дверью туалета. Прошло несколько минут. Пластинка кончилась, и сквозь шум голосов Малько вдруг услышал рев мощного мотора: "ламборгини"!

Он подскочил как сумасшедший, оттолкнул стоявшую у него на пути пару и выбежал наружу. Четыре зажженные

фары медленно удалялись. Если бы не кювет, Амур Мирбале давно бы укатила прочь — вместе с его пистолетом! Ему удалось догнать ее в тот момент, когда она выезжала из кювета на дорогу. Больше всего Малько хотелось вытащить ее из машины и задать ей хорошую трепку.

Он открыл дверцу и упал на сиденье. Лицо Амур Мирбале исказилось от ярости, но она быстро взяла себя в руки и натянуто улыбнулась:

— Не надо было за мной бежать — я просто немного устала и решила вернуться домой. А вам, наверное, лучше остаться, вы тут славно повеселитесь!

Вот уж шутка так шутка...

Во избежание постороннего вмешательства, Малько потихоньку запер дверцу, а затем нащупал рукоятку своего пистолета.

— Мне не хочется с вами расставаться! — заявил он.

Он редко бывал до такой степени искренен.

Она покачала головой:

— Нет, я предпочитаю вернуться одна. В моем квартале за мной шпионят — а я как-никак замужем...

Серьезный аргумент для воспитанного поклонника. Однако Малько остался холоден.

— Такой симпатичной женщине опасно возвращаться ночью без сопровождающего! — мягко сказал он.

Мотор "ламборгини" продолжал работать. Тонкий слой вежливости в одно мгновение слетел с Амур Мирбале. Малько увидел перед собой звериный оскал.

— Выходите из моей машины, — прошипела она, — или я закричу! Мне хочется остаться одной!

— А я умираю от желания остаться с вами, — ангельским голосом сказал Малько.

Она в бешенстве ударила ладонью по рулю:

— Все, что вам от меня было нужно, вы уже получили!

Она добавила несколько креольских и французских ругательств. Но Малько твердо стоял на своем:

— Эта сцена просто смехотворна. Поехали!

Не говоря ни слова, Амур Мирбале схватила свою сумку и запустила туда руку. Малько вцепился ей в запястье. Она наклонилась и укусила его, однако он не ослабил свою хватку и вытащил ее руку из сумки. Тонкие пальцы мулатки сжимали перламутровую рукоятку маленького револьвера. Малько ударил ее руку о руль и, когда револьвер упал на пол, извлек свой ультратупловый пистолет и направил его ей в лицо.

— Амур, — сказал он, — отвезите меня в "Эль-Ранчо"!

Игра окончилась. Амур Мирбале резким движением распахнула дверцу, кубарем выкатилась из машины и побежала к дискотеке. Не теряя времени, Малько сел за

руль, выехал на дорогу и дал полный газ. Сейчас эта машина была его лучшей защитой — ее знал весь Порт-о-Пренс. Малько никогда прежде не доводилось водить "ламборгини", поэтому дважды в пути у него случились неполадки: мотор вдруг заглох, потом заработал снова, потом опять заглох. Весь в поту, Малько все-таки завел его и благополучно домчался до шоссе, которое вело к Петьонвиллю. По дороге он заметил стоящий на обочине белый "фиат" макутов. Рев мотора был теперь ровным и мощным, и Малько немного успокоился. Вся дорога до "Эль-Ранчо" заняла у него пять минут.

Подъезжая к гостинице, он увидел в свете фар серую "тойоту". Не выключая мотора, Малько выскочил из "ламборгини" и, прежде чем тонтон-макуты поняли, что он приехал один, проскользнул в вестибюль, схватил ключ, добежал до своего номера, запер за собой дверь и, сняв пистолет с предохранителя, положил его на тумбочку у изголовья.

Война была объявлена.

10

Каждый раз, когда какая-нибудь машина притормаживала у "Ламби", Малько вздрагивал. Он сидел за столиком на веранде, выходившей к грязно-серому морю, в котором купались несколько молодых негритянок. Одна из них, довольно хорошенькая, время от времени поглядывала в его сторону и улыбалась.

Если не считать прирученной барракуды, ресторан "Ламби", находившийся в двадцати километрах от Порт-о-Пренса, вряд ли мог привлечь туристов. Тем более что поддержание чистоты не было главной заботой его владельцев. Малько даже не прикоснулся к своему рому, который, похоже, выдерживали в ржавых цистернах...

Десять минут двенадцатого. Человек от Габриэля Жакмея опаздывал. Малько нервничал: появившись сейчас макуты, ему останется разве что броситься в море и плыть до Пуэрто-Рико. Если бы не встреча с калеккой, он давно бы уже заказал билет на самолет. Перед поездкой в "Ламби" он отправил Амур Мирбале огромный букет цветов — отчасти из галантности, отчасти как своего рода вызов. Не ожидая, разумеется, что охапка орхидей может хоть чуточку смягчить ее. Он не тешил себя иллюзиями: отныне его жизнь находилась в постоянной опасности.

Повсюду сновали "тап-тапы", в которых пассажиры были спрессованы как сельди в бочке. По тротуарам фланжировало немало привлекательных девушек. Малько был

единственным белым во всей округе — посланец Жакмея не мог ошибиться. Как, впрочем, и тонтон-макуты. Рано утром Малько зашел в посольство к Фрэнку Гилпатрику. Тот уже знал о его ночных приключениях. Малько отметил про себя, что недооценил его.

— Она была в такой ярости, что дала пощечину одному из своих людей, — сказал Гилпатрик. — Интересно, что некоторые макуты считают, будто она вас отпустила, потому что спала с вами.

“Спала” в данном случае было сильно сказано..

Гилпатрик сообщил Малько, что высылать с Гаити его не собираются: Амур Мирбале так разъярена, что непременно будет мстить — но днем и в людных местах ему опасаться нечего. Убить его попытаются ночью, поэтому надо быть очень осторожным и не рассчитывать, что вчерашняя тактика окажется эффективной и в следующий раз.

Малько вздрогнул: у “Ламби” сигнализала белая “тойота”. Он разглядел в ней светлую шевелюру Берта Марни. Вампир радостно помахал ему рукой. Водитель “тап-тапа”, которому “тойота” загородила дорогу, в свою очередь нетерпеливо посигналил. Марни замахал рукой еще энергичнее. Малько, которому сейчас менее всего хотелось встречаться с этим субъектом, сделал вид, что внимательно рассматривает содержимое своего стакана. Берт Марни выскочил из “тойоты” и крикнул:

— Вы что, глухой?!

— Простите?

— Разве вам не назначили встречу?

Пораженный Малько отставил свой ром. Вот уж чего он никак не ожидал...

Как только он сел в “тойоту”, Марни дал полный газ и весело бросил:

— Не ожидали увидеть старого Берта, да?

...

Промчавшись с бешеной скоростью через весь Порт-о-Пренс и миновав хижину из бамбука, где помещался ресторан со скромным названием “Максим”, “тойота” резко свернула с Дельмас Роуд влево. Берт Марни предупредил:

— Сейчас держитесь — начнутся колдобины. Зато на этой дороге легко оторваться от ребят мамаши Мирбале.

Но уже через сто метров им пришлось снова свернуть: дорога была перерыта. Малько казалось, что его внутренности вот-вот вывалятся наружу от этой сумасшедшей тряски. Поднимая тучи желтой пыли, Берт Марни гнал “тойоту” так, словно это была спортивная машина. Он ед-

ва не врезался в грузовик и раздавил огромного черного жука, куски которого с хрустом разлетелись из-под колес. Малько было трудно дышать. Они выехали на шоссе, ведущее в аэропорт, затем свернули вправо. Погони за ними не было. Порт-о-Пренс остался далеко позади.

— Куда мы едем? — спросил Малько.

— Подождите немного, вас ждет сюрприз!

Берт Марни по-прежнему выжимал из "тойоты" все, на что она была способна, почти задевая расположенных на обочине торговков манго и обгоняя запыленные, одышливо тарахтевшие "тап-тапы". Вскоре они увидели заграждение, возле которого стояли двое солдат. Один из них сделал им знак остановиться. Берт Марни затормозил.

— Куда едете? — спросил солдат, обеими руками сжимая старенькую винтовку.

— Comment ouyé? — непринужденно ответил вопросом на вопрос Берт Марни.

Солдат засмеялся:

— Map boulé**.

И жестом показал, что они могут проехать. Марни весело объяснил Малько:

— Они, в сущности, неплохие ребята. Надо только знать, как себя с ними вести. Вообще-то, полагается говорить, куда едешь. Ночью они иногда от скуки стреляют по машинам, которые не останавливаются, но во время сисес ты можно и проскочить — это не особенно опасно...

Он вырулил на узкую дорогу, идущую вдоль побережья.

— Так куда же мы все-таки едем — к Жакмелю? — спросил Малько.

— Ну да! Не ожидали?

— Откуда вы его знаете?

Дорога, по которой они мчались со скоростью сто сорок километров в час, была со скверным покрытием, но сравнительно прямая, поэтому Берт Марни немного расслабился:

— Мы познакомились еще во времена Франсуа Дювалье, когда я жил на Ямайке. Жакмель скупал у меня продовольствие и лекарства, которые переправлял на Гаити по морю. Все шло хорошо до тех пор, пока эти сволочи не выслали меня с Ямайки.

— Почему? — полюбопытствовал Малько.

Марни выразительно потер большой и указательный пальцы:

— Инфляция. Со времен событий в Конго министры

* Как депа? (креольск.)

** Ничего, нормально (креольск.).

подорожали в пять раз. Мне это стало уже не по карману. К тому же они еще и жулики, эти черномазые! На Ямайке из меня сначала вытянули все деньги, а потом просто выперли. Я приехал сюда нищим. Через неделю Жакмель меня разыскал и спросил, могу ли я снабжать его оружием и продовольствием и готов ли делиться информацией... Что мне оставалось делать? У меня на хвосте Интерпол — податься мне больше некуда... В общем, я сделал на него ставку — если он окажется на коне, то и я не пропаду!

— То есть?

— То есть! Стану министром здравоохранения! Или чем-то в этом роде...

Он умолк, замороженный радужным будущим. На его просветленном лице так и читались расчеты, в которые он был погружен: например, сколько гектолитров крови можно будет выцедить из пяти миллионов гаитян на вполне законном основании. Уж наверняка хватит на красный "кадиллак"!

Он притормозил и свернул на узкую просеку в джунглях, которые отделяли дорогу от берега моря.

— Ну вот мы и прибыли!

Раскачиваясь и подпрыгивая, "тойота" проехала еще метров сто и остановилась на усеянном раковинами пляже у огромного хлебного дерева. Рядом лежала наполовину вытащенная из воды на песок рыбацья лодка с изодранными парусами, возле которой спали два одетых в лохмотья негра. Берт Марни рывкнул на них: оба лениво поднялись и начали сталкивать лодку в море.

— Они переправят вас вон на тот островок, — сказал Марни. — Это путешествие займет около часа. Вопросов им не задавайте — они говорят только по-креольски.

Малько забрался в лодку. Убедившись, что они благополучно отплыли, Берт Марни пошел к своей "тойоте".

...

Малько замороженно следил за изуродованными пальцами левой руки Жакмеля, которые беспрестанно манипулировали патроном от кольта и, казалось, вот-вот превратят его в лепешку. Облик у бывшего главы тонтон-макутов был пугающий: сплюснутый, как у боксера, нос, громадный рост, атлетические плечи.

— Оставьте нас! — сказал он по-французски двум своим телохранителям, каждый из которых был вооружен кольтom сорок пятого калибра с удлиненной на двадцать сантиметров обоймой, содержавшей тридцать патронов. Телохранители отошли и уселись под растущим неподалеку чахлым деревцем. Несмотря на свой пуленепрони-

ваемый жилет цвета хаки, Жакмель чувствовал себя на солнце пеке вполне комфортно. Прислонившись к песчаному холмику, они с Малько сидели на пляже самого маленького из трех необитаемых островов, расположенных в нескольких милях от гаитянского берега. После автомобильной гонки путешествие в рыбацкой лодке пошло Малько на пользу, позволив расслабиться и отдохнуть. Поскольку ветер был слабый, оба рыбака гребли до самого острова. Высадив Малько, они отправились на ловлю лангустов.

Малько с интересом рассматривал исполинскую фигуру Жакмеля. Этот человек казался воплощением могучих сил природы.

— Спасибо, что согласились на эту встречу! — пробасил Жакмель на довольно хорошем французском языке.

Малько холодно улыбнулся:

— Именно для этого я и приехал на Гаити.

Жакмель на несколько секунд перестал манипулировать патроном, давая отдых руке.

— Значит, вы представляете людей, которые готовы мне помочь? — медленно выговорил он.

— Совершенно верно.

Жакмель наклонил голову и некоторое время о чем-то размышлял.

— Вы можете гарантировать, что я буду признан как глава законного правительства? — наконец спросил он.

Со стороны этот диалог на крошечном островке в Карибском море мог показаться болтовней двух сумасшедших. Однако Малько не был настроен на юмористический лад. Ставки в этой игре были слишком высоки.

— Да, если у вас не будет никакого другого правительства. И если вы согласитесь ввести в его состав некоторых эмигрантов. Это главное условие.

Жакмель хищно оскалился. На его лице появилось выражение необыкновенной жестокости.

— Я перебью всех дювальеристов и принесу вам их головы. А насчет эмигрантов мы поговорим потом.

Он кивнул на лежащий перед ним кожаный мешок:

— Здесь голова Франсуа Дювалье. Я с ней не расстаюсь. Когда мои люди падают духом, я ее им показываю. Хотите посмотреть?

Малько вежливо отказался. Жакмель не стал настаивать и перешел к делу:

— Так каков ваш план?

Малько начал подробно рассказывать ему о том, что было разработано в ЦРУ. Жакмель хитро шурился.

Когда Малько закончил, он похлопал его по плечу:

— Браво, отлично задумано!

Он злорадно улыбался. Малько вдруг вспомнил о Си-

моне Хинч и почувствовал приступ тошноты. Чтобы успокоиться, он посмотрел на синюю гладь моря.

Вопрос Жакмеля вернул его к грубым земным делам:

— А что именно вы хотите для эмигрантов?

— Портфель министра иностранных дел для Джозефа Хинча. От имени своего отца Симона Хинч может подтвердить его согласие войти в состав вашего правительства.

— Симона Хинч? — с удивленным видом медленно повторил Жакмель.

Малько поторопился заверить его:

— Я знаю, что у вас с ней произошло. Она готова предать все это забвению.

Жакмель плотоядно ухмыльнулся:

— Рад буду снова ее увидеть...

Малько представил себе этого громилу рядом с изящной и хрупкой Симоной и его передернуло.

Жакмель поднялся во весь свой двухметровый рост. На ремне его брюк военного образца болтались, образуя железную мини-юбку, двадцать магазинов от автомата "томпсон". Он смерил Малько взглядом.

— Почему вы предлагаете мне помощь — вы ведь знаете, что я не люблю американцев?

Малько так и подмывало ответить, что если бы это зависело лично от него, он испепелил бы его из огнемета.

— Это решение принято не на моем уровне, — сухо ответил он. — Я только передаю его вам, наряду с требованием: воспрепятствовать кубинскому проникновению на Гаити и не отменять существующие торговые соглашения.

Жакмель фыркнул:

— Насчет коммунистов — никаких проблем. Я буду убивать их всех подряд. Я люблю убивать коммунистов. Этих вонючих паразитов и безбожников, эту нечисть...

После такого маленького лирического отступления в тропическом духе он добавил с едва сдерживаемой яростью:

— А вам известно, что американцы покупают у нас сахарный тростник по ценам тридцать четвертого года?

Малько этого не знал. Жакмель пожал плечами:

— Да, конечно, это вас не касается. Тут особый разговор...

Он сделал маленькую паузу и неожиданно заявил:

— А я ведь ничего о вас не знаю! Вдруг вы готовите мне ловушку? Может, вас подслала семейка Дювалье...

Стараясь сохранить невозмутимость, Малько заметил:

— Вчера вечером Амур Мирбале пыталась меня убить.

— Вот, кстати, о ней, — сказал Жакмель. — На нашу следующую встречу вы принесете мне две вещи: двадцать

пять тысяч долларов — в гурдах — и голову Амур Мирбале. Это будет доказательством того, что с вами можно иметь дело!

11

— Что касается Амур Мирбале, то не стоит понимать слова Жакмеля буквально, — сказал Берт Марни. — Главное — избавиться от нее. А голову он ей сам отрежет.

Прелестное уточнение.

Хотя до сих пор все шло гладко — Берт Марни встретил его на гаитянском берегу, посадил в машину, и они поехали назад, в Порт-о-Пренс, не увидев на горизонте ни одного макута, — Малько не заблуждался: он был убежден в том, что Амур Мирбале не изменила своего намерения отомстить ему.

— Постарайтесь не попасть туда! — проворчал Берт Марни, показывая пальцем на одиноко стоявшее на пустыре за антенной "Радио-Метрополь" желтое трехэтажное здание, перед которым полоскался на ветру гаитянский флаг.

— "Фор-Диманш", — пояснил Вампир. — Отсюда мало кто выходит живым.

Издалека расположенное на берегу моря желтое здание тюрьмы казалось сделанным из папье-маше.

Марни свернул с улицы Дельмас на авеню Жан-Жак Дессалин. Малько попросил высадить его напротив представительства ООН. Теперь надо было действовать очень быстро: обратный счет в его поединке с Амур Мирбале начался...

* * *

В кабинете резидента ЦРУ царила восхитительная прохлада. Фрэнк Гилпатрик смотрел на Малько как-то по-новому: в его взгляде читалось уважение.

— Значит, вам удалось встретиться с Жакмелем! — повторил он.

После истории с Амур Мирбале его отношение к Малько стало меняться в лучшую сторону.

— Да, и теперь мне остается только обстрелять "лампборгини" Амур Мирбале, до того как ее тонтон-макуты напигуют меня свинцом.

— Ну если бы она захотела, то давно отдала бы им такой приказ. Вас бы убили при выходе из гостиницы. Нет, судя по всему, она решила действовать иначе. Конечно, вы ее унизили, и она вам этого не простит, но сейчас она, наверное, рассчитывает выйти через вас на Жакмеля.

Фрэнк Гилпатрик уже не казался таким убежденным сторонником дювальеризма. Он ещё не окончательно одичал, подумал Малько. Попади он в общество нормальных людей, у него будут хорошие шансы снова стать цивилизованным человеком. Впрочем, не это сейчас было главной заботой Малько.

— Как мне разыскать некоего Чезаре Каstellла? — спросил он.

Гилпатрик снова замкнулся.

— Не имею ни малейшего представления, — сухо ответил он. — Лучше спросите об этом пастора Джона Райли из "Радио-Пакс". Он несколько раз выручал этого типа. До "Радио-Пакс" легко добраться по шоссе Карфур.

— А как насчет двадцати пяти тысяч долларов?

— Вы их получите — разумеется, под расписку.

Очень деликатно. Малько встал. Настроение у него было скверное.

— Ну что ж, понесу свой крест дальше...

— Передайте от меня привет Джону Райли. Мы с ним не виделись уже две недели.

* * *

Джон Райли ползал на четвереньках в поисках пружины от ударника своего старого "радома" калибра девять миллиметров, когда раздался стук в дверь. Он встал, набросил на разобранный пистолет большой клетчатый носовой платок и пошел открывать. Увидев Малько, он дружески пожал ему руку, хотя никогда прежде с ним не встречался. Джон Райли соблюдал христианскую заповедь любить ближнего. Малько мягко сказал:

— Я ищу свет истины.

Пастор улыбнулся еще шире:

— Заходите!

Кондиционер в комнате не работал. Сняв платок со своего "радома", Райли смахнул им пыль со стула, который предложил Малько, а сам уселся за письменный стол.

— Я только что вернулся из Артибонита, — объяснил он. — Пылища там такая, что если сразу не почистить оружие, потом его можно просто выбросить... Так что привело вас ко мне?

Джон Райли был плотного телосложения, с круглым и невыразительным, как у куклы, лицом и серыми пронизывающими глазами за стеклами очков в роговой оправе. Даже Фрэнк Гилпатрик не знал, настоящий ли он пастор. Впрочем, все, что касалось "Радио-Пакс", было окружено завесой тайны. Вещавшая на всю страну радиостанция была официально зарегистрирована как принадлежавшая

независимой религиозной организации. Малько нашел ее без труда: выехав на шоссе Карфур, он увидел напротив бара "Роял" выцветший дорожный указатель: "Радио-Пакс". К станции, состоявшей из нескольких небольших строений, вела узкая ухабистая дорога, петлявшая среди густых кустарников. Узнать, какая именно организация владела "Радио-Пакс", было более чем затруднительно. Характер религиозных убеждений ее владельцев не отличался определенностью. Возможно, такое впечатление создавалось из-за присущей глубоко верующим людям скромности. Гаитяне, однако, считали, что радиостанция была одним из филиалов ЦРУ, а работавшие на ней пасторы не умели даже правильно перекреститься. И они не ошибались. Финансирование "Радио-Пакс" — хотя и не очень щедрое — целиком и полностью осуществлялось ЦРУ. А первые слова Малько, обращенные к Джону Райли, были не чем иным, как паролем. Однако, не считая одной тайком проведенной ликвидации какого-то слишком зарвавшегося коммуниста, работники "Радио-Пакс" не прибегали к насилию. Святость обязывает...

— Мне нужно встретиться с неким Чезаре Каstellла, — сказал Малько.

Джон Райли понимающе кивнул:

— А-а, Каstellла! Типичная жертва клеветы. Он многое отдал для защиты нашей святой матери-церкви.

Пастор Джон Райли не совершал тяжкого греха, считая кровь коммунистов и иже с ними просто жидкостью, содержащей гемоглобин.

— Чезаре Каstellла живет в гостинице "Иболеле". Я сейчас черкну ему записку, которая будет вашим пропуском — он последнее время стал очень пугливым...

И, отодвинув свой "радом", он взял ручку и клочок бумаги. Малько мысленно поздравил себя: решение навестить этого удивительного пастора было правильным.

* * *

С бьющимся сердцем Жюльен Лало поспешно запер за собой дверь своего дома. В сидевшем на противоположной стороне улицы нищем он узнал одного из самых свирепых тонтон-макутов. Неужели Амур Мирбале приказала его убить? Или все-таки только пострашать? А ведь он так старался: сразу же сообщил об американском агенте... Да, после убийства на церемонии вуду надо было на следующий же день уехать в Кап-Аитьен*. Он сделал глупость, оставшись в Порт-о-Пренсе из-за одной тринадцатилетней девчушки. Теперь это дорого могло ему обой-

* Портовый город на севере Гаити.

тись... А не попросить ли политического убежища в американском посольстве? Так поступали многие. Но что он будет делать в Майами? Во Флориде старый негр, даже богатый, все равно будет только старым негром. В Порт-о-Пренсе его многие ненавидели, но, по крайней мере, он был здесь своим...

Несколько минут он ходил взад-вперед по комнате. Пора было принимать решение — нельзя же просто запереться и ждать неизвестно чего. Он вышел на улицу, сделав вид, что не замечает нарядившегося нищим тонтон-макута, и направился в сторону своей табачной фирмы "Ком иль фо", расположенной в двух кварталах от его дома. Когда он был уже в нескольких шагах от входа, у тротуара остановилась какая-то машина, и его окликнули:

— Жюльен!

Это был черный "линкольн" начальника полиции — близкого друга Амур Мирбале. На заднем сиденье рядом со своим шефом сидел тонтон-макут в майке и с автоматом на коленях. Жюльен Лало почувствовал приступ дурноты, но нашел в себе силы приветственно взмахнуть рукой и произнести:

— Как поживаешь, Бьенэме?

В своих зеркальных очках Жозеф Бьенэме казался не выразительнее манекена.

— Амур хочет тебя видеть, — негромко сказал он.

Двигаясь как автомат, Жюльен Лало сел в машину, которая тотчас же тронулась с места. Сквозь стекло он посмотрел на прохожих, чувствуя себя уже совсем в другом мире. Он изо всех сил старался не показать свой страх и напрягал мышцы живота, чтобы мочевого пузыря не сыграл с ним злую шутку. Машина проехала казармы "Франсуа Дювалье", обогнула "Пале Насьональ", миновала французское посольство и покатила по улице Кафуа в сторону гостиницы "Олафсон". Страх Жюльена Лало усилился, и он весь взмок, несмотря на работающий кондиционер. Ему стало ясно, что его везут в неофициальную штаб-квартиру Амур Мирбале, расположенную среди парка, который, как говорили в Порт-о-Пренсе, тонтон-макуты превратили в кладбище для своих жертв.

* * *

— Пей! — приказала Амур Мирбале своим красивым мелодичным голосом.

Если бы не трое тонтон-макутов с пистолетами за поясом, можно было подумать, что хозяйка дома мирно беседует со своим гостем. Разделенные журнальным столиком, Амур Мирбале и Жюльен Лало сидели в больших плетеных креслах у веранды одного из самых красивых

домов Порт-о-Пренса, владельцы которого жили в изгнании в Нью-Йорке. Этот построенный в колониальном стиле деревянный, покрашенный в белый цвет особняк, увешанный картинами и уставленный антиквариатом, служил Амур Мирбале тайной резиденцией.

Жюльен Лало протянул было руку, но сразу же отдернул ее.

— Но я выпил уже слишком много... это опасно!

Амур Мирбале, как змея, вытянула голову вперед.

— Знаешь, есть вещи гораздо более опасные...

Один из макутов выхватил из-за пояса поменявший, наверное, не одного владельца пистолет "стар" и приставил его к затылку Жюльена Лало. Тот залпом осушил стакан. "Буа-кошон" показался ему еще более терпким, чем обычно. Он боялся даже подумать о том, какое действие это окажет на его изношенный организм. Едва он поставил пустой стакан, как второй макут налил в него новую порцию "буа-кошон". Жюльен Лало выпил уже полбутылки, и руки у него дрожали. Амур Мирбале хладнокровно убивала его.

— Где Габриэль Жакмель? — спросила она.

Лало умоляюще сложил руки. Этот допрос длился уже полчаса. Ему казалось, что его поджаривают на медленном огне.

И все из-за того подонка, который видел, как он передал "буа-кошон" американскому агенту.

— Клянусь тебе, не знаю. Я и понятия не имел, что этот американец ищет с ним встречи.

— Врешь! — спокойно произнесла Амур Мирбале. — Ну что ж, тогда пей — это освежит тебе память!

Потеряв последнюю крупицу самоуважения, Жюльен Лало вскочил с кресла и упал перед мулаткой на колени. Врач неоднократно предупреждал его, что злоупотребление "буа-кошон" чрезвычайно опасно для его сосудов.

— Клянусь, я тебя не предавал. Амур, ты же знаешь, как я любил президента! Не заставляй меня больше пить это!

Тонтон-макуты расхохотались.

— Можешь и не пить, — мелодичным голосом сказала Амур Мирбале. — Аликс готов пристрелить тебя в любой момент.

Жюльен Лало снова почувствовал холод пистолета на своем затылке. Но, несмотря на это, запах молодой женщины, перед которой он стоял на коленях, опьянял его.

Амур Мирбале была неумолима.

— Ты слишком стар, чтобы быть таким наивным, Жюльен, — тихо сказала она. — За то, что ты сделал, с тебя надо содрать кожу — медленно, по кусочку... Пей!

— Но я действительно ничего не знаю, — простонал Лало. — Ничего! Хочешь, я его убью, этого американца?

Глаза у Амур Мирбале сверкнули:

— Не лезь, куда не просят! Это мое дело. Не хочешь сказать, где Жакмель — пей!

Она впервые повысила голос. Никто из посторонних все равно не мог ее услышать: вокруг был парк. Да и кто в Порт-о-Пренсе осмелился бы требовать объяснений у Амур Мирбале?

Всхлипнув, Жюльен Лало выпил "буа-кошон" до последней капли. У него вырвали стакан, чтобы наполнить его снова... Он встал, чувствуя чудовищное возбуждение. Перед его брюк гротескно вздулся. Аликс с усмешкой показал на это пальцем. Амур Мирбале поджала губы и отвернулась. Зрелище охваченного похотью старика ее не возбуждало.

Кровь кипела в жилах Жюльена Лало. Ему казалось, что его глаза сейчас вылезут из орбит.

— Хватит, я больше не могу! — прошептал он.

— Чем скорее допьешь, тем скорее освободишься, — наставительно изрекла Амур Мирбале. — Сам во всем виноват. Достаточно только сказать мне, где прячется Жакмель.

Аликс с издевательским видом уже протягивал ему стакан. Лало выпил его маленькими глотками. У него кружилась голова и ломило все тело — но самым мучительным было жгущее огнем, нестерпимое желание.

Аликс протягивал Жюльену очередной стакан "буа-кошон". Делалось это уже из чистого садизма, поскольку Амур давно поняла: если бы старик что-нибудь знал, то давно бы во всем признался.

— Хочешь узнать, кто тебя выдал? — ласково спросила она.

Он не ответил: сейчас это его мало заботило.

Она продолжала:

— Раньше ты был более злопамятным, Жюльен. Стареешь. Кстати, сколько тебе уже стукнуло?

Лало промолчал. Он обычно сбавлял себе четыре года, говоря, что ему семьдесят шесть.

— Так кто же меня выдал? — наконец спросил он больше для того, чтобы угодить Амур Мирбале, чем из любопытства.

— Ты ее хорошо знаешь: Симона Хинч.

— Симона Хинч?

Это имя не сразу дошло до его отуманенного сознания. Симона Хинч... Ах, да: он несколько раз заходил в картинную галерею Порт-о-Пренса, чтобы с вождением поглазеть на стройную фигуру ее владелицы. Но сейчас все это не имело значения: он выпил слишком много

“буа-кошон”. Бутылка была пуста. Амур Мирбале удовлетворенно поглядела на него и встала. Голос у нее был все такой же ровный и мелодичный:

— Очень хорошо, Жюльен! Я уйду. Может, ты умрешь, а может, и нет. Но если ты выкарабкаешься — запомни: в следующий раз я тебя не прощу!

Жюльен Лало остался полулежать в кресле. Как сквозь вату он услышал хлопанье дверцы автомобиля. Когда он открыл глаза, то увидел перед собой сидящего тонтон-макута Аликса в клетчатой рубашке и с автоматом на коленях. Рассмеявшись жирным смехом, тот сказал:

— Тебе срочно нужна баба!

Не отвечая, Жюльен Лало встал. Во что бы то ни стало надо было разыскать знахаря — единственного человека, который мог спасти его от верной смерти. Он кое-как привел себя в порядок, шатаясь, пересек парк, вышел на улицу, остановил “тап-тап” и из последних сил втиснулся в него.

* * *

Чезаре Каstellла быстро спрятал пятьсот долларов. Малько смотрел на него с отвращением. Ему редко приходилось видеть такое апатичное, пустое лицо: узкое, губастое, с тонкими усиками и маленькими, злыми глазками. В нем было что-то рыбье.

— Но действовать нужно быстро, — сказал Малько.

Каstellла напыщенно ответил:

— Сеньор, Чезаре Каstellла умеет держать слово!

— И не забывайте: речь идет не о том, чтобы ее убить, — сухо уточнил Малько, — только вывести из игры... Впрочем, действовать мы будем вместе. Ваша основная задача — используя имеющиеся у вас здесь связи, организовать похищение и найти надежное место, где ее можно будет продержать какое-то время.

На рыбьем лице Чезаре Каstellла появилось выражение, какое бывает у человека, глубоко оскорбленного в своих лучших чувствах.

— Сеньор, я — кабльеро и никогда не причиню зла женщине. Даже если вы прикажете.

Малько пришлось удовлетвориться этим ответом. Выбора у него не было. Он немного утешился, вспомнив, что и в Крестовых походах участвовало немало отъявленных негодяев.

Он надел свои темные очки и посмотрел на великолепную панораму, открывавшуюся с террасы гостиницы “Иболеле”. Но, несмотря на эту красоту, постояльцев тут было немного — отпугивали шутки тонтон-макутов, которые по ночам бросали трупы в бассейн гостиницы.

Не снимая очки, Малько снова начал разглядывать своего "помощника": у него было лицо человека безвольного, подобострастного и в то же время жестокого и уверенного в себе.

Ободренный молчанием Малько, Чезаре Каstellла разоткровенничался:

— Сеньор, все эти негры — настоящие животные. Благодетель Трухильо мне много раз говорил об этом, а уж он-то разбирался. Я просто мечтаю бежать из этой вонючей страны и вернуться в Доминиканскую Республику... А вот и моя жена!

Малько встал. К их столику величественно шло совершенно удивительное создание, похожее на ожившую картинку из "Плейбоя": волосы с медным отливом, прекрасно вылепленное тело, натянутое в длинное платье с декольте, которое оставляло открытой практически всю грудь... Огромные зеленые глаза, обрамленные густым слоем туши, пристально смотрели на Малько.

Госпожа Каstellла села рядом с мужем, с хорошо выверенной медлительностью положила ногу на ногу и проворковала низким голосом:

— Добрый день, сеньор! Чезаре не предупредил меня, что будет не один...

Она оценивающе посмотрела на его светлые волосы, золотистые глаза и элегантную фигуру, потом сцепила руки на затылке, выставив грудь вперед, покачала ногой и спросила:

— Надеюсь, вы останетесь пообедать с нами?

Голос у нее стал чуть хрипловатым. Малько подумал, что для Чезаре Каstellла начинается очередной кошмар. Тот поторопился вмешаться:

— Сеньор Линге не может остаться, Гуапа, — у него очень много дел.

Гуапа шумно вздохнула и наградила Малько взглядом, который мог размягчить камень — столько в нем было неги.

— Не осуждайте меня, сеньор, но здесь так скучно... В Сьюдад-Трухильо* при Благодетеле — упокой Господь его прекрасную душу — мы устраивали приемы каждый вечер. А здесь мы живем, как звери в джунглях. Сегодня Чезаре едет во Дворец повидать своих друзей, и я остаюсь в одиночестве. Я думала, вы будете так любезны и составите мне компанию...

Чезаре Каstellла побелел. Из-за толстых губ он был похож на разъяренного окуня. Малько, который не видел

* Город на южном побережье Доминиканской Республики.

никакой нужды восстанавливать его против себя, попробовал разрядить атмосферу:

— Поверьте, мадам, я рад был бы остаться, но ваш супруг сказал чистую правду: у меня действительно очень много дел.

Внушительные груди Гуапы как-то сразу поникли. К счастью, в этот момент появился официант, несший поднос с бутылкой портвейна и рюмкой. Гуапа залпом выпила рюмку и проводила официанта томным взглядом. Потом, вздохнув, вытянула ноги и сказала:

— А знаешь, у этого парня отличная фигура для негра. Чезаре Каstellла побагровел.

— Иди в номер. Puta!*

Последнее слово он произнес очень тихо, но Малько его услышал. Гуапа пронзительно выкрикнула по-испански:

— Оставь меня в покое, сутенер!

Правая рука Чезаре Каstellла мелькнула в воздухе, и голова Гуапы дернулась. На ее щеке появился отпечаток пяти пальцев. Испустив сдавленный крик, она в бешенстве бросилась на мужа, целясь ему в лицо длинными ногтями. Каstellла успел схватить ее за запястья и, как истинный джентльмен, прокомментировал:

— Я слишком добр, сеньор. Когда я познакомился с этой потаскушкой, она спала со всеми подряд за два доллара, и у нее даже туфель не было. Я сделал из нее даму. В благодарность за это она спит со всеми неграми в гостинице...

— Врешь! — завопила Гуапа. — Туфли у меня были!

И, вырвавшись от него, растрепанная, с красным лицом, красивая и жалкая, она бросилась на шею Малько.

— Возьмите меня с собой, — потребовала она, — я не желаю больше оставаться с этой свиньей!

— Да-да, возьмите ее, — усмехнулся Каstellла. — Мне уже давно пора найти себе приличную жену, которая не будет поминутно оскорблять Пресвятую Деву. А вы станете самым знаменитым рогоносцем на Карибских островах!

Гуапа яростно топнула ногой:

— Сутенер, дерьмо собачье!

Малько поднялся, испытывая сильнейшую неловкость.

— Надеюсь, вы помиритесь, — сказал он. — А мне нужно идти. Жду вас послезавтра после десяти часов. Пройдите в гостиницу через сад.

— Хорошо, сеньор, — ответил Чезаре Каstellла, запыхавшийся, но сохраняющий чувство собственного достоинства.

* Шлюха (исп.).

Прелестная пара. Ну и помощнички у него: Чезаре Кастелла, Жюльен Лало, Берт Марни... Настоящий "Интернационал мокриц"! Теперь он начал понимать, почему все попытки государственного переворота в этой стране не удались... Беспокоило его и другое: после "вечеринки" с Амур Мирбале он не замечал за собой никакой слежки. Как будто мулатка решила предоставить ему полную свободу действий. Во всяком случае, когда он ехал в гостиницу "Иболеле", "хвоста" за ним не было — поэтому и состоялась эта встреча с Чезаре Кастелла.

* * *

Пuls у Жюльена Лало был сто сорок ударов в минуту. Старику казалось, что его бешено колотящееся сердце вот-вот лопнет. Склонившийся над ним знахарь был более чем встревожен.

— Жюльен, ты очень серьезно болен...

Его микстура не принесла никакого облегчения. Так же, как и кровопускание. А одолевавшие старика буйные эротические фантазии только усиливали мучения. От рома, на котором был настоен "буа-кошон", у него кружилась голова. Он схватил знахаря за руку:

— Я умираю...

Тот нахмурился:

— Я больше ничего не могу для тебя сделать, Жюльен.

Жюльен Лало встал и хромая пошел к двери. Уже стемнело. По улице Карфур проносились "тап-тапы". Ослепленный светом их фар, он несколько минут простоял в нерешительности, пока откуда-то из глубины его отуманенного ромом и болью мозга не всплыло имя виновницы его адских мучений: Симона Хинч!

* * *

Вернувшись с пляжа, Симона Хинч встала под холодный душ, чтобы смыть с себя морскую соль. Закрыв глаза, она подставила лицо под струи воды, думая о Малько, с которым не виделась два дня. Она так и не рискнула зайти к нему в гостиницу и вчера напрасно прождала его на площади Сен-Пьер.

Из комнаты донесся какой-то шум. Симона специально не заперла входную дверь — на случай, если придет Малько. Она позвала:

— Малько?

Кто-то отдернул нейлоновую занавеску с такой силой, что частично сорвал ее с карниза.

— Жюльен?!

Она испуганно отпрянула. Жюльена Лало, с которым

она была знакома много лет, трудно было узнать: его налитые кровью глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит; он хватал воздух открытым ртом и шатался как пьяный. Несколько секунд он молча и жадно смотрел на молодую женщину, и его злоба уступила место похоти. Не спуская глаз с ее слегка выпуклого живота, он с трудом залез в ванну. Охваченная паническим страхом, Симона закричала и попыталась оттолкнуть его. Но Жюльен Лало был слишком тяжелый. В насквозь промокшей одежде он прижался к ней. Она отчаянно царапала ногтями его морщинистую кожу. Ощущение ее обнаженного тела привело Жюльена Лало в экстаз. Он прижался своим воспаленным животом к молодой женщине. Симона укусила его в плечо. Почти ослепленный струями воды, он ударил ее в висок. Прикосновение к этому упругому, смуглому телу сводило его с ума. Он раздвинул коленом ноги Симону и с криком и стоном овладел ею. Почти сразу же он испытал такое глубокое, абсолютное наслаждение, что замер на полусогнутых ногах, обхватив молодую женщину за талию.

Немного придя в себя, Симона с диким воплем вонзила ногти в его шею, стараясь нащупать артерию. Но Жюльен Лало держал ее мертвой хваткой. Его возбуждение нарастало, желание разгоралось все сильнее, и он внезапно понял: что бы он ни делал, это только обострит его мучения. Костлявыми руками он схватил Симону за горло и прорывал:

— Ты продала меня Мирбале — я тебя убью!

12

Малько в третий раз обошел площадь Сен-Пьер. В условленном месте была только малолетняя чернокожая проститутка, которая отчаянно старалась привлечь его внимание. Откуда-то из темноты выходили другие проститутки, посылая воздушные поцелуи проезжавшим машинам. Несколько девиц сидели на краю тротуара с широко раздвинутыми ногами.

Петьонвиль спал. Малько продолжал искать глазами Симону. Она обещала ждать его каждый вечер между девятью и десятью часами. Он пришел в половине десятого, но не застал ее.

В пять минут одиннадцатого он решил поехать к ней. Это было рискованно — за ее домом наверняка велось наблюдение, — но лучше риск, чем неопределенность. И главное, ему надо было рассказать ей о результатах своей встречи с Жакмелем.

Извилистая дорога была пустынна. На погруженном в темноту склоне горы мерцали редкие огоньки.

* * *

Жюльен Лало почувствовал, как его хватают за шиворот и выдергивают из ванны. От неожиданности он даже не выпустил Симону, и оба упали на пол. Уже приземлившись на спину, он краем глаза заметил силуэт какого-то мужчины. Громкий голос скомандовал:

— Отпустите ее — или я вас убью!

Симона откатилась в сторону, подняла затуманенные от шока глаза и увидела Малько, который целился в Жюльена Лало из длинного, плоского пистолета. Пыхтя как паровоз, старик втянул голову в плечи. Симона встала, закуталась в полотенце и выскочила из ванной комнаты.

Рептильи веки Жюльена Лало медленно поднялись, и он прошептал креольское ругательство.

— Встаньте! — приказал Малько.

Лало не пошевелился. Вдруг в ванную влетела Симона. Подняв бутылку рома, которую она сжимала за горлышко, молодая женщина изо всех сил обрушила ее на голову Жюльена Лало. Бутылка скользнула по касательной и разбилась о его нос. Жюльен Лало свалился набок, и по его лицу, вперемишку с ромом, потекла кровь. Малько успел схватить Симону за руку в тот момент, когда она размахнулась, чтобы ударить старика в горло осколком бутылки. Несколько секунд она молча и яростно боролась с Малько, потом выпустила свое импровизированное оружие и разрыдалась.

— Убейте его! — простонала она.

Сотрясаемая рыданиями, с горящими глазами и чуть приоткрытым ртом, она была очень хороша. Мокрое полотенце подчеркивало стройность ее фигуры.

Малько опустился на колени и приподнял Жюльену Лало голову. Она вся была в крови. Кусок содранной кожи свисал с носа, обнажая кость.

— Надо остановить кровотечение, — сказал Малько.

Лицо Симоны исказилось от ненависти.

— Надо прикончить его, вот что надо! — взорвалась она. — Представляете, что бы произошло, если бы не вы? Уходите — я перережу ему горло!

— Надо остановить кровотечение, — настойчиво повторил Малько. Симона пожала плечами и вышла. Малько приподнял голову старика повыше, чтобы он не захлебнулся собственной кровью. Тот что-то пробормотал. Что же все-таки случилось? Почему Жюльен Лало напал

на Симону? В Порт-о-Пренсе не было недостатка в девицах, которые отдавались за несколько гурдов...

Появилась Симона, держа в руке какие-то листья — темно-зеленые с одной стороны, черные с другой. Она надела белое хлопчатобумажное платье и выглядела почти спокойной. На ее правом виске виднелся обширный кровоподтек. Не говоря ни слова, она присела возле Жюльена Лало и приложила листья к его лицу.

— Что это? — спросил Малько.

Она криво улыбнулась:

— Народное средство.

Несколько секунд Жюльен Лало лежал тихо. Потом широко открыл свои рептильи глаза, издал ужасный вопль, словно с него заживо сдирали кожу, и попытался сорвать листья, которые Симона крепко прижимала к его лицу. Когда он наконец оттолкнул ее руку и листья упали на пол, Малько увидел, что кровотечение почти остановилось, но кожа у него вздулась и покрылась красной сыпью. Тряся головой и воя, как раненый зверь, старик судорожно схватился руками за лицо, как будто стремясь содрать с него кожу ногтями. Вдруг, к изумлению Малько, он принялся ощупью искать упавшие листья. Симона быстро отбросила их ногой подальше. С отчаянным воплем Жюльен Лало снова упал на спину. На лице Симоны появилась хищная улыбка.

— Вы что, кислоты туда капнули? — с ужасом спросил Малько.

Симона дико захохотала:

— Нет, это листья манцениллы, которая по-креольски называется "брюле де бор"!

Подбоченившись, она злорадно смотрела на страдания Жюльена Лало. Старик полз к листьям, не обращая внимания на Малько и Симону. Малько подумал, что он, наверное, потерял рассудок от боли.

— Да он сошел с ума! Зачем ему эти листья?

Симона садистски улыбнулась:

— Если листья приложить зеленой стороной, они снимают боль, — объяснила она. — Из них делают повязку на небольшие раны. Поэтому-то я и держу их в доме.

Жюльен Лало почти дотянулся до листьев. Симона подскочила к нему и изо всех сил ударила его ногой в пах. Хрипло вскрикнув, Жюльен Лало сложился пополам, как гусеница, которую придавили к земле веткой. Малько оттащил от него Симону: эта расправа над жалким стариком была ему отвратительна.

Жюльен Лало наконец схватил листья и приложил их к лицу. Он лежал на полу скорчившись, прерывисто дыша и постанывая от боли; его длинное тело бил озноб. По-

сколько он не представлял опасности, Малько спрятал свой пистолет и увлек Симону в соседнюю комнату.

— Почему он напал на вас?

Она рассказала ему о том, что произошло. Малько сразу понял: подставляя Симону, Амур Мирбале метила в него. Симона тихо плакала. Он взял ее за руку, и молодая женщина прижалась к нему.

— Я хочу уехать из этой страны, — прошептала она. — Я больше не могу. Тем хуже для моего отца и для революции. Я вернусь, когда здесь все закончится. Поеду в Нью-Йорк...

Где ее изнасилуют пуэрториканцы. Одно другого не лучше...

--- Подождите с отъездом, — сказал Малько. — Есть новость: я виделся с Жакмелем.

Она вздрогнула:

— Как вам это удалось?

Малько замялся:

— Я не хочу подвергать опасности ни вас, ни того, кто меня с ним связал. Амур Мирбале следит за мной. Она надеется, что я приведу ее к Жакмелю — только поэтому. Я еще до сих пор жив.

— Вы мне просто не доверяете... — грустно сказала Симона.

Казалось, она сейчас снова разрыдается. Малько почувствовал себя неловко. Учítывая, чем она рисковала, помогая ему, да и все, что ей пришлось перенести, он решил ничего от нее не утаивать.

— Встречу с Жакмелем мне устроил американец Берт Марни, по прозвищу Вампир. Судя по всему, он поддерживает с ним постоянную связь.

— Когда мы с ним увидимся?

Он не успел ответить. Из ванной комнаты медленно, с ошалевшим видом вышел Жюльен Лало. Лево́й рукой он держался за сердце, правой прижимал к лицу литья "брюле де бор". Зеленой стороной. Глаза у него были такими воспаленными, что он, наверное, почти ослеп. Его рубашка была вся в крови. На лице Симоны появилась гримаса отвращения:

— Уходи, Жюльен, иначе я тебя убью!

— Мне плохо, — простонал старик. — Я умираю...

— Тем лучше, — ответила Симона. — Убирайся!

Жюльен Лало заковылял к выходу. Малько подумал, что его "Интернационал мокриц" лишается одного из самых своих выдающихся представителей. Жюльен Лало совершил свое очередное предательство. Теперь, для того чтобы переиграть Амур Мирбале, надо было соображать очень быстро. И молиться, чтобы Чезаре Кастелла сдержал свое слово.

— Мне нужно идти, — сказал он. — Встреча с Жакмелем состоится очень скоро. Я дам вам знать.

В глазах у нее появилось какое-то странное выражение:

— Вы не хотите остаться?

— Я бы остался, если бы был уверен, что Амур Мирбале не приказала ликвидировать меня сегодня ночью. Мне совсем не хочется подвергать вас риску.

Симона прижалась к нему всем телом и прошептала:

— Когда все закончится, я хочу, чтобы вы остались на Гаити. Хоть ненадолго...

— Если все закончится хорошо...

Она спрятала лицо у него на груди:

— Мне ужасно хочется быть счастливой. Если бы не отец, я никогда бы не согласилась участвовать во всем этом.

Растроганный Малько погладил ее по голове. Она молча потерлась о него, подняла лицо, и они обменялись долгим поцелуем. Потом Малько отстранился и сказал:

— Надо запереть входную дверь.

Глаза у Симоны сверкнули:

— Если эта старая свинья вернется, я изрублю его мачете!

...

Войдя в вестибюль "Эль-Ранчо", Малько с облегчением вздохнул. Всю дорогу от дома Симоны рядом с ним лежал пистолет со снятым предохранителем. Не сбавляя скорость, Малько проехал мимо стоявших перед гостиницей машин и затормозил только у самого входа. Внутри он почувствовал себя в безопасности: тонтон-макутам скандал был не нужен. Он взял ключ от своего номера и пошел к нему мимо бассейна. Его остановил насмешливый голос Амур Мирбале:

— Рано еще спать ложиться!

Малько застыл на месте. На площадке вокруг бассейна было безлюдно. Из ночного бара гостиницы слабо доносились звуки танцевальной музыки. Малько показалось, что его спина покрылась коркой льда. Он отчаянно пытался убедить себя в том, что, будь у Амур Мирбале намерение его убить, она бы его не окликнула.

— Только без глупостей — здесь Бьенэме с автоматом, — предупредила мулатка мелодичным голосом.

Малько заметил в тени смутные очертания мужской фигуры. Он медленно подошел к Амур Мирбале. Она сидела в шезлонге, положив ногу на ногу и поигрывая связкой ключей от "ламборгини".

— Сядьте! — приказала она.

Малько подумал, что, может быть, сейчас он умрет. В ходе своей карьеры внештатного агента он нередко задумывался о смерти. Ну разве не глупо умереть из-за пригоршни долларов? Даже такой большой пригоршни... Он с горечью вспомнил о своей безумной мечте восстановить замок предков, которую лелеял много лет и ради осуществления которой столько раз рисковал жизнью. Вот только, в отличие от предков, его Крестовый поход в основном сводился к бесконечным усилиям оплатить счета строительных фирм...

Он сел.

— Что вы хотите? Кстати, надеюсь, цветы вы получили?

Ее легкий смех показался ему совершенно искренним:

— Я знаю, что вы хорошо воспитанный человек!

Малько внимательно посмотрел на нее: много макияжа, дорогие серьги, декольтированное платье, расшитое серебряными блестками... Гармонию нарушали только лежавший рядом с ней на столике кольт сорок пятого калибра да притаившийся в тени Бьенэме.

— Так что вы хотите? — повторил Малько.

— Помочь вам.

— В чем?

Она вздохнула:

— В выборе друзей. Сегодня днем я уже дала урок Жюльену Лало. Думаю, он не скоро прикоснется к своему любимому "буа-кошон". И помогать вам тоже больше не будет.

— Почему вы сказали ему, что его выдала Симона Хинч? Он пытался ее изнасиловать.

Смешок Амур Мирбале означал, что такие женщины, как Симона Хинч, и существуют для того, чтобы их насиловали.

— Я ее не люблю — и не желаю, чтобы она вмешивалась в мои дела. Для нее это тоже будет хорошим уроком.

— Раз вы все знаете, то почему не высылаете меня из страны? — спросил Малько.

Она закурила и совершенно серьезно ответила:

— У нас демократия. Мы не любим высылать людей — ждем, когда они сами уедут. Правда, мой друг Жозеф Бьенэме считает, что вас надо убить, потому что вы враг нашей страны...

Она затаилась и медленно выпустила дым.

— Но я решила не убивать вас. Вы можете быть нам полезным. Короче говоря, предлагаю вам жизнь в обмен на одну услугу...

Скверно. Малько решил прикинуться дурачком:

— Не понимаю...

Амур Мирбале вдруг резко наклонилась и ткнула его в

тыльную сторону ладони горячей сигаретой. Он вскрикнул от боли и неожиданности и отдернул руку. Несколько секунд Амур Мирбале пристально смотрела на него, чуть приоткрыв рот, потом сказала:

— Это вам за тот вечер. А теперь — мое условие: мне нужен Габриэль Жакмель. Живой или мертвый!

Малько потер руку. Значит, его предположение было правильным. Он подумал, что она, скорее всего, не знает о его сговоре с Чезаре Каstellла — в противном случае ему остается только срочно написать завещание.

— Если даже вам не удалось его найти, то как это сделать мне? — сказал он.

На мгновение ему показалось, что она сейчас схватит кольт и пристрелит его.

— Хватит шуток! — прошипела Амур Мирбале. — Я все знаю о ваших подлых планах поставить у власти Жакмеля. У меня есть все основания, чтобы уничтожить вас. Даю вам последний шанс: доставить мне Жакмеля или сообщить, где он находится. Если через три дня вы этого не сделаете, я прикажу Бьенэме убить вас!

Глаза у нее были очень злые. Она встала.

— Не пытайтесь бежать, если дорожите жизнью. И не вздумайте укрываться в посольстве — вам оттуда все равно не выйти!

Она повернулась и пошла к вестибюлю.

Малько не пошевелился. Его будущее представлялось в самом мрачном свете. Амур Мирбале с одной стороны, Жакмель — с другой, практически не оставляли ему поля для маневра. Шансы выжить в этой борьбе были ничтожны. Но и перспектива провести годы в американском посольстве не слишком радовала.

Бьенэме скрылся в темноте. Вскоре тишину нарушили громкие возгласы и смех: к бассейну шла группа туристов.

13

— Жюльен Лало мертв.

Малько промолчал. Он не стал рассказывать Фрэнку Гилпатрику о происшествии в доме Симоны Хинч.

— Они сильно его покалечили, — продолжал резидент ЦРУ. — Его нашли на улице в Петьонвиле.

Нервозно трясая ногой, он скользнул взглядом по группе американских туристов, пьющих ром-пунш на террасе гостиницы "Олафсон". Этот окруженный небольшим парком, не лишенный очарования, деревянный, колониальных времен особняк с широкой верандой был гордостью Порт-о-Пренса и излюбленным местом встреч

журналистов и всякого рода подозрительных личностей. На ведущих к "Олафсону" улочках преспокойно разгуливали свиньи. У веранды вяло играл маленький оркестрик. Бар со стойкой из красного дерева пока пустовал. Весь первый этаж был разделен на маленькие салоны с плетеными креслами и диванами. На одном из таких диванов и расположился Фрэнк Гилпатрик.

— Но вы ведь пригласили меня не только для того, чтобы сообщить эту новость?

Гилпатрик ответил не сразу. Вид у него был мрачный.

— Скорее для того, чтобы посоветовать вам выйти из игры. Не хочу, чтобы и вас нашли на улице мертвым, как Жюльена Лало. Еще не поздно. Договориться с Жакмелем вам все равно не удастся. Да и времени на эти переговоры у вас не будет: Амур Мирбале уберет вас прежде, чем вы их завершите.

— Джон Райли настроен не так пессимистично, — возразил Малько.

Джон Гилпатрик отпустил по адресу пастора не очень уважительное замечание. Неожиданно перед ними появилась тоненькая фигурка Туссена Букана, как всегда гримасничающего, манерного и суетливого. Его тощее тело казалось совершенно лишенным суставов. Он ткнул тростью в сторону Гилпатрика и осведомился:

--- Как поживаешь, дорогой друг?

Гилпатрик буркнул в ответ что-то невразумительное. Глазки Туссена Букана забежали еще быстрее. Не обращая внимания на Малько, он покрутил тростью и исчез.

--- Подонок! — прошептал Гилпатрик. — Его, конечно, послала мамаша Мирбале --- напомнить о своем существовании. В один прекрасный день она украсит письменный стол президента вашим черепом.

Малько ничего не ответил. Гилпатрик не знал ни об ультиматуме Амур Мирбале, ни об операции с участием Чезаре Каstellла, на проведение которой Малько дал себе два дня.

Кругом стало темнеть, и внезапно начался тропический ливень. Оркестранты разбежались. Именно в этот момент Малько впервые ясно осознал, что он все время только обороняется, и ему никак не удастся перехватить инициативу. У Гилпатрика действительно были серьезные причины для пессимизма.

Ливень усилился. Через пять минут телефоны в Порто-Пренсе перестанут работать, машины на улицах останутся, тротуары опустеют...

Допив свой ром-пунш, Гилпатрик наклонился к Малько:

— Повторяю: бросьте это дело. Второй раз вы не убедите. И никакой Жакмель вам не поможет. Не тратьте си-

лы впустую. Даже если Амур Мирбале пока вас не трогает, будьте уверены: она готовит вам очень неприятный сюрприз.

Малько покачал головой:

— Сдаваться рано. У меня еще есть в запасе немного времени.

Через несколько часов у него была назначена встреча с Чезаре Каstellла, на которой они собирались обсудить детали похищения Амур Мирбале. Если все пройдет удачно, операция "Вон-Вон" войдет в свою решающую фазу.

Гилпатрик пожал плечами:

— Когда вы разделите участь Жюльена Лало, пусть ваш дух не является ко мне с претензиями...

Он встал и подошел к бармену, чтобы расплатиться. Ливень продолжался. Туссена Букана нигде не было видно. Малько подумал о Симоне и задался вопросом, не испытывает ли он к ней чувство, очень похожее на любовь.

...

С презрительной гримасой Чезаре Каstellла бросил меню на стол.

— Принесите бутылку "Мозт и Шандон"!

Гуапа посмотрела на него с восхищением. Французское шампанское! Она мгновенно забыла о покрывающих ее тело синяках и о подбитом глазе под темными очками.

Ее появление в "Рон-Пуэн" — фешенебельном ресторане Порт-о-Пренса, расположенном напротив казино, — в серебристого цвета платье с высокими разрезами спереди и сзади произвело маленькую сенсацию. Что же до Чезаре Каstellла, то его рыбье лицо сияло от удовольствия: наконец-то благодаря долларам Малько он снова начинал вести достойный его образ жизни! В "Иболеле" он пропустил по этому случаю четыре стаканчика виски и теперь пребывал в состоянии приятного расслабления.

Официант снова подошел к их столику.

— Шампанское кончилось.

— Как кончилось?!

Каstellла бешено повращал глазами:

— А это?

На соседнем столике в ведерке стояла бутылка шампанского. Две чернокожие пары отхлебывали шипучий напиток. Услышав раздраженный голос Каstellла, они обернулись. Официант посерел. Оба мужчины были тонтонмакутами.

— Это последняя бутылка, — пробормотал он.

— Пойди-ка поищи как следует! — приказал Каstellла.

Официант не пошевелился. Чезаре Кастелла спокойно достал из-за пояса кольт тридцать восьмого калибра и на правил его на официанта.

— Давай, быстро!

Тот оцепенел, посерев еще больше. Один из посетителей расстегнул свою куртку, и Кастелла заметил рукоятку пистолета. У него не было ни малейшего желания затевать перестрелку, но и не хотелось терять лицо перед своей половиной. Он выразительно помахал револьвером в сторону соседей и угрожающе заявил:

— Это будет ваша последняя бутылка!

Гуапа восторженно заворковала. Приятное тепло разлилось у нее внизу живота. Она сбросила туфлю, протянула под столом ногу и пощекотала ей в паху своего супруга. Его фанфаронские замашки всегда приводили ее в сильное возбуждение.

На этом инцидент оказался исчерпанным. Тонтон-макуты не приняли всерьез столь незначительное проявление тропического темперамента доминиканца и вернулись к своему шампанскому. Чезаре Кастелла был известен своей несдержанностью на язык и — немало важная деталь — имевшейся у него протекцией во Дворце.

После тыквенного супа Гуапа вспомнила о менее приятных вещах.

— Сегодня вечером, да? — спросила она с набитым ртом.

Чезаре Кастелла сильно ударил ее ногой под столом, и она понизила голос:

— А как ты это сделаешь?

Широким жестом снимая кожуру с ноги лангуста, он снисходительно ответил:

— Не бойся, все сделаю как надо!

Потом полез в карман, достал оттуда пачку двадцатидолларовых купюр и протянул ей:

— Пойди в казино и поставь на "семерку"!

Это было их счастливое число. Гуапа сунула деньги в декольте. Кастелла посмотрел на часы: через пятнадцать минут надо было приступать к делу. Его глаза остановились на молочно-белых грудях Гуапы. Вздвигаясь этим зрелищем, он опустил руку под стол и погладил ей колено. Она вздрогнула, наклонилась и слегка укусила его в мочку уха.

Разумеется, похищать Амур Мирбале он не собирался. Зачем такие сложности? Этот гринго был на редкость наивен. Или на редкость лицемерен. Чезаре Кастелла знал только один надежный способ вывести кого-либо из игры...

* * *

Чезаре Кастелла отпихнул высоченную доминиканскую проститутку и вошел в "Касабланку", которая кишела девицами, поджидавшими богатых клиентов.

"Касабланка" была основным местом промысла доминиканских проституток, которые, сколотив небольшой капиталец, обычно возвращались на родину и выходили замуж.

Кастелла огляделся. От выпитого рома он сильно потел. Зато алкоголь придавал ему безграничную уверенность в собственных силах. Перед тем как войти в "Касабланку", он поискал глазами "линкольн" Жозефа Бьенэме — человека, которого собирался убить. Машина начальника полиции стояла чуть в стороне, под охраной какого-то мальчишки, очень гордого возложенной на него миссией. "Касабланка" являла собой весьма жалкое зрелище: это была расположенная в глубине улицы Карфур деревянная хижина, изъеденная термитами и освещенная зелеными и красными неоновыми лампами. Оркестра там не было — вместо него постоянно работал музыкальный автомат. С тех пор как пьяный тонтон-макут разрядил обойму своего пистолета в хозяина, который слишком настойчиво требовал опускать в щель монеты, автомат функционировал бесплатно.

Обойдя большой ящик пива, Чезаре Кастелла остановился у входа в основной зал, где царил адский шум. Все столики и табуретки бара, слева от входа, были заняты... тонтон-макутами. Кастелла почувствовал дрожь в коленях. Только в поле его зрения сидели семь макутов с пистолетами за поясом. И наверняка они были не единственными. Жозефа Бьенэме он не увидел. Наткнувшись на знакомую проститутку, он схватил ее за руку и тихо спросил:

— Жозефа Бьенэме знаешь?

— Claro que sí*. Он танцует вон за той колонной. Хочешь с ним поговорить?

— Нет, нет. Спасибо.

Он вытер потную ладонь о брюки. Теперь он его увидел: начальник полиции прильнул к высокой, смеющейся доминиканке в черных брюках. Жозеф Бьенэме любил заходить в "Касабланку" — одно из самых любимых тонтон-макутами увеселительных заведений.

Чезаре Кастелла отступил на несколько шагов. В таких условиях застрелить Бьенэме и выйти отсюда живым было невозможно. Проститутка, у которой он спросил о начальнике полиции, стояла рядом, прислонившись к кося-

* Конечно (исп.).

ку двери. Он дал ей десять гурдов — обычный тариф за один заход в примыкавший к дансингу деревянный сарай.

— Пойди скажи Жозефу, что мне нужно с ним поговорить — но не здесь, а на улице.

Девушка спрятала деньги и пошла к танцующим. Чезаре Кастелла направился к выходу, делая вид, будто не собирается больше задерживаться в "Касабланке", но в последний момент быстро свернул вправо и забежал в туалет. Оставив дверь открытой, он встал перед висевшим над умывальником полуразбитым зеркалом и стал ждать появления Жозефа Бьенэме. Отсюда было очень удобно выстрелить ему в спину.

Каждая секунда казалась Кастелла вечностью. Он посмотрел на свое отражение в зеркале: бледное лицо, налитые кровью глаза, посеревшие, стянутые мышечной судорогой губы...

Но отступать было поздно.

Когда в зеркале отразилась коренастая фигура Жозефа Бьенэме, Кастелла на мгновение растерялся и инстинктивно подался назад. Начальник полиции внушал ему животный страх. Жозеф Бьенэме считался лучшим стрелком на Гаити. По слухам, он тренировался на заключенных "Фор-Диманш", которых, по его приказу, выпускали на открытое место между зданием тюрьмы и берегом моря. Они служили отличной движущейся мишенью. Наверное, именно поэтому Бьенэме не был сторонником амнистий.

Этого человека и надо было убить Чезаре Кастелла, прежде чем перейти к следующему этапу своего плана. Он выхватил кольт тридцать восьмого калибра из-под рубашки с такой резкостью, что сорвал с нее пуговицу, и убежал из туалета. Как раз в тот момент, когда из женского туалета напротив выходила какая-то девушка...

— Чезаре!

Ее звали Рафаэлла. После очередной ссоры с Гуапой он обычно утешался именно с ней.

Жозеф Бьенэме быстро повернулся всем телом. Для того чтобы остаться живым, будучи начальником полиции на Гаити, следовало обладать хорошей реакцией. В метре от себя Жозеф увидел черное дуло пистолета. У Чезаре Кастелла было достаточно времени, чтобы не один раз выстрелить, но его парализовал страх. Это было сильнее его: он не мог выстрелить в человека, который смотрел ему в глаза.

Жозеф Бьенэме схватил какую-то толстую доминиканскую проститутку и толкнул ее на Чезаре Кастелла в тот момент, когда тот наконец нажал на спуск. Войдя в пышную грудь доминиканки, пуля оставила у нее на спине выходное отверстие величиной с блюдце и поразила

Бьенэме. Тот упал, успев-таки выстрелить из пистолета, который вытащил мгновением раньше. Пуля застряла в потолке. Остервеневший Чезаре Кастелла продолжал нажимать на спусковой крючок кольта. Дважды он промазал, еще две пули попали в хрипевшую доминиканскую проститутку. Еще раз выстрелив в лежащего на полу Бьенэме, на униформе которого расплывалось красное пятно, он бросился к выходу, споткнулся о порог и упал. Кто-то выбил изнутри окно стулом. Кастелла прижался к земле. В разбитое окно выпрыгнул огромный макут с револьвером в руке. Кастелла распрямился как пружина, схватил бежавшую мимо проститутку и толкнул ее в сторону макута. Приняв в себя предназначавшиеся ему пули, она дернулась и упала в грязь, окрасив ее в красный цвет потоками крови. Кастелла выстрелил в свою очередь и снес макуту верхушку черепа. Затем, выбив рукояткой пистолета глаз какому-то путавшемуся у него в ногах мальчишке, выпустил три последние пули наугад, в сторону, где лежал Жозеф Бьенэме, и, чудом не попав под "тап-тап", вставляя на бегу новую обойму в кольт, бросился к своей машине, припаркованной в ста метрах от "Касабланки". Макуты беспорядочно стреляли по всему, что двигалось. Какая-то некстати подъехавшая к дискотеке пара была изрешечена пулями прямо в машине.

Чезаре Кастелла распахнул дверцу и упал на сиденье. Его руки дрожали так сильно, что он завел машину только с третьей попытки. Заметив, что голова у него в крови, он выругался по-испански: все-таки чья-то пуля его слегка задела.

Но зато самое трудное было позади.

• • •

Ольга Мирбале читала "Нуво Монд", когда у ее виллы послышался скрип тормозов. Это ничуть не встревожило старую даму. Чего бояться матери одной из самых могущественных женщин страны? Ни один злоумышленник не посмеет даже приблизиться к ее вилле. Но этот неожиданный визит ее удивил. Час был поздний, и гостей она не ждала, — заехать же сюда случайно никто не мог: вилла находилась в конце тупикового ответвления от шоссе Петионвилля.

Она встала, пересекла гостиную и подошла к входной двери. Ольга Мирбале была высокой, седовласой женщиной с очень светлой кожей, свойственной и ее дочери.

В дверь дважды постучали. Ольга Мирбале заколебалась. Разбудить прислугу? Нет, это займет слишком много времени — неизвестный визитер может уйти. Включив внешнее освещение, она открыла дверь.

Чезаре Каstellла вытер струившуюся из волосистой части головы кровь, причесался и придал своему лицу спокойное выражение. Узнав его, Ольга Мирбале нахмурилась: она не любила этого человека.

— Что вам нужно? — сухо спросила она. — Моей дочери здесь нет.

Каstellла ничего не ответил. Вновь обретя хладнокровие, он спокойно расстегнул пиджак и достал свой кольт.

— Получи, старая сука!

Ольга Мирбале не успела даже испугаться. Первая же пуля разорвала ей аорту, и старая дама мгновенно захлебнулась кровью. Машинально закрыв руками грудь, отброшенная назад градом пуль, она упала на порог.

Отыгравшись на ней за испытанный им в "Касабланке" страх, Каstellла приободрился. Это напомнило ему славные деньки при Благодетеле, когда он открыто и безнаказанно занимался ликвидацией членов семей оппозиционеров.

Старая женщина лежала с открытыми глазами в луже крови. Она казалась очень маленькой. Из дома донеслись крики. Пока все шло хорошо. Очень удачно, что она упала на пороге, а не в передней. План Чезаре Каstellла был прост: Амур Мирбале сообщат по телефону об убийстве матери; она поспешит приехать, не успев принять все меры предосторожности, и, поскольку до ее приезда к трупу никто не прикаснется, остановится у порога, где будет для него прекрасной мишенью. Просто и эффективно.

Удовлетворенный, Чезаре Каstellла добежал до своей машины, сел за руль и дал задний ход, намереваясь выехать на Петъонвильское шоссе, свернуть в сторону Американского клуба, спрятать машину в кустах и подняться на холм, с которого хорошо просматривалась вилла Ольги Мирбале. Имея американский карабин с оптическим прицелом, он уж не промахнется и, застрелив Амур Мирбале, десять раз успеет убежать. Затем в игру вступят американцы с Габриэлем Жакмелем. Согласится ли Жакмель, несмотря на взаимную неприязнь доминиканцев и гаитян, назначить его начальником полиции? Ведь что ни говори, а он, Чезаре Каstellла, — хороший профессионал. Во всяком случае лучший, чем все эти негры.

— *Sojones**, — пробормотал он, трясаясь на ухабах, — даже нормальных дорог построить не могут!

* * *

"Форд" несся на такой скорости, что время от времени

* Испанское ругательство.

высоко подпрыгивал на неровной дороге. Метрах в десяти за ним мчались в облаках пыли два джипа.

Кастелла торопливо перекрестился. Он был уверен, что бог на его стороне. Епископ из Сьюдад-Трухильо не один раз намекал ему на это. Лежа на животе под хлебным деревом, совершенно невидимый в темноте, Кастелла приладил к плечу приклад карабина. Вдруг он услышал какие-то глухие, ритмичные удары. По его телу пробежала дрожь. Он не сразу понял, что это стук его сердца...

Тормоза "форда" взвизгнули и, прежде чем машина остановилась, Амур Мирбале выскочила из нее, подбежала к телу своей матери и опустилась перед ним на колени. До Кастелла донесся ее крик. Он прицелился. Неожиданно в перекрестье оптического прицела ее спину заслонила чья-то фигура. Кастелла поначалу решил, что у него началась галлюцинация: между ним и намеченной жертвой стоял Жозеф Бьенэме! Голова у него была забинтована, левая рука висела на перевязи, а в правой он держал оружие, вид которого заледенил кровь в жилах Чезаре Кастелла. Это был "армалит" с позолоченным стволом и казенной частью. Издалека казалось, что весь автомат сделан из чистого золота. Даже в одной руке такого хорошего стрелка, как Жозеф Бьенэме, это было страшное оружие. Словно почуяв опасность, начальник полиции медленно повернулся, посмотрел в сторону холма, на вершине которого притаился Чезаре Кастелла, и упер приклад автомата в бедро.

Кастелла чуть не заплакал от ярости и разочарования: значит, напрасно он рисковал жизнью в "Касабланке", надеясь лишить Амур Мирбале ее самого верного и ценного союзника! Теперь ему необходимо было убить их обоих — и в считанные секунды.

Он снова прицелился, но руки у него так сильно дрожали, что карабин пришлось опустить.

Со слезами на глазах, не поднимаясь с колен, Амур Мирбале осторожно перевернула тело матери на спину. Двое макутов из ее охраны почтительно стояли в стороне. Кастелла прицелился в третий раз. Вдруг воображение нарисовало ему жуткую картину: он стреляет, промахивается, и вот уже пули из автомата Бьенэме разрывают его тело... Впрочем, на легкую смерть рассчитывать не приходилось. Он вспомнил, что однажды Бьенэме привязал какого-то коммуниста к заднему бамперу своей машины, проволоч его километр, содрал почти всю кожу, а затем облил бензином и поджег...

Грубое лицо начальника полиции было обращено в его сторону. Сделав глубокий вздох, Кастелла прицелился ему в грудь и нажал на спуск. Раздался легкий щелчок, показавшийся доминиканцу раскатом грома. Он забыл

снять карабин с предохранителя! Благоприятный момент был упущен: Бьенэме вышел из освещенной зоны. Проклиная себя последними словами, Кастелла отполз назад, вскочил и бросился бежать. Его охватила такая паника, что он не сразу нашел свою машину. Пометавшись в темноте, он наконец наткнулся на нее, дернул дверцу, скользнул за руль и лихорадочно включил зажигание.

Теперь ему оставалось только одно: просить убежища в американском посольстве и ждать там падения дьювальеристского режима. Но в этот поздний час посольство было уже закрыто — до утра туда не попасть.

Мчась с бешеной скоростью по Петъонвильскому шоссе, он задел какую-то молодую крестьянку, которая с криком описала в воздухе дугу и упала в кювет. Он и не подумал остановиться. В его положении смешно было обращать внимание на такие мелочи.

После некоторого колебания он решил все-таки захватить за Гуапой. Она еще могла ему пригодиться: ни один мужчина не был совершенно равнодушен к ее прелестям.

* * *

Гуапа радостно вскрикнула: после семнадцати бесплодных попыток игровой автомат наконец выдал пригоршню полудолларовых монет. Толстый мулат, таскавшийся за ней с момента ее появления в казино, угодливо зааплодировал.

— Браво, мадам!

Она действовала на него как магнит. Иногда, пользуясь толчеей, он прижимался к ней. Прикосновение к ее нежной коже приводило его в такое состояние, что он время от времени забегал в бар, чтобы хоть немного погасить свою страсть ром-пуншем. Гуапа поглядывала на него с ледяным презрением.

Прежде чем она успела выгresti из автомата все монеты, в казино, чуть не сорвав дверь с петель, как пушечное ядро влетел Чезаре Кастелла. Узрев свою супругу, он подскочил к ней и потянул за собой с такой силой, что едва не опрокинул при этом игровой автомат.

— Эй, да ты спятил, — вырвавшись, крикнула она. — Я выигрываю!

Кастелла дал ей оплеуху, способную свалить с ног буйвола. Монеты посыпались на пол.

— Пошли, идиотка!

Он оставался джентльменом до кончиков ногтей даже в самых трудных ситуациях. Заметив, в каком состоянии находится ее муж, Гуапа покорно последовала за ним.

Не желая упускать такой удобный случай, мулат с важным видом преградил Чезаре Кастелла дорогу.

— Месье, вы не имеете права так обращаться с женщиной! Я беру ее под свою защиту...

Почтенный коммерсант так никогда и не узнал, до какой степени он был близок к смерти в эту минуту. После короткого колебания Каstellла решил проигнорировать это вмешательство. У него были дела поважней. С трудом опустившись на корточки, он принялся собирать рассыпавшиеся монеты. Крупье сначала хотел возразить, но, чуть подумав, пришел к выводу, что этот тип все равно скормит свои монеты автомату.

Выбежав из казино, Чезаре Каstellла с Гуапой быстро зашагали по разбитому тротуару авеню Гарри Трумэна. Немного отдышавшись, Гуапа спросила:

— Что случилось-то?

На этот раз Каstellла не стал хорохориться. Когда они сели в машину, он сказал:

— Мы пропали!

14

Посреди улицы Дю Ке в качестве предупредительного знака из кучи грязи торчала большая ветка. Здесь только что произошла маленькая авария: у грузовика сломалась ось, и весь груз — бревна красного дерева — высыпался на проезжую часть.

Малько вышел из машины, углубился в аркады и осмотрелся. Где же Чезаре Каstellла? Доминиканец должен был явиться сюда еще полчаса назад. Уж не сцапали ли его макуты? Он влетел в номер к Малько в час ночи, с перекошенным лицом, заикающийся от страха. Его рассказ вызвал у Малько холодное бешенство. Видя такую реакцию, Каstellла чуть не бросился перед ним на колени и стал сбивчиво объяснять, что он просто хотел сделать ему приятный сюрприз... Вот тебе и похищение! Малько представил себе, в каком состоянии должна быть Амур Мирбале. Желая поскорее избавиться от Каstellла, он назначил ему встречу в половине одиннадцатого на углу улиц Дю Ке и Паве и обещал доставить оттуда в американское посольство.

Он зевнул. Ему пришлось провести не слишком приятную ночь. После визита Чезаре Каstellла он быстро побрился своим "ремингтоном", схватил ультралапский пистолет, вышел, сел в машину и, поездив с полчаса по совершенно пустынным улицам Петьюнвилля, вырулил на темную, незаасфальтированную дорогу, остановил машину и устроился в ней на ночлег. Это было не очень комфортабельно, но безусловно лучше, чем пробуждение в номере гостиницы под пулями тонтон-макутов Амур

Мирбале. Проснувшись утром, он почувствовал сильнейшее желание поехать к Симоне. Но разум взял верх. Он поехал куда глаза глядят, петляя по улицам, удаленным от центра города. Каждый встречный гаитянин казался ему тонтон-макутом...

Так где же Каstellла? Устав от бесплодного ожидания, Малько пересек улицу, зашел в кафе "Тропикаль", заказал ром-пунш и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Кто знает, может быть, Каstellла уже давно находится в посольстве, и ждать его здесь — значит подвергать себя бессмысленному риску.

Он набрал номер посольства Соединенных Штатов. Слава богу, в кафе не было ни одного посетителя, а хозяин по другому телефону советовался с кем-то о том, какие ставки следует делать на предстоящих петушиных боях.

В посольстве сняли трубку.

— Фрэнк Гилпатрика, пожалуйста! — попросил Малько.

* * *

Мертвенно-бледный Гилпатрик еще сильнее сжал трубку телефона.

— Да-да, он убил мать Амур Мирбале. Это просто сумасшедший, дикарь, животное!

Малько был в растерянности. Действительность превзошла худшие его ожидания. В голосе Гилпатрика звучали истерические нотки. По лицу Малько градом катился пот. Он вдруг поймал себя на том, что уже в третий раз оставляет без ответа вопрос Гилпатрика:

— Почему вы назначили ему встречу?

— Он хочет попросить убежища в вашем посольстве.

Мембрана телефонной трубки Малько едва не лопнула. Резидент ЦРУ зашелся в крике:

— Да вы с ума сошли! Никогда этому не бывать. У этого типа даже нет американского паспорта. И после того, что он сделал, ни один дипломат и на милую его не подпустит. Пусть этот подонок разбирается с макутами сам!

Он бросил трубку.

Малько невольно осмотрелся: у него было впечатление, что вся улица слышала крики Гилпатрика.

Разумеется, никакого сочувствия к Чезаре Каstellла он не испытывал. Но моральную ответственность нес в полной мере: ведь хотя доминиканец и перестарался самым чудовищным образом, кто втравил его в это дело?

Малько положил на столик пять гурдов и вышел из кафе. С горечью осознавая свое бессилие, он все-таки решил еще немного подождать — пусть только для того,

чтобы предупредить Чезаре Каstellла, что с этой минуты тот предоставлен самому себе.

Иными словами, обречен.

* * *

Чезаре Каstellла остановился на углу улиц Паве и Гамильтон Киллек. В ушах у него звенело. Ему казалось, что с тех пор, как они с Гуапой ушли из Буа-Бернар, где переночевали в заброшенной хижине, прошла целая вечность. Дойдя до центра Порт-о-Пренса и рискнув пересечь Марсово поле перед Дворцом и казармами "Франсуа Дювалье" — вотчине Жозефа Бьенэме, — он короткими перебежками от лавки к лавке двинулся по улице Паве. Спрятав свои рыжие волосы под косынкой и надев темные очки, по другой стороне улицы, чуть поодаль, шла подавленная Гуапа. Время от времени супруги обменивались тревожными взглядами. Хотя никаких признаков опасности не было и все кругом выглядело, как обычно, Каstellла не сомневался в том, что его сейчас ищут все тонтон-макуты Порт-о-Пренса и что, попадись он им в руки, Амур Мирбале прикажет заживо содрать с него кожу. Они с Гуапой решили, что, если им не удастся проникнуть в американское посольство, они попробуют пробраться на английский корабль, стоявший у причала в порту. Может быть, капитан не выдаст их макутам.

Каstellла посмотрел на голубое небо. Умирать ему совсем не хотелось. Когда он опустил голову, взгляд его упал на террасу перед зданием "Электрик компани". Ему показалось, что земля уходит у него из-под ног: на террасе с карабином в руках стоял какой-то человек в штатском и пристально смотрел на него. Поняв, что его засекли, он быстро подался назад. Каstellла оцепенел. Значит, они просто играли с ним как кошка с мышкой! Теперь он понял, каков их план: его ждут перед посольством, чтобы схватить на глазах у американцев и преподать им тем самым урок...

Нервы у него не выдержали: не предупредив Гуапу, он свернул на улицу Дю Пор. До посольства оставалось только два квартала. Резкий звук свистка хлестнул его по спине. Как безумный он помчался по аркадам, краем глаза заметив выехавший на полосу встречного движения джип с четырьмя тонтон-макутами. На другом конце улицы, у "Колумбийского-Гаитянского Народного банка", появились трое полицейских с автоматами.

Охота началась.

Гуапа растерянно стояла на тротуаре. Джипа она не видела. Поверни она назад, возможно, это спасло бы ее,

пусть и ненадолго. Но, охваченная паникой, она побежала за мужем. Больше всего она боялась остаться одна.

Прохожие остановились, автомобилисты поспешно припарковали свои машины. Ни у кого не было желания оказаться на пути тонтон-макутов Амур Мирбале.

* * *

Когда Малько вышел из кафе, один из тонтон-макутов — с золотыми зубами, в белом полотняном френче и фуражке — на ходу выпрыгнул из джипа и, поигрывая длинной деревянной дубинкой, направился наперерез бегущему Чезаре Каstellла. Увидев его, доминиканец выскочил из аркад и перебежал залитую солнцем улицу. Прохожие вжались в стены. На улице двигались только убийцы и намеченная ими жертва.

Джип остановился посреди проезжей части, и из него выскочили, преградив путь Чезаре Каstellла, остальные трое: толстяк в голубом свитере и два среднего телосложения макута в костюмах цвета хаки. Помимо торчащего за поясом пистолета, каждый был вооружен дубинкой. Из-за темных очков их лица казались совершенно бесстрастными.

Чезаре Каstellла остановился и достал свой кольт, но выстрелить не успел: дубинка, брошенная толстым макутом, попала ему в руку. Вскрикнув от боли, доминиканец уронил пистолет. Когда он наклонился, чтобы его поднять, макут с золотыми зубами хватил его дубинкой по плечу. Издалека это казалось детской игрой. Каstellла упал на колени. Подскочивший сбоку третий макут нанес ему удар в лицо. Каstellла испустил ужасный крик и, забрызгав кровью мостовую, упал на спину. Неспешно подошедший четвертый макут ударил его дубинкой между ног. От невыносимой боли Каstellла приподнялся, но потом снова упал в лужу крови. Все четверо макутов обступили свою жертву и методично начали молотить длинными деревянными дубинками по голове, животу, рукам и ногам.

Малько хотелось заткнуть себе уши. При каждом ударе слышался хруст костей и треск разрываемых тканей. Подскочив к одному из троих полицейских в униформе, Малько схватил его за плечо и крикнул:

— Остановите их — они же его убьют!

Полицейский повернулся и ткнул ему в живот ствол автомата.

— Они его просто немного поколотят, — сказал он на довольно хорошем французском языке.

В надежде найти поддержку Малько огляделся.

Но никто не желал вмешиваться: все невольные свиде-

тели происходящего были парализованы страхом. Стоящий на углу полицейский жестами приказал выехавшему с улицы Дю Ке водителю такси, в котором сидели иностранные туристы, повернуть назад.

Тем временем, сделав нечеловеческое усилие, Каstellла перевернулся на живот и встал на четвереньки. Толстый макут в голубом свитере обошел его и, словно играя в гольф, нанес ему резкий удар в лицо, сломав нос. У Каstellла еще хватило сил завопить. Правая бедренная кость у него была сломана, кисти рук под ударами дубинок превратились в кровавое крошево. В последней отчаянной попытке спастись он заполз под джип. Макут с золотыми зубами расхохотался, бросил свою дубинку в джип и потянул доминиканца за ноги. Остальные стали колотить быстрее. Чувствовалось, что им хочется поскорее закончить. Когда из-под машины показалась голова Чезаре Каstellла, один из макутов нанес ему удар сбоку. Малько увидел, как глаз доминиканца выскочил из орбиты и повис на щеке. Это было невыносимое зрелище. А Каstellла все еще был жив и пытался цепляться за джип. Раздраженный такой живучестью, толстый макут размахнулся и изо всех сил ударил его сзади, размозжив шейные позвонки. По телу Чезаре Каstellла пробежала дрожь, и он упал лицом вниз. На всякий случай макуты нанесли ему еще несколько ударов.

В эту минуту на улице появилась Гуапа. С поразительной ловкостью толстый макут метнул свою дубинку, попав ей в ноги чуть выше колен. Гуапа рухнула на асфальт, и к ней устремился макут с золотыми зубами. Все, что только что произошло с Каstellла, повторилось в более быстром темпе: макуты уже достаточно позабавились и теперь торопились поскорее с этим покончить. В одно мгновение лицо Гуапы превратилось в кусок окровавленного мяса и хрящей. Она все-таки сумела подняться на ноги и бросилась бежать к аркадам. Невольные свидетели этой бойни подались назад. Два макута бросились за Гуапой. Малько не видел удара, который проломил затылок молодой женщины.

Он его *услышал*.

Ему показалось, что череп раскалывается у него. Это чудовищное, публичное убийство вызвало у него приступ дурноты.

Оба макута вышли из тени аркад, волоча за руки тело Гуапы лицом вниз. За ней тянулся кровавый след. Бросив ее рядом с трупом Чезаре Каstellла, макуты начали о чем-то совещаться. На улице по-прежнему не было никаких признаков жизни. Макуты не торопились и, стоя возле джипа, продолжали свой разговор. Трупы лежали на

самом видном месте, как бы специально выставленные для всеобщего обозрения.

Наконец один макут жестом показал полицейскому, что можно снова пустить транспорт. С улицы Дю Ке повернуло такси. Толстый макут в голубом свитере небрежно поднял руку. Таксист затормозил так резко, что на асфальте остались следы покрышек.

Малько снова почувствовал тошноту, когда макуты открыли багажник такси — старой американской машины — и втроем бросили в него труп Чезаре Кастелла, а затем швырнули на заднее сиденье мертвую Гуапу. Толстый макут что-то сказал шоферу, и тот тронулся с места. Все четверо снова стали о чем-то совещаться. Сердце у Малько сжалось. Он не мог оторвать глаз от этих людей, зная, что, если они посмотрят в его сторону — он покойник. Он затаил дыхание, словно это делало его невидимым.

Прошло несколько мучительных, бесконечно длинных секунд.

Тонтон-макуты сели в свой джип. Полицейский, державший Малько на прицеле, опустил автомат и зашагал прочь. Лишь лужи крови на асфальте напоминали о только что разыгравшейся трагедии. Выйдя из состояния оцепенения, прохожий-гаитянин как крыса побежал вдоль стены дома. Поравнявшись с Малько, он опустил глаза.

Чувствуя слабость в коленях, Малько сел в свою машину. Он по-прежнему не мог понять, почему его оставили в живых: ведь Амур Мирбале наверняка считала его ответственным за действия Чезаре Кастелла. Впрочем, каковы бы ни были ее расчеты, ему теперь оставалось только искать убежища в посольстве. После смерти Жюльена Лало и убийства Чезаре Кастелла операция "Вон-Вон" была практически сорвана.

Малько повернул направо, на авеню Мари-Жанн, минутно ожидая увидеть перед собой заграждение и готовясь, несмотря на отвращение к насилию, дорого продать свою жизнь. Перед зданием представительства ООН, не снижая скорости, он свернул на авеню Гарри Трумэна. Впереди показалось посольство США. Малько затормозил, только въехав на его территорию.

Здесь он был недосыгаем для тонтон-макутов.

* * *

Шофер реквизированного тонтон-макутами такси что-то объяснял несущим охрану посольства морским пехотинцам. Сквозь заднее стекло его машины виднелись рыжие волосы Гуапы.

Мертвенно-бледный Гилпатрик заставил себя посмо-

треть Малько в глаза. От волнения он даже не почувствовал, что огонек сигареты обжег ему пальцы.

— Я не в состоянии обеспечить вашу безопасность, — повторил он.

Малько не мог поверить своим ушам.

— Вы хотите сказать, что макуты явятся за мной сюда?

Смущение Гилпатрика сменилось раздражением. Он с силой раздавил сигарету в пепельнице.

— Я хочу сказать, что вам нельзя здесь больше оставаться, — сказал он. — Наш посол обещал гаитянскому министру иностранных дел не укрывать вас. Ясно? Я думаю, вас предупредили, что в случае осложнений мы тут ни при чем? Сегодня утром Амур Мирбале лично потребовала от нас не давать вам убежища. Мне очень жаль...

Малько с трудом держал себя в руках. Теперь он понял, почему люди Амур Мирбале позволили ему без помех добраться до посольства... Никогда еще ЦРУ не отрекалось от него так цинично. Выставленные снаружи трупы Чезаре Каstellла и его жены красноречиво говорили о том, что его ждет...

Он открыл было рот, чтобы дать волю накипевшему возмущению, но в последний момент сдержался. Хотя бы одно он мог и должен был сохранить: чувство собственного достоинства. Если уж ему суждено умереть, он умрет как дворянин, а не как Чезаре Каstellла. На худой конец, последний патрон можно оставить для себя.

Он пристально посмотрел на Гилпатрика своими золотистыми глазами и холодно сказал:

— Ну что ж, извинитесь за меня перед вашим послом. До свидания!

Малько уже взялся за ручку двери, когда Гилпатрик бросил ему вдогонку:

— Советую вам добраться до "Радио-Пакс". Может быть, Джон Райли сумеет вам помочь... Я... я...

Гилпатрик опустил голову и выругался сквозь зубы. Чувствовалось, что в эту минуту он был не очень горд собой.

— Спасибо, — сказал Малько.

Выйдя в холл, он остановился в нерешительности. Оба морских пехотинца в шоке стояли возле такси с его зловещим грузом. Перед Малько находилась ведущая на второй этаж лестница. Если забежать в кабинет посла, может быть, удастся выиграть время, даже переубедить его... Но тут Малько вспомнилось холодное лицо Рекса Стоуна. И его условие: пятьсот тысяч долларов за проведение смертельно опасной операции на свой страх и риск. Его сиятельству, кавалеру ордена Черного Орла, даже работающему внештатным агентом, не пристало нарушать свое слово. Малько сковал ледяной фатализм. Из-за двери

одного из кабинетов доносились приглушенные голоса и стук пишущей машинки. Малько почувствовал себя ужасно одиноким и опустошенным. Но выбор свой он уже сделал. Решительно открыв застекленную дверь, он покинул это безопасное, оборудованное кондиционерами помещение, и пошел к своей машине. Садясь за руль, он увидел выступающий в проеме ворот посольства длинный желтый капот "ламборгини", решетка радиатора которого напоминала морду изготовившегося к прыжку хищника.

Малько понадобилось все его самообладание, чтобы тронуть машину в сторону ворот. Он подумал, что ему, возможно, осталось жить всего несколько минут.

15

Вцепившись в руль так, что у него побелели костяшки пальцев, Малько выехал с территории посольства и повернул налево. В зеркале заднего вида он заметил в "ламборгини" одинокий силуэт Амур Мирбале. Доехав до перекрестка, Малько быстро оглядел узкую перпендикулярную улицу: ни одной машины. Он миновал перекресток, свернул налево, на авеню Гарри Трумэна, немного попетлял и снова проехал мимо посольства. "Ламборгини" по-прежнему стоял у его ворот. С тревожно бьющимся сердцем Малько, как автомат, повел машину дальше. Он был готов ко всему, кроме полного бездействия со стороны своих противников, и теперь ломал голову в попытке отгадать замысел Амур Мирбале, чтобы избежать жалкой и мучительной смерти.

Резко посигналив, его обогнало такси. До казино он доехал без всяких приключений. Казалось, из Порт-о-Пренса исчезли все тонтон-макуты. Никаких автоматных очередей, автомобилей, прижимающих его к тротуару, или полицейских заслонов.

Малько в сотый раз взглянул в зеркало заднего вида: "ламборгини" его не преследовал. Он сбавил скорость, пропустив вперед несколько легковых машин и "тап-тапов". Вдруг он понял: давая ему возможность поискать выход из этой ловушки, Амур Мирбале просто устраивала ему психологическую пытку страхом. Это было интереснее, чем убить его сразу. Все равно у него не было никаких шансов выбраться из Порт-о-Пренса. Вероятно, она дежурила у посольства только из желания убедиться в том, что он его покинул. Торопиться ей было некуда.

С машиной Малько поравнялся старый зеленый "понтиак". Его водитель и трое пассажиров пристально посмотрели на него, потом прибавили газу.

Одна из многих ниточек паутины Амур Мирбале...

Он тоже прибавил газу. Необходимо было что-то предпринять, воспользоваться предоставленной ему отсрочкой, которая только усиливала его желание выжить. Но куда ехать? Впрочем, выбирать не приходилось: во всем Порт-о-Пренсе у него оставался только один союзник — Джон Райли. Как знать, может быть, церушный пастор сотворит маленькое чудо.

Малько повернул в сторону шоссе Карфур и, не обращая внимания на колдобины, дал полный газ. Домчаться до "Радио-Пакс" можно было за десять минут — только бы не помешали тонтон-макуты. Сейчас ему больше всего хотелось оказаться в обществе флегматичного Джона Райли.

* * *

Джон Райли монтировал в своем кабинете магнитофонную запись. При появлении Малько он встал и тепло пожал ему руку.

— Какие новости?

Это дружеское отношение приободрило Малько. Он сел и снял темные очки.

— Самые скверные.

И он вкратце рассказал о случившемся. Нахмурившийся пастор выслушал его не перебивая.

— Оплакивать Чезаре Кастелла я не буду, — сказал он. — Поднявший меч от меча и погибнет. Что до Фрэнка Гилпатрика, то я не могу его осуждать. В политике иногда используют некоторые ухищрения.

Малько не понравилась эта сентенция. Пастор был слишком уж снисходителен.

— Вы можете мне помочь?

Райли соединил ладони и вздохнул.

— Не уверен...

Его прервал скрип тормозов. Он обернулся и посмотрел в полуоткрытое окно. Его лицо сохранило безмятежное выражение, но в глазах появилась озабоченность.

— Поздно строить планы, — тихо сказал он.

Малько вскочил и бросился к окну.

К зданию "Радио-Пакс" шла Амур Мирбале в сопровождении Жозефа Бьенэме и дюжины вооруженных тонтон-макутов. "Линкольн" начальника полиции с позолоченным номерным знаком стоял недалеко от входа.

— Явление Антихриста, — прошептал Райли.

— Они пришли за мной, — сдавленным голосом сказал Малько.

Это было словно сон: вооруженные, с отталкивающими физиономиями люди на фоне джунглей.

Из коридора послышались голоса, дверь под ударом

ноги одного из тонтон-макутов распахнулась, и на пороге появилась Амур Мирбале. Малько испугался, увидев ее лицо: красные, распухшие от слез глаза с набрякшими под ними серыми мешками, две горькие морщины в уголках рта...

— Добро пожаловать на "Радио-Пакс"! — миролюбиво сказал Джон Райли.

Уперевшись ладонями в стол, он спокойно разглядывал неожиданных гостей. Амур Мирбале сделала презрительную гримасу и приказала:

— Пошел вон, святой отец! Мне нужно поговорить с этим господином.

Малько впервые услышал от нее грубость. Уже по одному этому было ясно, что она вне себя.

Джон Райли не пошевелился.

— Я нахожусь у себя, — сказал он. — Этот кабинет — место молитв и раздумий. Так что уйти придется вам...

Толстый макут в темных очках, в котором Малько сразу узнал одного из убийц Чезаре Кастелла, направил на Джона Райли короткоствольный американский автомат и насмешливо сказал:

— Святых отцов мне еще убивать не случалось. Ведь это не приносит несчастья, а?

Джон Райли остался невозмутим.

— Бог слышит ваши слова, сын мой, — заметил он. — Однажды вы предстанете перед ним и расскажете обо всех ваших дурных делах. И, возможно, это случится очень скоро...

Растерянный тонтон-макут плюнул на пол и глубже нахлобучил на голову свою холщовую шляпу.

Не желая подвергать Джона Райли опасности, Малько решил вмешаться.

— Вы ведь пришли сюда за мной... — начал он.

Амур Мирбале криво улыбнулась:

— Да, и пока что мы ограничимся только беседой.

Малько с трудом сдержал вздох облегчения.

— Я вас слушаю.

— Нет, не здесь. Идемте!

Взглядом дав понять Джону Райли, чтобы он не двигался с места, Малько вышел из комнаты. Два макута остались сторожить пастора.

Амур Мирбале и Малько молча прошли по коридору, вдоль которого стояли тонтон-макуты. Мулатка толкнула дверь крошечной аппаратной и жестом предложила Малько войти. Она зашла следом за ним, закрыла за собой дверь и, глядя ему в глаза, сказала ровным голосом:

— Кастелла убил мою мать по вашему приказу.

Под грузом этого чудовищного обвинения Малько постарался сохранить хладнокровие.

— Поверьте, я этого не хотел...

Нервозно поигрывая своей неразлучной связкой ключей, она пожала плечами:

— Похороны моей матери состоятся через три дня. В тот же день должны состояться и похороны Жакмеля. Так я хочу. Чезаре Кастелла и Жюльен Лало уже заплатили по счету, но они не главные виновники. Вы — главный виновник. Я вам уже говорила о моем условии: ваша жизнь в обмен на жизнь Жакмеля. Вы хотели меня убить — не удалось. Вам от меня не уйти. Если через три дня вы мне не найдете Жакмеля, я прикажу содрать с вас кожу щипцами. Единственный способ это предотвратить — принести мне его голову. Тогда, может быть, я вас пощажу. Повторяю: может быть!

У Малько пересохло в горле. Ему показалось, что в аппаратной невыносимо жарко.

— Как я могу найти Жакмеля, если он знает, что вы за мной следите?

— Сумели найти его в первый раз, найдете и во второй. Иначе...

Она открыла дверь и, не оборачиваясь, пошла по коридору к выходу. Малько вернулся в кабинет Джона Райли. Оба макута, не выпуская из рук оружия, переминались с ноги на ногу. Увидев Малько, они молча вышли из кабинета. Пастор иронически улыбнулся:

— Истинная вера всегда бросает нечестивцев в дрожь!

Малько понаблюдал из окна, как Амур Мирбале садится за руль "линкольна": с рукой на перевязи Жозеф Бьенэме не мог вести машину. Вторая машина с тремя тонтон-макутами осталась стоять у входа на "Радио-Пакс".

— Что она вам сказала? — спросил Джон Райли.

— Что мне осталось жить три дня.

Он рассказал об ультиматуме Амур Мирбале. Джон Райли больше не улыбался. Он потер подбородок и тихо сказал:

— Дело плохо. Я не могу вывезти вас в город — повсюду наверняка заслоны. Если же вы останетесь здесь, они придут за вами, как только что.

— Нужно найти Габриэля Жакмеля, — сказал Малько. — Это мой единственный шанс. Тонтон-макуты не могут поймать Жакмеля уже несколько месяцев. Он мне поможет — хотя бы только из ненависти к Амур Мирбале.

Райли вздохнул:

— Да, но как его найти?

— Я знаю одного человека, который может в этом помочь: Берт Марни.

Райли помрачнел:

— Этот разбойник...

Малько грустно улыбнулся:

— В моем положении союзников не выбирают. Не хочу доставлять Амур Мирбале удовольствие разрубить меня на мелкие кусочки. Главное сейчас — незаметно выбраться отсюда. Если я приеду к Марни со свитой тонтон-макутов, он выставит меня за дверь.

Райли погладил переплет лежащей на столе Библии.

— Если вы сможете поместиться в багажнике моей "тойоты", может быть, есть шанс ускользнуть отсюда. Машина стоит во дворе. Им ее не видно. И вряд ли им придет в голову багажник — особенно если они увидят, что я еду в город. Свет в кабинете я выключать не стану, чтобы они думали, будто вы остались здесь...

Малько показалось, что он вновь обретает утраченную в детстве веру. Глаза у Джона Райли лукаво блеснули.

— Как только стемнеет, мы отправимся в путь! — сказал он.

* * *

Малько с трудом сдержал крик боли, в очередной раз стукнувшись головой о крышку багажника. Судя по тому, что "тойоту" Джона Райли уже несколько минут сильно трясло, они ехали по улицам квартала Ла Салин. Пока все шло хорошо.

Машина остановилась, и Малько затаил дыхание. Понесся стук дверцы, затем крышка багажника открылась, и Джон Райли спокойно объявил:

— Приехали!

Малько выбрался из своего некомфортабельного тайника ошпаренный, с затекшими конечностями и ноющей спиной. В темноте мерцало несколько желтых огоньков. Со стороны моря тянуло тошнотворным запахом. "Тойота" стояла в центре трущоб Порт-о-Пренса. Райли показал Малько на какую-то хижину с освещенными окнами, метрах в двадцати от них.

— Он там. Я вас подожду.

Малько подошел к хижине, постучал в дверь и вошел. В маленькой комнате царил сладковатый запах. Здесь были только письменный стол, этажерки, диван и два больших морозильника, у одного из которых хлопотал Берт Марни. Малько увидел аккуратные ряды снабженных этикетками флаконов. Кровь бедняков квартала Ла Салин...

Берт Марни обернулся. Радости визит Малько ему явно не доставил. Он с удивительной нежностью поставил в морозильник последний флакон с кровью и, нахмурившись, спросил:

— Что вам нужно?

В его голосе чувствовалась нескрываемая враждебность. Малько решил не обращать на это внимания.

— Мне нужна ваша помощь, — ответил он. — Я должен как можно скорее встретиться с Жакмелем.

Казалось, подбородок у Берта Марни исчез вовсе. В маленьких голубых глазках мелькнул панический страх.

— С Жакмелем? Да вы спятили! Даже если б я знал, где он, то все равно бы не сказал. Весь Порт-о-Пренс знает, что вы "под колпаком". Вы меченый! С вами даже разговаривать опасно. Убирайтесь!

— Мне нужно встретиться с Жакмелем, — повторил Малько. — Это вопрос жизни или смерти.

— Убирайтесь! У меня нет времени возиться в вашем дерьме — через два часа придут за моими двумя сотнями флаконов, а мне еще надо их классифицировать. Вы же не дадите мне три тысячи долларов, чтобы завтра утром я мог заплатить моим кретинам! Если у меня не будет денег, они выпустят из меня кишки.

— Послушайте, я дам вам пять тысяч долларов, если вы доставите меня к Жакмелю, — предложил Малько.

Не отвечая, Берт Марни отошел, запустил руку в узкое пространство между письменным столом и стеной, вытащил мачете и, подняв его, двинулся на Малько.

— Убирайтесь, — заорал он, — или я вам голову снесу!

Малько отступил к двери и выхватил свой ультраплоский пистолет. Берт Марни остановился и изрыгнул:

— Идиот, уж лучше получить пулю в живот, чем предать Жакмеля!

Продолжать уговоры было бесполезно. Но уйти с пустыми руками Малько не мог: без Марни его шансы найти Жакмеля были равны нулю. Тогда — смерть.

Внезапно шеренги флаконов с кровью в открытом морозильнике навели Малько на мысль применить более действенный, чем уговоры, способ.

Левой рукой он взял один флакон и бросил его на пол. Кровь забрызгала ботинки Берта Марни. Американец взвыл, как мать, у которой вырывают из рук дитя, и разразился бранью:

— Псих, дерьмо, сволочь!

Малько остался холоден.

— Раз вы не хотите мне помочь, я все это разобью. Вы не сможете расплатиться с вашими донорами, и они вас убьют. Лучше выполнить мою просьбу — пока не поздно.

Берт Марни бросился на него, размахивая мачете. Левой рукой Малько ударил его в запястье, а правой ткнул в лицо стволом пистолета. Марни с криком отшатнулся. Злополучный протез выпал из его окровавленного рта.

— Подонок, — просипел он. — Ничего — мамаша Мирбале скоро изрубит тебя на кусочки!

Не отвечая, Малько швырнул на пол второй флакон, потом прицелился в Марни и предупредил:

— Если вы сделаете еще одну попытку напасть на меня, я прострелю вам голову.

Марни тупо посмотрел на осколки стекла и увеличивающуюся лужу крови на полу, затем встал на четвереньки и принялся искать выпавший протез.

— Вы делаете глупость, — сказал Малько. — Я ведь действительно все разобью.

И в подтверждение своих слов он сбросил на пол целую шеренгу флаконов, которые разбились с оглушительным звоном. Берт Марни поднялся на ноги. В глазах у него вспыхнул огонек безумия.

Малько решил идти до конца. Сломать американца психологически. Он бросил очередной флакон в висящий на стене календарь с фотографией голой девицы. Осколки стекла дождем просыпались на Берта Марни.

— Они убьют вас, если вы не заплатите за их кровь, — повторил Малько.

... .

Выбившийся из сил Малько оперся о морозильник. Вся комната была буквально залита кровью: пол, стены, потолок, диван... Оба морозильника стояли пусты, пол усеивали осколки стекла, поблескивающие в красных потоках крови. От ее сладковатого запаха Малько подташнивало. У него было впечатление, что он находится на бойне.

Жалкий, раскисший и омерзительный, весь усыпанный осколками стекла, Берт Марни прижимал в груди единственный, чудом уцелевший флакон. Опершись о письменный стол, он с оступевшим видом долго смотрел на груды битого стекла и лужи крови, затем поднял на Малько полные ненависти глаза.

— Не будь я таким слабаком, я бы полез под ваши пули, — произнес он. — Ну ничего, у меня еще остается вот эта бутылка виски: я выпью ее и буду ждать, когда мои придурки заявятся сюда и перережут мне горло... А теперь убирайтесь!

Ультрapiпловский пистолет казался Малько очень тяжелым. Четверть часа ожесточенного и систематичного погрома — и никакого результата.

— Отведите меня к Жакмелю и все обойдется, — сказал он. — Через час вы получите ваши три тысячи долларов.

— Вон! — изо всех сил заорал Берт Марни и метнул в Малько уцелевший флакон с кровью.

Малько едва успел наклониться. Флакон разбился о дверь. Марни только устало покачал головой.

— Дурак, от моих доноров я, может, еще и убегу, а от Жакмеля — никогда!

— Ну что ж...

Малько открыл дверь и с удовольствием вдохнул свежий воздух. Перед уходом он обернулся: Берт Марни стоял как вкопанный.

— Завтра утром я приду полюбоваться, как они будут вас убивать, — бродил на прощание Малько.

Видя, что он действительно уходит, Марни вздрогнул и сразу снова обмяк.

— Вы что же, так просто и уйдете? — заскулил он. — Бросите меня, да?

И он сделал несколько шагов к двери. Живот выпирал у него из-под расстегнутой рубашки, капли пота, смешиваясь с кровью, текли по шее красными ручейками, веснушки проступали особенно отчетливо.

Малько быстро пошел к "тойоте" Джона Райли. Марни догнал его на полпути и отчаянно вцепился ему в плечо.

— Одолжите мне эти деньги, — захныкал он, брызгая слюной. — Я их верну, я вам дам любую расписку, все, что хотите. Вы не можете оставить меня подыхать!

Он был так возбужден, что, когда его протез упал в грязь, он и не подумал его поднять, продолжая шепеляво канючить деньги.

Малько не подал виду, что у него появилась искорка надежды. Наконец-то Вампир сломался!

— Разговор окончен, — заявил он. — До свидания!

Он ускорил шаг. Марни выпустил его плечо, только когда Малько открыл дверцу "тойоты". Задышавшись, он прошептал:

— Ну хорошо, ладно, я согласен. Приходите завтра после девяти утра. С деньгами...

Он повернулся и заковылял назад к своему "диспансеру". Малько сел в машину и сказал Джону Райли:

— Вот теперь за меня нужно помолиться!

Насчет Берта Марни он был спокоен: ради спасения своей шкуры Вампир сделает все от него зависящее, чтобы найти Жакмеля. Но предстоящая встреча с бывшим главой тонтон-макутов будет не менее рискованной, чем манипуляции с динамитной шашкой. Впрочем другого выхода у Малько все равно не было: до истечения срока ультиматума оставалось два с половиной дня — если, конечно, Амур Мирбале не передумала. Еще чудо, что он до сих пор на свободе, а не в карцере тюрьмы "Фор-Диманш". Видимо, самой неотложной задачей

Амур Мирбале действительно была ликвидация Габриэля Жакмея.

16

Когда Малько подъехал к дому Симоны Хинч, у него мелькнула мысль, что молодая женщина уехала: света в окнах не было. "Понтиак" тонтон-макутов подрулил ближе и остановился. Эта машина следовала за Малько с того момента, как он, после возвращения из квартала Ла Салин, уже не скрываясь вышел из здания "Радио-Пакс" и сел в свою "мазду". Всю дорогу до Петъонвиля он проделал словно в тумане, чувствуя себя как белка в колесе. Во всем Порт-о-Пренсе он мог положиться только на одного Джона Райли. Американское посольство было недоступнее гималайских вершин. Жестокая игра — жестокие правила. Он подумал о Штайнере — наемнике, плененном в Судане и брошенном на произвол судьбы своими "заказчиками". Постоянные размышления о том, как отвести нависшую над ним опасность, настолько утомили Малько, что у него сейчас было только одно желание: забиться хоть на несколько часов.

В Порт-о-Пренсе снова царил страх — как в худшие времена "папы Дока". Удары дубинок, оборвавшие жизнь Чезаре Кастелла и Гуапы, продолжали отдаваться во многих головах.

Симона все-таки оказалась дома: услышав шум мотора, она чуть приоткрыла входную дверь. Малько увидел ее силуэт. Узнав "мазду" Малько, молодая женщина открыла дверь пошире. Макуты остались сидеть в "понтиаке".

Расчесанные на строгий прямой пробор волосы придавали лицу Симоны суровое выражение, но ее женственное тело, облаченное в блузку и шорты, приятно взволновало Малько.

— Добрый вечер, — сказала она. — А я уже собиралась ехать на площадь Сен-Пьер...

— Прятаться бесполезно, — ответил он. — Они и так все знают.

Он чувствовал усталость и горечь. А ведь какие чудесные минуты он мог бы провести с этой привлекательной девушкой... Вдруг он с полной, беспощадной ясностью осознал всю тщетность своих усилий осуществить операцию, в успех которой не верил никто, кроме него самого.

Он положил руки на бедра Симоны, и она крепко прижалась к нему.

— Улыбнитесь и забудьте обо всем хоть ненадолго, — шепнул Малько.

В его золотистых глазах вспыхнул озорной огонек. Он опять был во власти своего славянского фатализма. Уж если ему суждено умереть, так лучше испытать в последние минуты побольше удовольствия. В течение его полной приключений жизни Малько уже доводилось пробовать этот удивительный коктейль из ощущений смертельной опасности и острого наслаждения радостями земного существования:

Симона подняла глаза и погладила ему затылок.

— Я люблю вас за то, что вы хотите спасти мою несчастную страну, — призналась она.

Малько не осмелился сказать ей о пятистах тысячах долларов. Иллюзии — неотъемлемая часть человеческой жизни.

Они обменялись жгучим поцелуем, и Симона потянула его к дивану. Все остальное отступило на второй план. Малько начал гладить ее шелковистую, теплую, отливающую янтарем кожу. Она тихо застонала от блаженства. Шорты и блузка упали на пол. Симона страстно обвилась вокруг Малько, но как только он захотел полной близости, она на мгновение замерла. Когда ее ласки возобновились, в них уже не было прежнего пыла. Малько открыл глаза и встретился с ней взглядом.

— Я так счастлива! — прошептала она.

Малько лежал не шевелясь. Симона провела кончиками пальцев вдоль его спины и сказала:

— Делай то, что тебе хочется, не думай обо мне.

Он не успел последовать ее совету: дверь резко распахнулась, и в комнату ворвались двое негров с пистолетами в руках. Оба остановились в нескольких шагах от дивана, жадно глядя на обнаженное тело Симоны. Молодая женщина перевернулась на живот, всхлипывая от стыда. Малько вскочил и пошел на тонтон-макутов, пока в его голый живот не уперся колыт тридцать восьмого калибра.

— Вон отсюда! — крикнул Малько с такой свирепостью, что макуты даже немного растерялись. Но ненадолго. Один из них, который был поменьше ростом, плотоядно усмехнулся:

— А что, мы разве мешаем?

Не отрывая колыта от живота Малько, он снова жадно взглянул на Симону. Второй макут обошел Малько и шагнул к дивану.

— Gade y sun bonbontel* — хохотнул он и медленно про-

* Смотри-ка — красивая девушка! (креольск.)

вел черным пальцем по спине Симоны и между ее ягодиц.

Симона взвыла, перевернулась и с искаженным ненавистью лицом, оцарапала ему ногтями щеку. Макут инстинктивно отступил и угрожающе сказал:

— Мы еще встретимся...

Оба ушли так же внезапно, как и появились.

Малько задыхался от бешенства. Этот эпизод явно был маленьким тактическим ходом в затейной Амур Мирбале травле.

Симона рыдала, закрыв лицо руками.

Малько молча оделся.

...

Симона обвела взглядом посетителей ресторана и наклонилась к Малько, всем своим видом выражая сильнейшее презрение.

— Просто не верится, — шепнула она. — Здесь полно негров!

Они сидели на террасе ресторана "У Жерара Бальтазара" — одном из самых фешенебельных заведений Петионвилля. Впрочем, дорога, по которой подъезжали к этому заведению, была такой же разбитой, как и все остальные. В ресторане действительно преобладали чернокожие — было только несколько мулатов. Малько внутренне расхохотался. В устах девушки, которая не отрицала примеси в своих жилах негритянской крови, это была неожиданная ремарка. Где только не коренится расизм? Вот и здесь тоже — в стране, где последнего белого съели двести лет назад...

Малько ужасно хотелось расслабиться, повеселиться и выпить. Симона была прелестна в своем легком облегающем белом платье. В ушах у нее красовались большие серьги. Отправляясь в ресторан, она сделала легкий макияж и, несмотря на жару, надела колготки — высшее проявление элегантности на Гаити.

Они выпили уже по три порции ром-пунша. Глаза у Симоны блеснули, а Малько преисполнился некоторым оптимизмом.

— Раньше негры в такие заведения не ходили, — вздохнула Симона, — но при Дювалье они таскаются повсюду. Посмотрите, как они уродливы. Только в "Бельвю" и можно чувствовать себя спокойно — там они появляться еще не решаются...

А ведь у матери этой девушки кожа была черной, как уголь...

От легкого порыва ветра Симона зябко поежилась.

Под тонкой тканью ее платья четко обрисовались соски. Перехватив взгляд Малько, она покраснела:

— Наверное, вы считаете, что у меня неприличный вид. Но мне просто хочется вам понравиться. Если бы вы смогли увести меня отсюда, я стала бы вашей преданной рабой!

Малько благоразумно ограничился поцелуем ее руки. Он представил себе выражение лица Александры, вернись он с Гаити в сопровождении рабыни с такой фигурой. Вряд ли это укрепило бы их брачные узы...

Официант принес счет. Малько положил на стол десять долларов. С робостью девственницы Симона прикоснулась к его руке.

— Мне ужасно хочется пойти в кино, — призналась она. — Тут недалеко показывают "Историю любви"...

На Дельмас Роуд находилось три или четыре кинотеатра "драйв-ин" — предмет гордости гаитян. Прямо как в Америке.

"Почему и нет? — подумал Малько. — По крайней мере, часа на два можно отключиться".

При выходе из ресторана он нарочно немного замешкался, чтобы люди Амур Мирбале их не потеряли. Интересно, понравится ли тонтон-макутам "История любви"?

...

В темноте рука Симоны поползла по его животу, как маленький теплый зверек. Он слегка поежился от удовольствия и открыл глаза. Она впервые осмелилась на такую интимную ласку — может быть, потому, что считала его спящим.

Они вернулись к ней домой сразу после просмотра фильма. Малько долго не мог уснуть. Его мозг лихорадочно продолжал искать способ бегства с Гаити. По возможности, вместе с Симоной. Однако решение все не приходило. Единственное, что он мог сделать, — это убить трех следивших за ним тонтон-макутов. Но даже если это ему удастся, то что дальше? Амур Мирбале спустит на него всех своих людей. Порт, аэродром и все ведущие к доминиканской границе дороги наверняка находятся под наблюдением. И рассчитывать на помощь гаитян — особенно ему, иностранцу и белому, — нельзя: они слишком запуганы дювальеристами. Надеяться — и то не слишком сильно — можно только на Берта Марни, которому тоже надо спасать свою шкуру.

Прижавшиеся к его телу теплые губы Симоны рассеяли эти невеселые мысли. Ее нежный рот был более действенным, чем весь производимый на Гаити "буа-кошон".

Она заметила, что он проснулся, но молча и неумоимо продолжала свои сладостные ласки; потом легла на него, спрятала лицо на его плече и стала тереться о него животом — все быстрее и быстрее, судорожно дыша ему в ухо. Распаленный Малько положил ей руки на поясницу и сильнее прижал к себе. Она вздрогнула, как кошка, которую неожиданно погладили, и ее движения замедлились, а дыхание сделалось ровнее. Потом она снова энергично заерзала на нем, словно торопилась поскорее все завершить. Малько сдерживался, сколько мог, пока не понял, что чуда опять не произойдет. По его вине: он пока так и не сумел избавить Симону от неотступно преследовавших ее призраков.

Он целиком отдался своим ощущениям. Симона на ухо прошептала ему по-креольски слова любви и обессиленно затихла.

Позднее, уже погружаясь в сон, Малько почувствовал у себя на плече теплые капли слез.

* * *

Малько открыл входную дверь и вышел первым. Они с Симоной договорились о плане действий, чтобы оторваться от следивших за ним тонтон-макутов. Этот план был чреват для Симоны большим риском, но она так настаивала, что Малько в конце концов согласился: ставки были слишком высоки. Теперь все зависело от того, где стояла машина тонтон-макутов.

Он увидел ее сразу: серый "пежо", остановившийся в глубине дорожки, которая вела к одной из пустующих вилл. Малько обернулся, позвал Симону, открыл дверцу "мазды", сел за руль, подождал, пока Симона заберется в свой "мэверик", и выехал на дорогу. Симона последовала за ним, соблюдая дистанцию в один метр. Тонтон-макутам понадобилось несколько минут, чтобы завести машину. Малько с Симоной специально ехали очень медленно. Через несколько десятков метров дорога делала крутой поворот и сужалась так, что проехать по ней могла только одна машина.

Малько коротко посигналил. Симона выключила зажигание, и мотор "мэверика" чихнул и заглох. Машина тонтон-макутов едва не врезалась в "мэверик". Малько прибавил скорость. Сидевший за рулем "пежо" макут еще не успел вылезти из машины, как Малько уже свернул на Петьюнвилское шоссе и дал полный газ.

Тем временем Симона вновь завела мотор, проехала три метра и опять остановилась. На этот раз серый "пежо" стукнулся о задний бампер "мэверика". Один из макутов высунулся из машины, погрозил Симоне коротко-

ствольным кольцом и с криком: "Проезжай, стерва!" — выстрелил в кювет.

Симона мысленно сосчитала до десяти, включила зажигание и медленно поехала вперед.

Малько и тонтон-макутов теперь разделяло полкилометра.

* * *

Не снижая скорости, Малько ехал среди трущоб квартала Ла Салин. Двенадцать километров по извилистой дороге от дома Симоны он преодолел за десять минут. До логова Берта Марни оставалось метров сто. Было уже начало одиннадцатого. Малько старался не думать о том, что могли сделать с Симоной разъяренные тонтон-макуты.

Он затормозил около "диспансера" Берта Марни. Только бы Вампир сдержал свое слово... Малько постучал в дверь и вошел. Лежащая на металлическом блюде в зловещем жабо из темной лужи крови голова Берта Марни смотрела на него остекленевшими глазами. Рот был полуоткрыт, протез отсутствовал. Малько с трудом сдержал сильный приступ тошноты. Шум у него в ушах слился с жужжанием жирных зеленых мух.

Взяв себя в руки, он подошел и заметил лежащий на краю блюда, перед головой, маленький темно-коричневый предмет длиной сантиметров в семь. Малько понадобилось несколько секунд, прежде чем он понял, что это человеческий язык.

Язык Берта Марни.

Палач оставил свою подпись.

Значит, Вампир все-таки нашел Габриэля Жакмеля... Малько обошел комнату и увидел тело, лежащее в луже крови за письменным столом. Шея была перерублена одним точным и сильным ударом мачете. С таким хладнокровием убивают телят на бойне. Других ран Малько на теле не заметил. Берт Марни, наверное, видел роковой взмах мачете. И не исключено, что язык ему вырвали прежде, чем отрубили голову. Бедняга, он не заслуживал столь жестокой смерти.

Пошатываясь от ужаса, Малько вышел наружу. После тошнотворного запаха крови и смерти царившая в квартале Ла Салин вонь показалась ему благоуханием. Он посмотрел на деревянную лачугу, где Берт Марни надеялся сколотить капитал, и почувствовал себя в какой-то степени ответственным за эту смерть. Но времени на самобичевание у него не было.

Он вернулся к своей машине. Ему оставалось только

отправиться к Симоне и с ее помощью постараться тайно выбраться из страны.

* * *

В поисках Симоны Малько в пятый раз обошел все помещения ее маленького дома, все более и более встревоженный. Она обещала дожидаться его возвращения. Зеленый "мзверик" стоял на своем обычном месте. Все это могло означать только одно: взбешенные тонтон-макуты увезли ее с собой. Малько охватила дикая ярость. Здесь, на Гаити, Симона была для него человеком, которого он менее всего хотел бы потерять.

Он вышел, сел в машину и помчался в Порт-о-Пренс.

* * *

Лейтенант дворцовой охраны вернулся, держа в руке визитную карточку Малько.

— Мадам Мирбале ждет вас. Идите за мной, — сказал он.

Огромный коридор Дворца был пуст. Охваченный самыми худшими предчувствиями, Малько последовал за лейтенантом, который привел его в знакомый маленький кабинет.

Амур Мирбале выглядела очень элегантной в брючном костюме из набивного шелка. Сидя в кресле нога на ногу, она невозмутимо посмотрела на Малько. Глаза у нее были еще немного опухшими, синяки под ними полностью не исчезли. Длинные пальцы все так же находились в постоянном движении, поигрывая связкой ключей.

— Вы нашли Жакмея?

Сесть ему она не предложила.

— Где Симона Хинч? — спросил он.

Его тон был таким резким и нетерпеливым, что Амур Мирбале не стала разыгрывать комедию.

— Симона Хинч? — фыркнула она. — Я думала, она в вашей постели. Кстати, эта девица — не самое ценное приобретение для порядочного человека.

— Ее похитили ваши тонтон-макуты, — почти закричал Малько. — Прикажете немедленно освободить ее!

Амур Мирбале нахмурилась, и ее пальцы перестали двигаться.

— Мои люди похищениями не занимаются. А теперь у меня к вам вопрос: почему вы от них удрали? Где вы были?

У Малько вспыхнула искорка надежды:

— Не исключено, что они действовали без вашего при-

каза, — сказал он. — Только по собственной инициативе. Они вообще вели себя как бандиты.

Она презрительно поморщилась:

— Ну вот еще! А может быть, это похищение — дело рук Жакмеля? Вот вам еще один повод, чтобы его найти. В последний раз, когда она попалась ему в лапы, он с ней не особенно церемонился.

Малько промолчал. У Жакмеля не было никаких причин похищать Симону. Вероятно, Амур Мирбале просто хотела его дезориентировать, чтобы побудить найти своего злейшего врага. Это было бы вполне в ее духе.

Она насмешливо посмотрела на него:

— Пожалуй, я дам вам последнюю маленькую отсрочку. Я вижу, вы искренне начинаете желать, чтобы Жакмеля обезвредили.

— Он убил Берта Марни, — сказал Малько.

Амур Мирбале улыбнулась жестокой улыбкой.

— Я знаю.

— Зверски убил.

— Такой здесь обычай, — нараспев прокомментировала она. — Предателям отрезают язык.

О жемчужина Карибского моря!

Малько испепелил Амур Мирбале взглядом своих золотистых глаз.

— Избавьте меня от слезки. Пока я не найду Симону Хинч, я не уеду с Гаити, вы это отлично знаете!

— Ничего я не знаю, — заявила она, — и никому не доверяю.

Спорить было бесполезно. Не говоря ни слова, Малько открыл дверь. После оборудованного кондиционером кабинета воздух в коридоре с необычайно высоким потолком показался ему влажным и обжигающим. Малько все пытался убедить себя в том, что если бы Жакмель хотел убить Симону, то сделал бы это сразу, прямо в ее доме.

Сев в свою раскаленную палящими лучами солнца машину, припаркованную перед зданием Министерства внутренних дел, Малько почувствовал себя, как в паровой бане. Пожалуй, лучшее, что он сейчас мог сделать, — это вернуться в "Эль-Ранчо" и там спокойно все обдумать.

В вестибюле гостиницы, подойдя к конторке портье, он сразу заметил сложенный лист бумаги, который лежал в ячейке рядом с ключом от его номера. Портье вручил ему и то и другое. С учащенно бьющимся сердцем Малько развернул записку и прочитал единственную отпечатанную на машинке строчку: *"Немедленно приезжайте на "Радио-Пакс". Джон"*.

17

Голос Джона Райли почти полностью утратил пасторскую елейность.

— Жакмель вышел со мной на связь. Это он похитил вашу приятельницу. Если сегодня мы не явимся на встречу с ним, вы получите ее в расчлененном виде.

Одетый в рубашку с короткими рукавами и джинсы, Райли нервозно затянулся маленькой сигарой.

— Каким образом он вам об этом сообщил?

— Через своего человека. Кстати, за вами все еще следят?

Машина тонтон-макутов следовала за Малько всю дорогу от Дворца.

— Да.

— Сколько их?

— Двое или трое.

Райли потушил сигару и машинально погладил переплет Библии, которая лежала рядом с пепельницей.

— Есть только два варианта, — сказал он. — Первый: поехать на встречу с Жакмелем, но предварительно принять все меры предосторожности. Второй: бежать из страны с моими знакомыми контрабандистами... И со мной.

Малько вздрогнул:

— С вами?

Райли устало улыбнулся:

— Да. Я узнал, что меня собираются выслать отсюда. Частично из-за вас. Так что уж лучше уехать с максимальной пользой для дела.

Малько колебался недолго. Любой агент ЦРУ на его месте ухватился бы за второй вариант. Но бросить Симону... Несмотря на то что Малько уже давно вращался в беспощадном мире шпионажа, он так и не научился пренебрегать человеческой жизнью. Тем более жизнью женщины, тепло тела которой все еще помнила его кожа.

— Я выбираю первый вариант, — сказал он.

— Хорошо, значит, поедem к Жакмелю, — согласился Райли.

— Но вам-то зачем ехать? Вы тут совершенно ни при чем.

Американец пожал плечами:

— Я не собираюсь отпускать вас одного в это логово. Не хочу потом получить вас в расчлененном виде...

Очень мило.

— Жакмель — это дикий зверь. Что если поехать на встречу вместе с людьми Амур Мирбале и постараться

уничтожить его прежде, чем он убьет Симону? — предложил Малько.

Джон Райли закатил глаза:

— Чтобы вас изрубила на кусочки Амур Мирбале! Думаете, она забыла о своей матери? Послушайте: Жакмель мне кое-чем обязан. Однажды, когда его ранили макуты, я спрятал его на нашей станции в Артибоните. Надеюсь, он этого не забыл. Кроме того, я, как здесь говорят, — "святой отец". Это существенно — гаитяне очень суеверны...

— Мне не хочется, чтобы вы подвергались из-за меня опасности.

Райли снисходительно посмотрел на него.

— Они совершили ошибку, отправив вас на Гаити. Вы недостаточно жестоки. А здесь очень многие не только непредсказуемы, но и свирепы, как акулы.

Он посмотрел на часы.

— Пора!

— А макуты?

Не отвечая, Джон Райли достал из ящика письменного стола какой-то большой предмет, обернутый в черную клеенчатую ткань. Когда он развернул его, Малько увидел поблескивающий от смазки автомат "томпсон" со вставленным магазином.

Заметив изумление Малько, Райли слегка улыбнулся:

— Бог распознает своих! Подождите меня, я скоро вернусь...

Когда он вышел из кабинета, Малько бросился к окну: двое тонтон-макутов клевали носом в старом "форде". Джон Райли тихо подошел к машине сзади, открыл переднюю дверцу, прижал приклад "томпсона" к правому бедру и дал короткую очередь. Оба макута задержались под пулями. Через мгновение голова одного из них превратилась в бесформенную кровавую массу. Джон Райли просунул ствол автомата в разбитое окно и в упор добил второго макута еще одной короткой очередью.

Малько выбежал наружу.

— Теперь надо действовать быстро, — спокойно сказал Джон Райли. — Через час у нас на хвосте будут все макуты Порт-о-Пренса.

Он положил автомат в старый чемодан, до половины набитый запасными магазинами. Садясь в его "тойоту", Малько увидел на полу винчестер. С помощью такого оружия можно было обратить в истинную веру немало безбожников...

Джон Райли сел за руль и включил зажигание. "Тойота" затряслась на скверном покрытии и выехала на шоссе Карфур.

* * *

Малько внимательно следил за узкой дорогой, петлявшей между берегом моря и холмами. Джон Райли объехал Порт-о-Пренс по каким-то немислимым тропам, чтобы не нарваться на армейские заграждения, затем выехал на шоссе, ведущее в Кап-Аитьен. Движение здесь было слабым — им попалось только несколько тарахтевших, перегруженных грузовиков. Вдруг воздух в машине наполнился сильным зловонием, какое бывает поблизости от некоторых нефтехимических заводов. Джон Райли повернул направо, на узкую дорогу, поднимающуюся в горы. Зловоние усилилось.

— Ну вот, мы почти приехали, — сказал Райли.

— Откуда этот запах?

Американец усмехнулся:

— Здесь это называют "Вонючий источник". В этих местах полно болот, из которых выделяются сернистые испарения. Считается, что тут царство злых "лоа", поэтому с наступлением темноты никто сюда и близко не подходит, даже макуты. Они ведь тоже верят в эти вудуистские штучки.

— Но и Жакмель в них верит, — заметил Малько.

— Верно. Поэтому, прежде чем прийти сюда, он заказал одному хумгану зелье, которое отвращает злых духов.

Впереди показались первые дома какой-то деревушки. Райли остановил машину у большого хлопчатника, вылез, запер дверцу и достал из багажника чемодан с автоматом. Без очков он больше походил на офицера-десантника, чем на пастора баптистской церкви.

Кругом не было ни души. Малько вытер вспотевший лоб. Сердце у него тревожно стучало. Трупы двух макутов, наверное, уже обнаружили. На этот раз Амур Мирбале уже не будет больше откладывать исполнение своего приговора. И в довершение всего ему предстояло встретиться с человеком, от которого не приходилось ждать ничего хорошего...

Они подошли к одиноко стоящему в стороне сараю. Джон Райли тихо сказал:

— Мы на месте. Что бы ни случилось, сохраняйте хладнокровие.

Он постучал в дверь сарая: сначала два раза, потом, после короткой паузы, еще три. Дверь приоткрылась, и на пороге возникла высокая фигура в длинном белом одеянии и ку-клукс-клановском островерхом капюшоне, в котором были только отверстия для глаз. Джон Райли что-то шепнул незнакомцу, и тот широко распахнул дверь. Держась настороже, Малько вошел первым. В полумраке он поначалу различил только какие-то большие

белые пятна. Сделав еще несколько шагов по глинобитному полу, он увидел деревянный стол, на котором горели три свечи, и с десяток людей в таких же белых одеяниях, как и у того, кто открыл дверь. Некоторые из них держали в руках карабины, и, судя по оттопыренным на поясе балахонам, все были вооружены и пистолетами.

— Что это за маскарад? — спросил Малько.

На этот раз Джон Райли не улыбнулся.

— Они вырядились в "оболо", — ответил он по-английски. — Так называют хумганов, которые иногда собираются, чтобы навести на кого-нибудь порчу. Ни одному нормальному гаитянину не придет в голову проявить неуважение к человеку в таком наряде — например, приподнять капюшон, чтобы посмотреть, кто это.

Один из облаченных в белое незнакомец медленно подошел к Малько и приказал по-французски:

— Разоружите его!

Это был голос Габриэля Жакмеля.

Двое "оболо" обыскали Малько и отобрали его ультрапловский пистолет. Видя, что Джон Райли ведет себя спокойно, Малько не стал сопротивляться. А Райли тем временем сел на пол, поставил перед собой чемодан и сказал по-французски:

— Габриэль, это мой друг Малько. Вам нужно объяснить.

Он сделал ударение на слове "друг". Несмотря на его внешнее спокойствие и ровный голос, Малько почувствовал, что американец собран, как пружина, и готов к любым неожиданностям.

— Почему вы хотели выдать меня Амур Мирбале? — спросил Жакмель. — А я ведь вам сначала поверил!

— Я не собирался выдавать вас — я хотел, чтобы вы помогли мне бежать с Гаити, — ответил Малько, стараясь не терять хладнокровия.

Белый капюшон заколыхался. Под складками ткани Малько заметил очертания большого револьвера. Если Жакмель решит убить его, что сможет сделать Райли — даже со своим автоматом?

— Где Симона?

Жакмель помолчал, потом слегка повернулся и показал на один из силуэтов в белом.

— Здесь.

— Да, это я, — слышался приглушенный голос Симоны.

— Вот голова Франсуа Дювалье, — тихо сказал Жакмель. — Я поклялся своим людям, что положу в тот же мешок и голову того, кто меня предал!

— Я вас не предавал, — возразил Малько.

Жакмель едва заметно пожал плечами:

— Тем хуже для вас. Я вам не верю. Вы приехали на Гаити, чтобы устроить мне ловушку вместе с Амур Мир-бале.

Он засунул руку в разрез балахона, вытащил сверкающий мачете, протянул его стоящему рядом человеку в белом и приказал по-креольски:

— *Coupe tete!**

Словно в кошмарном сне Малько услышал спокойный голос Джона Райли:

— Габриэль, я твой друг. Если я кое-что скажу тебе, *мне* ты поверишь?

Малько заметил, что крышка его чемодана открыта. Жакмель повернулся к американцу. Не видя его лица, спрятанного за белым капюшоном, трудно было судить о его настроении.

— Говори! — бросил Жакмель.

— Я хочу кое-что тебе предложить, Габриэль...

Словно не видя автомата Джона Райли, Жакмель преврал его:

— Нет, все предложения потом!

Жизнь Малько теперь зависела от находчивости и хладнокровия Джона Райли. Американец не спускал глаз с мачете. Малько подумал, что кровопролития не избежать.

Райли неторопливо поднялся на ноги и подошел к Жакмелю. Безоружный.

— Выслушай меня сейчас, — сказал он, не повышая голоса. — Когда-то я спас тебе жизнь. Сегодня я готов поручиться за этого человека и предлагаю тебе сделку: ты оставляешь его в живых, а он помогает тебе осуществить твою мечту. Я это гарантирую.

В глазах Жакмеля блеснуло любопытство; он немного расслабился и сорвал с себя капюшон.

— Что ты предлагаешь? — недоверчиво спросил он.

Малько понял, что Райли нашел слабое место Жакмеля. Пришло время полностью посвятить его в план операции "Вон-Вон" — в том виде, в каком его разработали в кабинетах ЦРУ в Лэнгли.

— Вы на короткое время захватываете "Радио-Метрополь", — начал Малько. — Мы выбрали именно эту радиостанцию, потому что ее слушают очень многие. Вы объявите, что руководите эмигрантами, которые высадились в Кап-Аитьен, и что вы перебьете всех живущих на Гаити американцев...

— Перебью всех американцев? — удивился Жакмель. — Но я не собираюсь этого делать!

Малько холодно улыбнулся:

* Руби голову!

— Конечно, вы не станете этого делать. Но это заявление даст возможность двум батальонам американской морской пехоты, которые находятся на кораблях в открытом море, высадиться на Гаити в самый короткий срок под предлогом защиты американских граждан. Они нейтрализуют правительственные войска и обеспечат высадку эмигрантов в Порт-о-Пренсе, в то время как дювальеристы будут ждать их в Кап-Аитьен, на другом конце острова... После вашего обращения по радио слово возьмет Симона Хинч, которая подтвердит, что эмигранты действуют заодно с вами.

Малько умолк. Жакмель смотрел на него с недоверием и надеждой.

— Это правда? — спросил он.

— Правда.

— А она?

— Спросите сами.

Жакмель сказал что-то по-креольски. Двое его людей подняли Симону, сняли с нее капюшон и вывели ее на середину сарая. Под глазом у молодой женщины был обширный кровоподтек, сливающийся с большим синяком от удара Жюльена Лало. Она была бледной, но держалась спокойно. Бросив на Малько полный обожания взгляд, Симона повернулась к Жакмелю.

— Вы согласны на это? — спросил он.

— Да.

Малько был рад снова услышать ее голос. Жакмель нахмурился:

— А как они об этом узнают?

— Сигналом для них будет ваше выступление по радио, — объяснил Малько. — Операция начнется сразу после ваших двух заявлений: вашего и Симоны. Менее чем через три часа после этого корабли с морскими пехотинцами подойдут к гаитянскому берегу. Они крейсируют между Кубой и Гаити уже десять дней.

Жакмель все еще колебался, обуреваемый противоречивыми чувствами. Но то, что ему предлагали, было мечтой его жизни, его долгожданным и эффектным реваншем. Он мысленно уже начал прикидывать, сколько времени ему понадобится, чтобы ликвидировать своих союзников после победы.

— Хорошо, — сказал он. — Я согласен.

В помещении наступила ощутимая разрядка. Малько вспомнил о Берте Марни. Вот кому уже не придется участвовать в общем торжестве. Но две жизни, — Симоны и его собственную — похоже, чудесным образом удалось спасти. И операция "Вон-Вон" была очень близка к осуществлению.

18

Микроавтобус "фольксваген", на котором было написано: "Больница Канапе Вер", подъехал к "Радио-Метрополь" и остановился во втором ряду. Группа гаитян, сидящих на стульях прямо посреди тротуара, не обратила на это никакого внимания. Задняя дверца микроавтобуса открылась, и из него вышли четверо мужчин и одна женщина — все в темных очках. У двух мужчин в руках были небольшие чемоданы. Все пятеро быстро вошли в здание "Радио-Метрополь". Микроавтобус тотчас же тронулся с места и остановился чуть поодаль. Стрелки часов показывали четыре часа пополудни. Порт-о-Пренс был погружен в дремоту. Впрочем, "Радио-Метрополь" все равно не охранялось. Кому бы пришло в голову, что государственный преступник номер один Габриэль Жакмель, постоянно вынужденный скрываться от преследований дювальеристов, осмелится появиться в центре города при свете дня?

* * *

На крутой лестнице с трудом могли бы разминуться два человека. Вся радиостанция занимала второй — он же и последний — этаж небольшого здания, над аптекой и овощным магазином.

Малько первым помчался вверх по ступенькам. За ним устремилась Симона, а следом — Жакмель и его верный телохранитель Тома.

Облаченный в пуленепробиваемый жилет, Жакмель производил особенно устрашающее впечатление. На бегу он открыл чемодан и достал из него автомат "МП-44". В сумке у Тома лежали "томпсон" и дюжина ручных гранат. Такое же вооружение имел и следовавший за ним Люк. С площадки второго этажа они успешно могли отражать атаки всей гаитянской армии. Впрочем, поскольку вся операция должна была занять не более получаса, опасаться серьезного штурма не приходилось.

Малько добежал до маленького пустого вестибюля, на стенах которого висели фотографии победительниц конкурса красоты. По установленному там динамику шла трансляция программы "Радио-Метрополь". К вестибюлю примыкал застекленный кабинет. Приказав Тома дежурить на лестничной площадке, Жакмель обогнал Малько и ворвался в кабинет, из которого, как они предварительно выяснили, можно было попасть в обе студии, фонотеку и кабинет главного редактора. В этот час передача велась из студии, расположенной с правой сто-

роны и в конце коридора, который начинался сразу после застекленного кабинета.

Через стекло Малько увидел, как округлились глаза у сидевшей в кабинете девушки с длинным носом, когда перед ней оказался Жакмель с автоматом. Девушка медленно поднялась. Люк потащил ее к крохотному помещению, служившему гардеробом, и открыл дверь ногой. Внутри, за столиком, сидела девушка-гардеробщица и заштопывала дырку в смокинге. При виде человека с автоматом она упала в обморок. Тем временем Жакмель, подталкивая его в спину автоматом, вывел из кабинета главного редактора — высокого мулата с седеющими курчавыми волосами. Люк втолкнул его в гардероб, следом за длинноносой девушкой. Малько и Симона стояли в стороне и не вмешивались. За пять минут Жакмель с Люком заперли в гардеробе шестерых мужчин и трех женщин — всех дежуривших на этот час работников "Радио-Метрополь", кроме звукооператора и ведущей радиопередачи, — и оборвали провода всех телефонов. Жакмель торжествующе посмотрел на Малько.

Вдруг на лестнице послышались чьи-то шаги. Том поднял свой автомат. Появились две девушки. Обе успели только вскрикнуть. Тома отшвырнул их в сторону гардероба. Поскольку места там уже не было, им велели встать лицом к стене, возле автомата "пепси-колы".

— Если еще кто появится, ставьте их туда же! — приказал Жакмель.

За автоматом "пепси-колы" девушек из вестибюля видно не было. Тома снова отправился охранять лестницу. Жакмель, Малько и Симона побежали в конец коридора, к студии. Начиналась главная часть операции.

* * *

Абелен, сторож антенны "Радио-Метрополь", дремал на диване, когда в дверь постучали. Он открыл глаза, собрался с мыслями и решил не подавать признаков жизни. Стучавший мог быть только его кузеном, который наверняка явился одолжить несколько гурдов, чтобы сделать ставку на петушиных боях. Никаких инспекций тут никогда не бывало. И вряд ли это забрели посторонние: антенна и передатчик "Радио-Метрополь" были окружены железной оградой и находились в центре расположенного на полпути между кварталом Ла Салин и тюрьмой "Фор-Диманш" мрачного пустыря, который администрация станции упорно называла "парком".

В дверь застучали сильнее. Может быть, это все-таки неожиданная проверка? Абелен зевнул, встал с дивана и пошел открывать.

Как только он поднял засов, железная дверь с силой распахнулась внутрь, отбросив его на несколько шагов. Поднимаясь на ноги, Абелен получил удар рукояткой кольта, разорвавший ему кожу на голове. Перед тем как потерять сознание, он успел увидеть трех негров.

Двое нападавших бросили сторожа на диван. Добивать его они не стали: Габриэль Жакмель приказал им действовать гуманно, чтобы произвести благоприятное впечатление. Второем они установили старый пулемет "шпандау МГ-30" на подоконнике единственного окна, откуда удобно было простреливать дорогу в "Фор-Диманш". Потом один из них подошел к передатчику и начал разглядывать это хитроумное устройство. Его опьяняла мысль, что он, простой человек, не умеющий ни писать, ни читать, взял под свой контроль такую важную и сложную штуковину, как передатчик радиостанции. Его приятель уселся возле контрольного динамика, чтобы быть в курсе событий и не упустить нужный момент. Находившаяся в двухстах метрах от них тюрьма "Фор-Диманш", казалось, дразнила заговорщиков языком своего полоскавшегося на ветру флага.

Третий участник нападения принялся нашлифовывать передатчик динамитными шашками.

* * *

Жакмель взялся за ручку двери студии, из которой шла передача. Симона тревожно посмотрела на Малько. Дальнейший ход операции в значительной степени зависел от того, заперта ли дверь изнутри. Малько достал свой пистолет. Жакмель повернул ручку, и дверь открылась. Курчавый юноша-звукооператор повернул к ним голову и приложил палец к губам. Автомата в руках Жакмеля он не заметил. Не давая ему времени сориентироваться, Жакмель рывком поднял его со стула и вытолкал в коридор. Малько направил на него ультраплоский пистолет и сказал:

— Идите в вестибюль, к остальным. Если вы будете вести себя тихо, никто не причинит вам зла.

Стоящий в другом конце коридора Люк держал звукооператора на прицеле. Ошеломленный, тот молча подчинился.

Из операторской, отделенной от миниатюрной студии застекленной перегородкой, Малько увидел девушку, танцующую под транслируемую музыку. Это была ведущая музыкальной программы. Ворвавшийся в студию Жакмель схватил ее за руку и вытащил в коридор. Девушка истошно закричала и забилась. Малько вспомнил: это была та самая долговзая особа вызывающего вида, кото-

рую он увидел на приеме у Амур Мирбале. Она была в том же длинном, цыганского стиля платье и в косынке. Жакмель ткнул стволом автомата ей в живот, и она перестала сопротивляться. Страх совершенно обезобразил ее лицо.

До конца пластинки оставалось около минуты. Жакмель подтолкнул девушку к Малько.

— Быстро, отведите ее к другим!

— И скажите там, чтобы с ними хорошо обращались! — добавила Симона.

Пока Малько вел девушку по коридору, Жакмель усаживался перед микрофоном. Операция "Вон-Вон" вступала в свою решающую стадию. Сразу же после обращения по радио Жакмеля и Симоны военные корабли, крейсирующие в море между Кубой и Гаити со дня отъезда Малько из Соединенных Штатов, двинутся к Порт-о-Пренсу. Учитывая мощность передатчика "Радио-Метрополь", угрозы Жакмеля по адресу американцев услышат во всем Карибском регионе, что даст законный предлог для вмешательства. И трудно будет винить американцев, если несколько снарядов с их кораблей случайно разрушат Дворец и казармы "Дессалин". *Errare humanum est*...

Малько теперь оставалось только надеяться на то, чтобы Джон Райли благополучно добрался до Фрэнка Гилпатрика, который должен был находиться дома, поскольку посольство в субботу не работало, и проинформировать его о ходе выполнения операции. Что до посла, то он был временно отозван в Нью-Йорк.

Девушка, которую он вел по коридору, вдруг прижалась к нему и умоляюще прошептала:

— Вы ведь меня не убьете, правда?

В ее слегка выпуклых глазах читался животный страх.

— Даже не изнасилую! — ответил Малько.

Его охватил жгучий стыд. Держать женщину на мушке пистолета — поступок, которым порядочные люди обычно не хвастаются.

...

Габриэль Жакмель уже несколько минут извергал в микрофон потоки креольской брани. Слова просто теснились у него во рту. Он вошел в такой раж, что даже стал заикаться. Весь взмокший, вцепившись левой рукой в микрофон, будто это была шея его врага, сжимая в правой ствол автомата, он брал реванш за два года гонений и страха.

Справа от него совсем близко стояла Симона. В этот

* Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

знаменательный для нее день она нагримировалась и надушилась, словно собираясь на танцы в модную дискотеку. Вдруг Жакмель почувствовал, что молодая женщина слегка коснулась его. Он посмотрел на нее: она улыбнулась призывной улыбкой и не отвела глаз. То, что Жакмель прочитал в них, вызвало у него сильнейшее желание послать к черту все свои революционные замыслы. Сладкая и теплая волна, зародившаяся у него в животе, прошла по всему телу и запульсировала в висках; ноздри его приплюснутого носа расширились, глаза застлало пеленой, и он поперхнулся перед микрофоном. В голове у него пронеслась мысль о том, что женщины любят победителей. Он уже представлял, как ее длинные ноги обхватывают его поясицу, а теплое, гибкое тело открывается, как цветок.

Прислонив автомат к бедру, Жакмель положил правую руку на бедро Симоны. Его пальцы стали подниматься вверх, под платье. Молодая женщина не сопротивлялась. Нежно улыбнувшись, она наклонилась и осторожно взяла разделявший их автомат, как бы для того, чтобы отставить его в сторону. Опьяневший от желания Жакмель не препятствовал. Дальнейшее произошло так быстро, что он не успел это даже осознать. С быстротой змеи Симона отскочила к двери, заперла ее и, прижав тяжелый автомат к бедру, положила палец на спусковой крючок. Нежное выражение ее лица сменилось гримасой бешеной ненависти, дыхание стало неровным. Забыв о включенном микрофоне, Жакмель встал. Он понял, что сейчас умрет, что никакие увещевания не подействуют на стоящее перед ним переполненное жаждой мести существо. Глаза у Симоны были до жути холодными. Ее час настал: наконец-то, благодаря удивительному стечению обстоятельств, Жакмель утратил бдительность и был в ее власти!

— Думаешь, я сейчас прострелю тебе голову? — медленно выговорила она. — Нет, это слишком хорошо для тебя... *Coulan set mama'on!**

И она перевела автомат на стрельбу одиночными выстрелами.

...

Малько подумал, что ослышался. Из висящего в вестибюле маленького динамика только что с ужасающей отчетливостью донеслись последние слова Симоны. Телдхранители Жакмеля Люк и Тома не обратили на это никакого внимания: они понимали только по-креольски.

* Креольское ругательство, которое смягченно можно перевести как: "Будь проклято чрево твоей матери!"

Малько добежал по коридору до студии и начал трясти запертую дверь. Сквозь стекло он увидел стоящих лицом друг к другу Жакмеля и Симону. Она встретила его взгляд и грустно улыбнулась.

— Откройте! — крикнул он.

Без Жакмеля осуществить операцию "Вон-Вон": было невозможно.

Глядя на автомат в руках Симоны, Малько лихорадочно размышлял. Он, разумеется, мог застрелить ее прямо через стекло. Но и это обрекало операцию на провал: для того чтобы корабли двинулись к Порт-о-Пренсу, необходимо было два обращения по радио: Жакмеля и Симоны.

Звукоизоляция студии смягчила грохот выстрела. Оторпевший Малько увидел, как Жакмель подносит руки к животу и складывается пополам.

...

Первая пуля пробуровила Жакмелю низ живота. От невыносимой боли он издал резкий крик и съехал, как полуразрубленный червяк. Симона смотрела на него с пугающим хладнокровием. Целых три года она мечтала об этой минуте. Жакмель был теперь только стонущей бесформенной массой у ее ног. Обеими руками он пытался остановить хлещущую из него кровь. При первой же попытке немного изменить позу его пронизала такая острая боль, что он по-звериному завыл. В его глазах уже была смерть.

Симона опустила автомат и выстрелила еще раз, метя ему чуть выше пояса. От едкого запаха пороха у нее на глазах выступили слезы, но руки твердо сжимали оружие. Ей хотелось, чтобы это мгновение продолжалось бесконечно долго, чтобы Жакмель мучился до дня Страшного суда. Неожиданно для себя самой она стала молиться: "Боже, сделай так, чтобы он умер не сразу!" Но обе пули произвели в организме Жакмеля слишком большие разрушения, и он потерял слишком много крови. Сделав сверхчеловеческое усилие, он попробовал встать — и не смог. Вся нижняя часть тела у него была как свинцовая: вторая пуля перебила позвонки. Симона увидела, что глаза у него начали стекленеть. Поняв, что все почти кончено и через несколько секунд он будет для нее недостижим, она приблизила дуло автомата в его лбу, чтобы он увидел, откуда придет смерть, и медленно нажала на спуск. Кровь вперемешку с мозгом забрызгала студию и попала Симоне на платье. Верхняя часть головы Жакмеля разлетелась на куски. Симона уронила автомат на пол, опустошенная и удовлетворенная одновременно. И ясно сознающая, что она полностью сорвала операцию "Вон-Вон": как и

многочисленные радиослушатели, организаторы планируемой высадки только что услышали на своих кораблях прямую трансляцию убийства Габриэля Жакмеля.

Симона машинально смахнула носовым платком кусочки мозга со своего платья и отперла дверь.

Малько едва не отшатнулся, увидев ее безумный взгляд. Симона показала ему носовой платок, на котором налипли сероватые комочки.

— Смотрите, — отстраненно сказала она, — смотрите: вот мозг этого чудовища!

19

Стекла задрожали от ударной волны далекого взрыва: выполняя приказ Жакмеля, его люди взорвали передатчик "Радио-Метрополь". Немного придя в себя, Малько потряс Симону за плечи.

Люк и Тома по-прежнему держали сотрудников радиостанции на прицеле. Те были сильно напуганы: почти все они понимали по-французски и, благодаря динамику в вестибюле, узнали о том, что произошло в студии.

Малько был мрачнее тучи. Провалиться, находясь так близко к цели! Симона отомстила за свое ужасное унижение, но на операции "Вон-Вон" был поставлен крест. Решительно, ЦРУ не везло с организацией морских десантов в Карибском регионе!

— Надо уходить, — сказал Малько. — И быстро: скоро здесь будут тонтон-макуты.

Симона схватила его за руку.

— Простите меня... Но он был хуже, чем оба Дювалье!

Охраняющий пленников Люк с беспокойством посмотрел на Малько.

— Скажите им, что все идет хорошо, — шепнул Малько Симоне. — И что Жакмель приказал им ждать его в "фольксвагене". Он догонит их через минуту...

Она перевела это на креольский. Люк и Тома тотчас же направились к выходу. Заложники не пошевелились: они были парализованы страхом. Выждав несколько секунд, Малько и Симона тоже пошли к выходу.

На улице Паве все было спокойно. С полными слез глазами Симона повернулась к Малько:

— Прощайте! Я знаю, что причинила вам много неприятностей. Если я останусь в живых, то буду вас помнить. Благодаря вам я смогла отомстить Жакмелю... Желаю удачи!

Не давая ему возможности ее задержать, она побежала в сторону бульвара Жан-Жак Дессалин. Без особой надежды ее вернуть Малько все-таки позвал:

— Симона! Симона!

Она обернулась, дружески помахала ему рукой и скрылась в аркадах.

Теперь каждая секунда была чревата для Малько смертельной опасностью. Он огляделся: ни одного такси. До дома Гилпатрика было больше двух миль — пешком туда не успеть. В этот момент взгляд его упал на машину, которая стояла у бензоколонки на другой стороне улицы.

Увидев пистолет, владелец старого "шевроле" посерел от страха и покорно вышел из машины. Не теряя времени на объяснения, Малько сел за руль, включил зажигание и тронулся с места настолько быстро, насколько это позволил дряхлый мотор.

В небе Порт-о-Пренса собирались свинцовые тучи. Через сто метров Малько пришлось сбавить скорость: впереди трое обнаженных по пояс гаитян толкали перед собой огромную тачку. По их торсам текли ручьи пота. Малько взял чуть левее и обогнал их. Они посмотрели на машину с полным безразличием: все трое еще не миновали стадию живой тягловой силы.

Малько прибавил газу и, с минуту на минуту ожидая увидеть в зеркале заднего вида машину тонтон-макутов, доехал до улицы Карфур. На тротуарах там и сям стояли что-то беспокойно обсуждающие группки людей. Навстречу промчался армейский джип. Во Дворце уже наверняка объявили тревогу, однако движение на улицах пока не перекрыли. Малько заметил, что, как и трое встреченных им гаитян с тачкой, он весь покрылся потом. В ближайшие несколько минут должно было решиться, удастся ли ему выжить.

* * *

— Какой провал, какой провал!

Подавленный Гилпатрик ходил взад-вперед по гостиной своего дома. Пульс Малько еще не вернулся в норму. Только Джон Райли казался таким же спокойным, как и обычно.

— Фрэнк, — сказал он, — мы не можем здесь оставаться. Дайте нам ключи от посольства. Макуты вот-вот явятся сюда. Лучше, если они свяжут наше исчезновение с гибелью Жакмеля на радиостанции.

Гилпатрик оцепенел. Вид у него был такой, словно он узрел дьявола.

— Ключи от посольства? — прохрипел он. — Но это невозможно — посол не...

— Вполне возможно, — мягко прервал его Джон Райли. — Они лежат у вас в правом кармане брюк.

Словно по волшебству в его руке появился "радом".

Гилпатрик изумленно поднял брови. Палец Джона Райли лежал на гашетке.

— Да вы с ума сошли!

— Вам лучше нас не провожать, — посоветовал Райли. — Путешествие может быть опасным.

Гилпатрик молчал. Райли подошел к нему, сунул руку в его карман и достал оттуда связку ключей.

— До свидания, Фрэнк, — сказал он. — Встретимся в посольстве в понедельник!

Малько уже открывал дверь. Они пробежали через сад и сели в машину как раз в тот момент, когда с неба упали первые капли дождя. Через несколько секунд сидевший за рулем Малько увидел перед собой плотную пелену тропического ливня. Казалось, невидимый гигант льет воду громадными ведрами. Почти вслепую Малько удалось вырулить на улицу. Одежда на немногих прохожих была насквозь мокрой. Джон Райли беспокойно заерзал.

— Добраться до посольства будет непросто, — сказал он. — Во время ливня авеню Гарри Трумэна превращается в озеро. Там забыли сделать водостоки...

Они медленно доехали до улицы Карфур. Пассажиры двигающихся с черепашьей скоростью "тап-тапов" промокли до нитки, покорно перенося буйство стихии. Пешеходы исчезли. Внезапно двигатель "тойоты" чихнул и заглох. Джон Райли выругался. Сжав зубы, Малько вертел ключом зажигания и яростно нажимал на педаль акселератора. Наконец мотор фыркнул и завелся. Они поехали на двух еще не вышедших из строя свечах зажигания. Ливень усиливался: струи воды оглушительно грохотали по крыше. Вдруг этот грохот перекрыла автоматная очередь. Заднее стекло "тойоты" разлетелось вдребезги. Малько повернул голову: у тротуара стоял черный "мерседес" с опущенными стеклами, набитый вооруженными автоматами негритянками со свирепыми лицами. За рулем сидела Амур Мирбале.

— Это "фийет-пало"! — воскликнул Джон Райли.

— Кто, вы говорите?

— Женщины-макуты. "Железная гвардия" Амур Мирбале.

Охота шла на истребление. Малько прибавил газу, и "мерседес" исчез за стеной дождя. Но ненадолго: через минуту в зеркале заднего вида отразились его фары, и на "тойоту" обрушился град пуль. Одна из них угодила в лоб водителю ехавшего навстречу "тап-тапа". Потерявшая управление машина перевернулась. Джон Райли высунулся из окна и трижды выстрелил из своего "радома".

— Нам от них не уйти — у них машина лучше! — крикнул он. — Все, конец!

— Вы — пастор. Попробуйте выпрыгнуть — может, вам еще удастся спастись!

Джон Райли невесело усмехнулся:

— Даже будь я папским нунцием, у них бы рука не дрогнула. Сейчас они сводят счеты. Мы их слишком сильно напугали, чтобы ждать пощады.

Насколько позволял ливень, Малько ехал зигзагами, чтобы не дать преследователям возможность вести прицельный огонь.

А ливень все усиливался. Движение по улицам почти полностью прекратилось. Среди потоков воды "тойота" раскачивалась, как попавшее в шторм парусное судно.

Неожиданно ветровое стекло сделалось совершенно непрозрачным. Малько инстинктивно нажал на тормоз. Джон Райли заорал:

— Прибавьте газу, черт возьми, — они наступают нам на пятки!

Малько неистово нажимал на кнопку, чтобы включить остановившиеся "дворники". Без них нечего было и думать ехать быстрее десяти километров в час, настолько плотной стала завеса дождя.

— Все, конец! — сказал Райли осипшим голосом. — Мне надо было остаться во Вьетнаме...

— Во Вьетнаме?

Джон Райли грустно улыбнулся:

— Три года в джунглях, в составе "зеленых беретов". По заданию Компании*.

* * *

— Показывайте дорогу, — сказал Малько. — Быстро!

Не обращая внимания на "фийет-лало", Джон Райли наполовину высунулся из "тойоты".

— Левее! — крикнул он. — Тут застрявшая машина.

Малько сделал вираж и прибавил скорость. Почти ослепший от струй ливня Джон Райли как мог подсказывал, куда ехать. Впереди блеснули красные сигнальные огни: вереница машин застряла при въезде на бульвар Жан-Жак Дессалин, где лужи были слишком глубоки. Малько резко затормозил, и "тойота" пошла юзом. Несмотря на ливень, было по-прежнему жарко и душно. Машину буквально заливало. На полу плескалась вода. Малько был весь мокрый. Ему никогда не доводилось видеть такого потопа.

— Нас догоняют! — крикнул Райли.

"Мерседес" Амур Мирбале быстро приближался. Малько инстинктивно крутанул руль и свернул на авеню

Гарри Трумэна, где было двухрядное движение. Проезжая часть бульвара была заасфальтирована лишь частично и изобиловала огромными ямами, но выбирать не приходилось. С криком: "Нет, нет, не туда!" — Райли схватился за руль, пытаясь повернуть машину на бульвар Жан-Жак Дессалин. Они промчались мимо рыбного рынка и въехали на авеню Гарри Трумэна. Малько взглянул на Райли:

— В чем дело?

— Там все затоплено, — пробурчал тот. — Нам не проехать — воды не меньше чем на метр...

— Но и у них будут те же трудности, — ответил Малько. — Нам все равно некуда деваться.

Перед ними было широкое, залитое водой пространство. Кое-где из воды торчали уличные фонари и полузатопленные автомобили. Авеню Гарри Трумэна больше походило на Женевское озеро, чем на улицу нормального города.

Малько прибавил газу, поднимая фонтаны грязной теплой воды. Внезапно машина забуксовала: вода доходила уже до середины дверей. Джон Райли был прав. Малько взглянул в зеркало заднего вида: "мерседес" находился совсем близко. Он отчаянно нажал на акселератор. "Тойота" дернулась вперед, и ее левое переднее колесо обо что-то ударилось. Машину так сильно тряхнуло, что Малько стукнулся о Джона Райли.

— Здесь земляная насыпь, — прокричал тот. — Надо на нее въехать!

Выжимая из мотора все, на что он был способен, Малько взгромоздил "тойоту" на насыпь. Вода здесь доходила только до середины колес. Малько трудно было в это поверить: земляная насыпь в центре Порт-о-Пренса!

Машина медленно поехала мимо кокосовых пальм. Иногда оба ее правых колеса полностью уходили в воду, и казалось, что оттуда уже не выбраться. Вцепившись в руль, Малько даже забыл о преследователях. Зато Джон Райли, высунувшись из машины, не спускал с них глаз. Слава богу, при такой тряске стрелять они не могли. Ливень немного поутих, но потоки воды продолжали низвергаться на город с окружающих его холмов.

Земляная насыпь кончилась. Малько притормозил. Находящаяся впереди часть бульвара превратилась в озеро грязи. Перед "тойотой" стояло несколько автомобилей, водители которых не решались продолжать движение, не имея столь серьезных, как у Малько, причин рисковать двигателем, который могло залить водой. Чуть дальше виднелся наполовину затонувший в образовавшейся трясине грузовичок. Его водитель и пассажиры си-

дели на крыше кузова, с философским спокойствием ожидая, когда вода начнет спадать.

Сзади послышался рев мощного мотора: "мерседес" Амур Мирбале приближался к ним в фонтанах воды. Одна из негритянок три раза выстрелила из пистолета. Пули подняли маленькие гейзеры рядом с "тойотой". Малько торопливо включил первую скорость и рванул вперед. Казалось, машина плывет по реке. Вода подступала к стеклам. Они ехали со скоростью менее десяти километров в час. Но и это продолжалось недолго: мотор опять заглох и умолк. Вода попала в распределитель зажигания. Джон Райли открыл дверцу и выпрыгнул наружу, погрузившись в воду по пояс. Малько последовал его примеру. Из остановившегося метра в тридцати от них "мерседеса" выскочили две негритянки в мини-юбках. Амур Мирбале сделала попытку выехать на тротуар, где было меньше воды. Раздалась автоматная очередь. Малько и Джон Райли укрылись за "тойотой". Положение было скверное. Их пистолеты казались игрушками по сравнению с автоматами "фийет-лало". В этот момент Малько заметил "тап-тап", остановившийся метрах в десяти от них, на другом берегу огромной лужи. Малько показал на него Джону Райли. Машина на метр погрузилась в воду, но мотор ее работал. На крыше кабины был установлен деревянный гребень с надписью: "Новое Непорочное Зачатие". Если бы только можно было захватить этот "тап-тап" и развернуть его...

— Надо к нему подобраться! — сказал Малько.

Целясь в "мерседес", он расстрелял всю обойму своего пистолета, чтобы отвлечь "фийет-лало", и почти вплавь бросился к "тап-тапу". Джон Райли последовал за ним. У Малько было впечатление, что он переходит вброд реку. Не сообразив, в чем дело, пассажиры "тап-тапа" со смехом смотрели на двух пловцов.

Догадавшись об их намерениях, Амур Мирбале дала задний ход, чтобы сманеврировать и проехать по той стороне бульвара, где стоял "тап-тап". Однако Малько уже вспрыгнул на его подножку и направил на шофера пистолет.

— Разворачивайтесь — быстро! — приказал он.

Лицо шофера стало мышиного цвета. Он открыл рот, пробормотал что-то нечленораздельное и выпрыгнул из кабины. Джон Райли уже подталкивал Малько в спину. Тот уселся за руль и лихорадочно попытался дать задний ход. Одна из девиц Амур Мирбале выпустила по "тап-тапу" длинную очередь из автомата. Малько услышал крики пассажиров, которые начали выпрыгивать и разбегаться во всех направлениях. Полегчавший "тап-тап", казалось, сейчас поплывет. Малько все-таки развернул его,

и "Новое Непорочное Зачатие" тронулось к своей новой цели. "Мерседес" последовал за ними, в брызгах и пене.

Покачиваясь, как корабль, "тап-тап" набирал скорость. На пути его следования воды было значительно меньше. Малько не спускал глаз с красного здания казино, до которого оставалось примерно полкилометра. Оттуда было лишь сто метров до посольства Соединенных Штатов.

Внезапно "тап-тап" сильно накренился на правый борт. Малько попытался выровнять его, но было уже поздно: колеса попали в наполненную жидкой грязью рытвину. "Тап-тап" забуксовал.

Они снова оказались в отчаянном положении.

Следуя по тротуару вдоль огромной лужи, "мерседес" неумолимо приближался. Малько и Джон Райли выпрыгнули из кабины "тап-тапа" и, шлепая по грязи, побежали через широкий бульвар к переулку, который вел в центральную часть города. Только там, в одном из его жалких домов, можно было спрятаться от "фийет-лало" Амур Мирбале. Они еще не выбрались из лужи грязи, в которой находились по пояс, когда "мерседес" затормозил в двадцати метрах от них. Малько поднял пистолет и нажал на спуск. Раздался зловеющий щелчок: в оружие попала вода. Он услышал радостные крики выскакивающих из "мерседеса" девиц-макутов. Еще секунда — и те расстреляют их в упор, как зайцев.

— Смотрите! — вдруг услышал он хриплое восклицание Джона Райли.

По переулку, к которому они бежали, на бульвар стеной катился грязно-желтый поток. Они инстинктивно прижались к ближайшей кокосовой пальме. Поток вырвался на бульвар, выворачивая камни, унося с собой мусор и ветки деревьев. Обняв пальму, Малько с Джоном Райли затаили дыхание.

Поток мчался прямо на "мерседес"!

Одну из "фийет-лало", уже прицелившуюся в них из автомата, смыло как соломинку. Амур Мирбале успела только приоткрыть дверцу, как "мерседес" приподнялся, несколько секунд проплыл, наподобие плота, затем перевернулся вверх колесами и со всеми своими пассажирками исчез в образовавшемся озере.

Словно удовлетворившись этим результатом, поток стал ослабевать. Хлюпая по грязной воде, Малько и Джон Райли побежали к посольству.

20

Малько тщательно побрился "ремингтоном", смочил лицо лосьоном "Меннен" и постоял перед зеркалом, изу-

чая свое отражение. Его золотистые глаза казались огромными на осунувшемся лице. Он взглянул в окно. После спасительного ливня небо постоянно было безоблачным и ослепительно голубым.

Уже десять дней он, как затворник, жил в этой комнате для гостей американского посольства. Из опасения быть похищенным он не решался выходить даже во двор. Амур Мирбале отделалась переломом руки и по-прежнему жаждала мести. Две ее "фийет-лало" утонули во время наводнения. Не будь Джона Райли, едва завуалированные угрозы гаитян, вероятно, возымели бы свое действие, и Гилпатрик уступил бы их требованиям выдать Малько. Посольство было окружено кордоном тонтон-макутов и несколькими бронетранспортерами. У Джона Райли состоялось бурное объяснение с послом, во время которого он, в частности, заявил, что действовал заодно с Малько и что если этого последнего выдадут гаитянам, он предпочтет разделить его участь. После многочисленных обменов телексами Государственный департамент официально объявил гаитянскому правительству, что Малько представляется политическое убежище.

С тех пор Малько и Джон Райли делили стол и кров в американском посольстве. Гилпатрик с ними едва здоровался.

Уцелевших сообщников Габриэля Жакмеля тонтон-макуты травили, как диких зверей. Труп одного из них, убитого перед воротами посольства при попытке прорваться на его территорию, в назидание непокорным целый день пролежал на раскаленной солнцем улице под охраной тонтон-макутов.

Каждое утро в условленный час Малько звонила Симона, укрываясь в посольстве Доминиканской Республики, расположенном недалеко от гостиницы "Эль-Ранчо". Это стало их ежедневным ритуалом. Разумеется, каждый их разговор прослушивали — и так неловко, что иногда невольно разъединяли. Ее мягкий голос был для него единственной радостью. В его гаитянской аванюре эта женщина занимала особое место. Слушая по телефону ее теплый голос, он забывал о своей временной не Свободе и о том, что, несмотря на небольшую удаленность друг от друга двух посольств — доминиканское находилось в Петъонвиле, а американское — в Порт-о-Пренсе, — между ними лежало расстояние большее, чем между континентами.

Операция "Вон-Вон" заняла свое место в архивах ЦРУ. Постепенно отношения между Соединенными Штатами и Гаити нормализовывались. Оставалась нерешенной только судьба Малько. Официально он считался авантюристом, которому американское посольство пре-

доставило политическое убежище и выдачи которого ежедневно требовали гаитянские власти. Малько знал, что Фрэнк Гилпатрик упорно пытается добиться от Амур Мирбале разрешения на его выезд из страны. Гаитяне требовали за это миллион долларов.

В телефонной трубке раздался щелчок: их разговор с Симоной прервали. Наверное, прослушивавший их тонтон-макут был строгих нравов.

Постучав в дверь, в комнату вошел Гилпатрик. Он обливался потом, но пиджака и галстука не снимал. Привычка: гаитяне придавали большое значение наличию галстука. На официальные церемонии можно было явиться босым, но непременно в галстуке...

Гилпатрик враждебно посмотрел на Малько и коротко сообщил:

— Все в порядке!

Сердце у Малько забилося быстрее.

— Вы хотите сказать...

— В воскресенье вы летите прямым рейсом в Нью-Йорк самолетом авиакомпании "Америкэн Эрлайнз". Гаитяне получат за это шестьсот тысяч ампул противомаларийной вакцины. И мы еще должны будем дать сто тысяч долларов наличными типу, который подпишет необходимые документы.

Малько не верил своим ушам. Он только недавно отправил Александре письмо, в котором предупреждал, что скорее всего проведет на Гаити всю зиму.

— Спасибо, — сказал он. — Это замечательно. Мне очень нравится в вашем посольстве, но в моем замке мне будет лучше...

В комнату вошел Джон Райли. Гилпатрик сразу же направился к двери.

— А Симона? — вдогонку спросил его Малько.

Впрочем, адресуя этот вопрос прежде всего самому себе. Как вывезти ее с Гаити? Над этой задачей он ломал голову все дни своего пребывания в посольстве.

— У меня есть один план, — сказал Джон Райли. — Рискованно, но может выгореть. Во всяком случае, если вы хотите ее вызволить, другого способа просто нет. Суть вот в чем: Симона якобы умирает. Доминиканцы кладут ее в гроб и быстренько договариваются с похоронным бюро о захоронении тела на кладбище в Петьюнвиле. Вместо этого служащие похоронного бюро за маленькую пачку гурдов привозят ее сюда. Мы засовываем гроб в грузовик, который перевозит дипломатический багаж, и вы получаете его в Нью-Йорке.

— А как... — начал Малько.

— Будьте спокойны — я не сумасшедший. Способ про-

стой: она выпьет "конжомбр-зомби" — вудуистское снадобье. Именно с помощью этой штуки деревенские хумганы "фабрикуют" зомби, чтобы произвести впечатление на крестьян. Симону это погрузит в состояние каталепсии. Определить, что она на самом деле жива, будет очень трудно — для этого потребуется серьезное исследование... Ну а потом достаточно будет дать ей соответствующее противоядие. Несколько дней она еще будет находиться в легкой прострации, а затем все придет в норму... Что вы об этом думаете?

Малько пока ничего об этом не думал. Предложение было слишком неожиданным.

— А кто констатирует смерть?

— Врач доминиканского посольства. Он в курсе дела. И макутов на дух не переносит.

— Но есть еще Амур Мирбале. Такая внезапная смерть вызовет у нее подозрение.

Райли лукаво улыбнулся:

— Вовсе нет. Судите сами: Симона узнает о вашем отъезде, в то время как сама она обречена оставаться здесь до скончания века. Она приходит в отчаяние и проглатывает упаковку снотворного. Обычное самоубийство. Ну а поскольку все телефонные разговоры прослушиваются...

Выглядело как будто убедительно. Малько мысленно взвешивал все "за" и "против". Пожалуй, задумано хитро.

— А Симона в курсе? — спросил он.

— Пока еще нет, но скоро будет. Если вы согласитесь. Я все устрою с помощью нескольких надежных друзей.

Малько больше не колебался. Кто не рискует, тот не выигрывает.

— В служащих похоронного бюро вы уверены?

— Абсолютно.

— Ну хорошо, — сказал Малько. — Передайте ей, что я согласен.

* * *

Работникам посольства удалось получить в "Эль-Ранчо" вещи Малько, и перед отъездом с Гаити он снова стал элегантным, облачившись в свой тщательно выглаженный черный костюм из альпаки. Но на душе у него скребли кошки. Он ждал, когда привезут гроб с Симоной. Перед тем как покинуть посольство и вылететь в Нью-Йорк, он хотел своими глазами увидеть ее, убедиться, что все в порядке.

Накануне утром они в последний раз поговорили по телефону. Прибегая к эзопову языку. Как они и дого-

ворились, Симона плакала в телефонную трубку — специально для прослушивающих тонтон-макутов. Ее слова врезались Малько в память.

— Целую вас, — сказала она на прощание. — Надеюсь, мы когда-нибудь снова встретимся...

— И я тоже на это надеюсь, — ответил Малько.

Три часа спустя Симона "покончила с собой". Все вроде бы шло по плану. Гаитянские власти не проявили к этому событию никакого интереса.

Услышав шум мотора, Малько вздрогнул. Перед посольством остановился автофургон. Пульс Малько участился. Трое негров открыли заднюю дверь автофургона и вытащили гроб.

Значит, удалось!

Малько бросился на первый этаж, в кабинет второго секретаря посольства Фрэнка Гилпатрика. Там уже стоял Джон Райли с отверткой в руке. Гроб из красного дерева водрузили на стол. Малько погладил его рукой. Джон Райли приступил к делу, быстро и точно орудуя отверткой. Один за другим винты ложились на стол рядом с гробом. Малько хотелось отодрать крышку ногтями. Он приложил к ней ухо, но ничего не услышал. Один из морских пехотинцев открыл было дверь, но сразу же в шоке захлопнул ее. Среди американских дипломатов некрофилы встречались редко.

Во двор посольства въехал серый "кадиллак". Шофер посигналил.

— Карета подана! — сказал Джон Райли, взглянув в окно.

Его мокрая рубашка прилипла к телу. Он начинал вывинчивать винты отверткой, а Малько затем извлекал их рукой. Наконец скрипнул последний винт...

Они осторожно сняли крышку и положили ее на пол. Малько наклонился над открытым гробом.

Симона лежала на спине со сложенными на груди руками. Ее глаза были закрыты, волосы аккуратно уложены на висках, лицо спокойно. Белое, облегающее платье выгодно подчеркивало стройность ее фигуры. Но из груди молодой женщины торчал длинный стальной гвоздь, окруженный маленьким кровавым ореолом. Тело было еще теплое — смерть наступила всего несколько часов назад. От уложенных в гроб магнолий поднимался пригрозный запах...

— Сволочи! — прошептал сильно побледневший Джон Райли.

Он наклонился к лицу мертвой Симоны, словно надеясь вдохнуть в нее жизнь, потом выпрямился, и на его скулах заиграли желваки.

— Простите меня, — сказал он. — Я не имел права ошибаться.

— Но что означает этот гвоздь? — пробормотал Малько.

Он был как в кошмарном сне. В его ушах еще звучал веселый и теплый голос Симоны. Как эхо вчерашнего разговора. Только эхо. Больше он никогда не услышит этот голос. Ему редко доводилось испытывать перед лицом смерти такое чувство невосполнимой утраты.

— Это еще один обычай вуду, — мрачно ответил Джон Райли. — Когда в деревне здесь кто-нибудь умирает, то, чтобы покойник не превратился в зомби, ему прокалывают сердце.

Нет, обычай тут был ни при чем. Убийца руководствовался совсем другими мотивами. Амур Мирбале догадалась об их плане и нанесла удар. Не без помощи служащих похоронного бюро. Малько смотрел на Симону с бесконечной грустью. Ну что ж, по крайней мере ее смерть была легкой.

В дверь постучали. На пороге снова появился морской пехотинец. В еще большем шоке.

— Господин посол вас ждет! — сообщил он.

— Сейчас идем, — ответил Малько.

Джон Райли схватил его за руку. Глаза у него сверкали от гнева.

— Слушайте, давайте начнем этот гроб взрывчаткой и отправим его макутам!

Малько покачал головой:

— Нет. Она тоже имеет право на покой.

Он наклонился и коснулся губами ее губ. Потом вынул из стоящего на секретере букета одну орхидею и положил ее на грудь Симоны, прикрыв роковой гвоздь.

Это было все, что он мог для нее сделать.

. . .

Сидевший в "кадиллаке" посол встретил его холодно, но посадил рядом с собой. О Симоне он ничего не знал. Их "кадиллак" уже находился в воротах посольства, когда шофер вынужден был притормозить: на пути оказалась какая-то машина. Малько рассеянно посмотрел на нее. Перед капотом "кадиллака" по улице медленно проехал желтый "ламборгини". На долю секунды Малько успел увидеть слегка повернутое к нему тонкое лицо Амур Мирбале.

Она улыбалась.

Питер Устинов

ИГРА В ОСВЕДОМИТЕЛЯ

Как его звали?

Его имя? Так ли уж это важно, если за свою жизнь он сменил столько имен?

И все же, как свойственно многим, ему хотелось выделить из них одно, главное, — ведь человеку нужны корни, а то без корней в жизни как без якоря. Он написал мемуары. Но даже не представил рукопись на заключение компетентным властям, утверждая, что нет властей достаточно компетентных, чтобы выносить суждение о его книге или хотя бы подвергнуть ее цензуре. А раз так — то стоит ли и беспокоиться? Ничего, успеется: вот найдут рукописи после его смерти — одну в столе, другую в банковском сейфе, — тогда-то все к чертям и полыхнет, это уж точно. Мысли о подобной перспективе не раз вызывали у него усмешку, хотя и не без оттенка горечи — он ведь понимал, что его-то здесь уже не будет и наслаждаться запланированным им кавардаком он не сумеет.

Хилари Глэсп — он подписал свою рукопись этим именем, звучащим достаточно фальшиво, чтобы быть настоящим. Отец его, Мервин Глэсп, служил на железной дороге в Сирии, и Хилари непреднамеренно и преждевременно появился на свет в битком набитом зале ожидания какой-то станции на линии Бейрут — Дамаск. Не сумев пережить подобного конфуза и неудобства, мать его вскоре умерла. Предоставленный попечению няnek и сиделок, мальчик куда более бойко владел арабским, чем английским, пока в восемь лет его, как водится, не отправили в Англию в начальную школу.

Хилари не отличался особыми успехами в учебе ни

там, ни позже в частной школе, но свободное владение арабским создавало ему ореол своеобразной исключительности и во время войны просто оказалось бесценным.

— Арабский? Вот ведь дикий язык, а? — Воскликнули, не веря, военные кадровики.

— Ничего особенного, — пожимал плечами Хилари, выдерживая в ответе ту пропорцию спокойной скромности и напористой уверенности в себе, которая и отмечала годы его службы в MI-5*: человек, который, казалось, спал на ходу, неустанно укреплял свои позиции.

Пройдя жесткий и малопривлекательный курс основной подготовки, Хилари был направлен совершенствоваться в разговорном арабском. По большей части он занимался тем, что правил синтаксис и грамматику преподавателю, сперва — тактично, но вскоре — открыто и подчеркнуто. Слишком толковые сотрудники обычно возбуждают подозрительность начальства. Но умение Хилари показать, что он не афиширует себя, быстро снискало ему доверие руководства разведки, как к человеку, своих талантов не выпячивающему, предпочитающему держать их при себе.

Войну он по большей части провел на Ближнем Востоке: болтался в каирских барах, допрашивал арестованных в Палестине, в общем — делал все, что нужно, дабы создать картину предприимчивой, размеренной и устойчивой деятельности. Рисковать он особо не рисковал — это ему никак не улыбалось — но оброс полезными связями со всякими темными людьми, что укрепляло его репутацию, по мере того как годы служебного роста выносили его вверх по служебной лестнице.

После войны Ближний Восток так и остался за ним. Вплоть до самой отставки Хилари то и дело мотался между Лондоном и Бейрутом. Бейрут ему нравился больше — там он был сам себе хозяин, мог по своему усмотрению устраивать себе отдых и по своему же усмотрению стирать грань между отдыхом и службой. Вне поля зрения начальства он мог бесцельно посиживать в кафе, потягивая араку, и проводить вечера в сомнительных ночных клубах под предлогом встреч с агентурой. Лондон же по сравнению с Бейрутом казался клубком интриг, злословия и клеветы. Хилари не питал симпатий абсолютно ни к кому из сослуживцев и куда легче уживался с левантийским крючкотворством, нежели с атмосферой натужной порядочности и деланной любезности своего ведомства. По крайней мере — до отставки.

Отслужив свое, некоторые из его коллег эмигрирова-

* Пятый отдел военной разведки — контрразведка.

ли: кто — в Кению, кто — в Штаты, кто — в Австралию. А один быстренько сочинил автобиографию, чем и вызвал гневное возмущение британского правительства, ответившего целым каскадом юридических мер. Толку от них не оказалось никакого, если не считать неопределенной рекламы, которую они создали злоумышленной книге, — теперь всем, питающим мало-мальский интерес к временам, в которые мы живем, она казалась обязательным чтивом, хотя и близка ни к чему подобному не стояла. Также она подложила изрядную свинью всем остальным отставным шпионам, отсиживавшимся кто в Момбасе, кто в Элгарве, кто где еще со своими недописанными книгами, которым теперь суждено таковыми остаться. А ведь Хилари-то свою книгу дописал, щедро сдобрив рукопись ядом, как садовник кусты — пестицидом. Иногда по вечерам или бессонными ночами Хилари перечитывал главы, меняя кое-где фразы на более отточенные и менее двусмысленные, а затем наконец засыпал безмятежным сном, и на губах его играла тонкая улыбка.

Отставка — всегда вызов для тех, кто считает, что она пришла преждевременно, и Хилари, проживший большую часть жизни так, как будто досрочно вышел на пенсию, стал нервен и суетлив, когда апатия, к которой он ранее старательно стремился, оказалась навязанной ему.

Время от времени он извлекал из потрепанных портфелей старые записные книжки и документы, которые использовал для книги, и перечитывал их имя за именем, как бы проверяя списки запятнанных существ, способных обрести истинное лицо лишь в полумраке.

Имена эти не только воскрешали в памяти эпизоды, вызывавшие то вспышки раздражения, то улыбку, то даже привкус тайны, но и, казалось, звучали теперь заупокойной по утраченным возможностям. Временами Хилари чувствовал себя теннисистом, достигшим вершин успеха преждевременно, на заре истории, когда люди еще носили цвета клуба или страны с бескорыстной гордостью и мололи несусветную чушь насчет того, чтоб не подводить своих и играть только по правилам. Разведка тоже велась по жестким правилам. Требовалось не только действовать порядочно самому, но и ожидать искомой порядочности от других. Но затем, с нашествием духа потребительства и сопутствующей ему продажности, шпион быстро превратился в свободного профессионала, действующего на свободном рынке: одним ухом — к земле, вторым — прислушиваясь, кто больше даст. Сей тлен поразил не только отдельных разведчиков, но и целые разведслужбы. Работая в направлениях, именуемых то дезинформацией, то дестабилизацией, они неизбежно то и дело входили в тес-

нейшие отношения с заклятыми врагами на растущем рынке купли-продажи информации — черной бирже; любой достоверный слух, любая крошка измены колебались в цене в зависимости от конъюнктуры. Каким богачом мог бы стать Хилари, родился он лет на двадцать — даже на десять раньше!

А теперь ему уготована судьба ископаемого, последнего несчастного обломка трагического поколения разведчиков, обреченных жить на зарплату и пенсию, вместо того чтобы обзавестись корпорацией с почтовым ящиком на Каймановых Островах и жить себе в неизвестной роскоши. Его мемуары и стали реакцией на предательство его обществом, эволюционировавшим слишком поздно для блага тех, кто жил по законам и правилам, но прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как люди помоложе падутся на запретных полях.

И, как ни странно, переживаемое недовольство заставляло Хилари и людей его сорта реагировать на падение нравов с невероятным тщеславием. Как жестко судили они о профессионализме и холодном достоинстве их бездоходного прошлого, как поносили они халатность нового клыкастого поколения, неспособного хранить тайну, если предоставлялся случай ее продать. Они относились к современным разведчикам с глубоким сарказмом — и отчаянно им завидовали.

В таком вот странном настроении уселся Хилари однажды вечером перед телевизором посмотреть девятичасовой выпуск новостей. Он плохо спал последнее время, просыпаясь по ночам то от внезапного приступа душевной муки, то от непроизвольной нервной судороги руки или ноги. Иногда ему казалось, что он задыхается, и никак не получалось отогнать от себя это ощущение, дать сердцу успокоиться и продолжать свой обычный терпеливый труд. Хилари мог лишь отнести это все за счет возраста, но в то же время казалось, что это тело его подобным образом выражает потаенное недовольство избранным им образом жизни. Видимо, отставка, повседневная пассивность, бесцельность и несобранность существования — все усугубляло скрытую истерию, прорывающуюся наружу подобными ночными вспышками.

Выпуск новостей начался. Премьер-министр выступила с речью в каком-то северном городке на церемонии открытия яслей, где работающие женщины смогут оставлять младенцев на день. Персонал для яслей набрали из числа безработных, на скорую руку подучив их новым обязанностям на двухнедельных курсах. Младший министр неосторожно раскрыл планы "частичной приватизации" Королевского ВМФ, вызвав тем самым неприязнен-

ную реакцию группы адмиралов, находящихся на пороге отставки, и куда более позитивное отношение со стороны известной компании по производству печенья, объявившей о готовности "принять" для начала какой-нибудь фрегат, но с условием, что в новом названии судна будет отражено имя благодетеля. Снова премьер-министр — получая где-то почетную степень, заявила, что теперь, когда страна вернулась к викторианским ценностям, она должна пойти еще дальше — к ценностям первой елизаветинской эпохи. Премьер-министр также осадил какого-то беспринципного крикуна, вновь напомнив в ответ на его наскоки, что "нельзя подрывать рынок". Министр по делам Короны обвинил радио и телевидение "в ошутимой предвзятости в пользу левых". Применение горчичного газа в усьобице на берегах Евфрата вызвало больше жертв, чем предполагалось. В супермаркете городка Терра Ота, штат Индиана, ветеран вьетнамской войны впал в буйство и застрелил пятнадцать человек, посмотрев удостоенный премии "Оскара" фильм "Буйство" с аналогичным сюжетом.

Хилари наблюдал все это, сохраняя привычную, хорошо усвоенную сардоническую мину и размышляя как об абсурдности всего происходящего, так и о собственном бессилии перед лицом сего ежевечернего потока отбросов из пищеварительного тракта мира. События дня подносились с той зловещей угрюмостью, которая и служит визитной карточкой образцового обозревателя телевидения. Внезапно обозреватель запнулся, а затем заговорил снова, как бы открывая новую тему:

— Как нам только что сообщили, сегодня днем в Лондоне, в Западном Кенсингтоне, взорвалась машина, оставленная на стоянке близ лавки, торгующей ирландским трикотажем. Ранены двое прохожих, кажется, ямайцев, один из них — серьезно. Пока не установлены ни мотивы, ни ответственность за преступление, хотя допустимо считать его делом рук ИРА*, учитывая принадлежность лавки, являвшейся, по-видимому, целью террористического акта.

Типично полицейская логика, типично полицейские поверхностные выводы! Их образ мышления напомнил Хилари о многом, с чем ему приходилось сталкиваться в Лондоне после войны. С чего бы это ИРА взрывать лавку, торгующую свитерами и кофтами? У них что, покрупнее целей не найдется, когда они обзавелись, как известно, современным оружием, способным чуть ли не заменять артиллерию?

* Ирландская Республиканская Армия.

Поддавшись внезапному порыву, Хилари набрал номер крупной лондонской бульварной газеты и попросил соединить его с дежурным редактором. Представившись телефонистке как Абдул Фархаз, он заговорил по-арабски, притворяясь, будто обращается к якобы находившимся в комнате людям: пусть редактор, взяв трубку, услышит сначала, как какие-то арабы треплются друг с другом.

— Хэрри Путнер, дежурный редактор, у телефона.

— Э-э... я насчет бомбы, что рванула в Лондоне.

— Да?

— Так это наша.

— Кто вы?

— Член братства "Мучеников Семнадцатого Сентября".

— Откуда вы говорите?

— Из Бейрута.

— Из Бейрута? Повторите, как вас зовут.

— Нет.

И Хилари повесил трубку. Теперь оставалось лишь ждать. Уколол он осторожно. Интересно, воздействует ли снадобье.

Он хорошо спал ночью, будто часть его мозга снискала желанный покой. При первых лучах рассвета он, как обычно, заварил чашку крепкого чая. Смесь "Русский Караван". Затем включил телевизор.

— Но сначала новости, — объявила веселая девица, непристойно яркая для столь раннего часа. На экране появился обозреватель и немедленно взялся за вчерашнюю тему.

— Не назвавший себя представитель организации, именуемой "Мученики Семнадцатого Сентября", заявил, что вчерашний возмутительный взрыв в Западном Кенсингтоне — дело их рук. Название группы, по всей видимости — палестинской, всплыло впервые, хотя Скотленд-Ярд не исключает и вероятность "утки". Вся история приняла еще более таинственный оборот полчаса назад, когда еще один аноним сообщил по телефону, что бомбу взорвало "Братство Полумесяца" — группа, примыкающая, как считают, к фракции Абу Низаля в Дамаске. Первоначально объектом покушения считалась трикотажная лавка Бита О'Бларни, но сейчас установлено, что взорвавшаяся машина была зарегистрирована на имя Джаффара Бин Азиза, брата заместителя мэра Газы, которого радикальное крыло ООП обвиняет в сотрудничестве с израильскими властями. Представитель ИРА с презрением отверг домыслы о причастности к взрыву его организации. "С чего бы нам взрывать лавку торговца-ирландца, честно

зарабатывающего на жизнь, — заявил один из руководителей боевиков Симус О'Тимоти, — когда кругом пруд пруди британских объектов, занимающихся делом диаметрально противоположным?"

Посмотрев на часы, Хилари позвонил в Бейрут. Говорил он по-арабски.

— Ахмед Кресс на месте?

Хилари ждал. Лицо его оставалось бесстрастным. Затем легкая усмешка тронула губы — на большее проявление шарма Хилари органически не был способен.

— Ахмед Кресс?.. А ты угадай... Нет... Нет, я не араб... Хилари Глэсп.

Буря восторга на дальнем конце провода. Ответив комплиментами на комплименты, Хилари перешел на более серьезный тон.

— Должен признаться, я позвонил не только для того, чтобы возобновить бывшее знакомство. Что это за "Братство Полумесяца"?.. Не можешь по телефону?.. Хорошо, давай так: Фарук Хамзауи причастен? Не можешь сказать?.. Значит, да. Ладно, сменим тему. Не знаешь, что делает в Лондоне Абдул Фархаз?.. Мертв?.. Вот те на — а я его недавно в Сохо видел, у лавки, где продают кускус на вынос, он там обжирался, как всегда. Я, видишь ли, поболтал немного с командером Сидни Маджоном, новым начальником отдела по борьбе с терроризмом, так он просто убежден, что вчерашнее дело отдает Абдулом Фархазом. Но ты все же считаешь, что он мертв?.. В таком случае все равно рад, что тебе позвонил... "Мученики Семнадцатого Сентября" взяли ответственность за взрыв на себя... Может, это какая-то новая группа, отколовшаяся с Фархазом? Нет, ты уверен, что он мертв? Бедняга Абдул. Кто тебе сказал? Фарук Хамзауи?.. Не помнишь?.. А, всем известно... Но ты-то, наверное, знаешь, что бомбу рванули "Мученики Семнадцатого Сентября"?.. Нет, это уже потом, несколько часов спустя. Здешняя полиция убеждена, что Фарук Хамзауи ни при чем... Маджон считает — не его стиль... Ошибается Маджон?.. — Улыбнувшись, Хилари подождал с минуту. И затем заговорил тихо: — Иными словами, "Братство Полумесяца" — это и есть Фарук Хамзауи?.. Да, я сделаю выводы сам... благодарю тебя, друг мой... Нет, сейчас в Бейрут приехать не могу... Не желаю попадать в заложники... Да не только в этом дело, не верю я в посредничество англиканской церкви... До свидания... Да, вот еще что, друг мой, ты уж мне поверь — Абдул Фархаз жив и здоров и находится в Лондоне... Дай мне немного времени, я тебе достану и телефон его, и адрес... Мой телефон? — Хилари на секунду запнулся. Нет, это опасно, в свете возможных контактов Скотленд-Ярда

в Бейруте. Слава богу, в телефонном справочнике он себя указывать не позволил в силу привычки. — Ты слушаешь? 946-2178. Точно. Адьо. — Номер он сочинил на ходу.

Медленно повесив трубку, Хилари задумался, глядя в окно на узкую улицу Сохо, где кудил себе квартиру. Утро выдалось ясным, но солнечные лучи на грязных стенах были едва видны — так сильно их забивали красные неоновые огни рекламы шоу со стриптизом "О-ля-ля" и оздоровительного салона "Воинственная Ева". Хилари вдруг заметил, что портняжная лавка грека А.Агностопулоса прямо напротив его окна внезапно опустела: окна раскрыты, реклама не горит. Старик-хозяин, согбенный над гладильной доской, неважно выглядел последнее время. Какие-то рабочие воздвигали рекламный щит: "Сдается завидное конторское помещение — звонить в агентство "Хэрри Голдхилл и племянник" по такому-то телефону". И Хилари осенило. Проект, грандиозный до смехотворного, развернулся перед его умственным взором. Не шедевр, безусловно, но вполне достойный этап на пути к конечной цели.

Реален ли его замысел или возможен лишь в литературе, где течение времени и ход событий, не говоря уже о совпадениях, выправляются автором в зависимости от требований сюжета? Инициатива в любом бою — более чем половина дела, это Хилари усвоил на опыте. Противнику только и остается, что пытаться ускользающую инициативу перехватить, когда намерения нападающего становятся ясны. Нет, попробовать стоит. Людям, по отдельности, свойственна заразительная медлительность мышления. Объединяясь в коллектив, они эту медлительность лишь увеличивают. Отсюда следует, что на уровне государственном медлительность мышления равнозначна болезни. Злоумышленник-одиночка всегда сохраняет огромное преимущество над сворой преследователей — если только не попадется на ошибку. Такое невезение случилось, но не так уж часто.

Хилари поднял трубку. Инициатива принадлежала ему. Он набрал номер агентства Хэрри Голдхилла и попросил мистера Голдхилла.

Я хочу осведомиться о свободном помещении в доме 88... Да, совершенно верно. А, кстати, что случилось с господином Агностопулосом? Понятно... У него были родственники? Нет, почти не знал, так, однажды отдавал переделать брюки... Да, место это я знаю... Приемная, задняя комната и ключ от туалета, который делится с соседом... И сколько?.. Что-то многовато, не правда ли, учитывая возраст здания... А что, господин Агностопулос столько и платил?.. Да?.. Что ж, поверю вам на слово, гос-

подин Голдхилл... А кто хозяин?... "О-ля-ля!" Корпорация... Понимаю... Часть "О-ля-ля Интернешнл" со штаб-квартирой в Пальма-де-Майорка... Нет, нет, несколько... В любом случае, я не для себя снимаю... Простите?... О, моя фамилия Гуинн... — Хилари быстро пометил "свою" фамилию на блокноте. — Лайонелл... Да, я действую по полномочию фирмы "Сидарекс"... Импорт-Экспорт... Центр в Тунисе... Совершенно верно, была в Ливане, но господин Бутрос Абуссуад эмигрировал в Тунис... А как вы об этом узнали?... А, ясно: "Кедры Ливана" — "Сидарз оф Лебанон" — "Сидарекс"... Совершенно верно... из вас вышел бы хороший детектив, господин Голдхилл... Зачатки культуры? Вы чересчур скромны, сэр. Вы позволите зайти к вам? Сегодня в четыре? Отлично, буду.

Хилари подсчитал свои финансы. Он всю жизнь жил экономно, потому что ему никто никогда ничего не завещал, а гроши, которые он получал в школе на карманные расходы, были в его жизни первой и последней роскошью, которой хватало, чтобы иногда купить шоколадку. Но он удачно помещал деньги даже из своей скромной пенсии и сейчас оказался вполне в состоянии удивить после своей смерти знакомых. Он решил арендовать лавку портного на максимально возможный короткий срок. Если его план не осуществить быстро, то и браться не стоит.

С господином Голдхиллом и пришлось торговаться не из-за денег, а из-за срока аренды. Расстались они, ни о чем определенном не договорившись. Господин Голдхилл заявил, что должен снова переговорить с "О-ля-ля! — Интернешнл", а Хилари ответил, что должен проконсультироваться с "Сидарексом".

Два дня спустя, накануне следующей встречи, Хилари набрал номер Ахмеда Кресса в Бейруте. Голос в трубке звучал так, будто собеседник находился слишком близко, что не создавало ощущения удобства, но звучал странно. Нет, это не голос Ахмеда Кресса.

— А, это ты, Глэсп? Ты дал нам не тот номер.

— Неужто вы думали, что я дам свой?

— Есть же телефонная книга.

— Но меня в ней нет.

— Ясно. Что ж, я рад твоему звонку хотя бы потому, что могу достоверно тебе сообщить, друг мой: Абдул Фархаз мертв и похоронен.

— Откуда ты знаешь?

— Я его застрелил, я и схоронил.

— Фарук Хамзауи?

— Ошибаешься.

— Я узнал твой голос. Вы, значит, с Ахмедом Крессом по одному телефону. Интересно...

Наступило молчание.

— Как поживают мои чтимые "Братья Полумесяца"?

На другом конце повесили трубку.

Что ж, привести кое-кого в Бейруте в смятение не помешает, хотя чего-чего, а смуты там хватает и так.

Минут двадцать спустя Хилари набрал тот же номер.

— Ты знаешь о наших делах слишком много. Берегись, — ответил ему голос его прежнего собеседника.

— Беречься? Это еще с чего? — хмыкнул Хилари. — Знать-то я знаю не так уж много, зато о многом догадываюсь. И, неизменно, поражающе точно. Так что вините себя. И потом, позволь заметить, если я знаю слишком много, то вы — слишком мало. Абдул Фархаз жив и здоров и находится где-то в Лондоне. Мы подробно говорили с ним и о тебе, и о "Полумесяце". По его словам, ты — человек неплохой. Разве что — глуповат и неосторожен...

— Я Абдула Фархаза в упор расстрелял!

— Должно быть, тебе злость глаза застила. Абдул Фархаз даже не ранен. Бороду отпустил.

— Он всегда был выбрит начисто!

— Я спросил его, когда он отпустил бороду. Говорит, полгода назад, когда скрывался у друзей.

— Я пристрелил его две недели назад! Он был чисто выбрит и никогда не скрывался у друзей! — завопил Фарук Хамзауи. — Аллах мне свидетель!

— Бог нам всем свидетель, Фарук, — переключился на благочестивый тон Хилари. — Одно могу сказать, чтобы доказать дружеское расположение к тебе и верность делу "Полумесяца": через две недели я должен добыть адрес Абдула Фархаза. Как добуду — сообщу тебе. А там уж поступай как знаешь. Пока же скажу только, что тебя он презирает и считает опасным грузом для любой организации, какая бы с тобой ни связалась, потому что ты и глуп и болтлив.

В ответ послышался лишь яростный рык.

— Я всего лишь передаю его слова, — размеренно продолжал Хилари. — Считаю это своим долгом. А теперь извини — кто-то звонит в дверь. Возможно, он. — И Хилари повесил трубку.

Довольный собой, он засел за письмо Сидни Маджону, новому начальнику отдела по борьбе с терроризмом.

"Уважаемый Маджон, — писал он, — Вам, может быть, небезынтересно узнать, что взрыв у лавки Бита О'Бларни действительно дело рук "Мучеников Семнадцатого Сентября", группы, с которой мои пути разошлись, ибо я утратил какую бы то ни было склонность

к насилию, после того, как мой брат Али Шамади погиб, оснащая для этой организации бомбы. Я знаю, что сей возмутительный поступок приписало себе "Братство Полумесяца", но это всего лишь блеф со стороны Фарука Хамзауи, самого опасного авантюриста во всем исламском мире, которому не доверяют даже члены его собственного братства. Поверьте — преступник, которого Вы ищете, — не кто иной, как Абдул Фархаз, мой троюродный брат. В настоящее время он скрывается в Англии под именем Мустафы Тамилла. Также он пользуется иногда псевдонимом "Полковник Эль Муайяд". В надежде на его скорый арест,

*Остаюсь и пр.
Ибрагим Шамади".*

Коммандер Маджон получил письмо полтора дня спустя. Судя по штемпелю, письмо было отправлено из Логборо. Хилари приехал на вокзал и сел в первый попавшийся поезд, который оказался поездом до Логборо. Там он пообедал в крохотном ресторанчике, где реклама обещала "Nouvelle cuisine anglaise"*. Новизна заключалась в том, что еды подавали меньше, но брали за нее больше. Хилари успел вернуться в город вовремя, чтобы подписать контракт на аренду конторского помещения для и от имени Бутроса Абуссуада из фирмы "Сидарекс", 121, бульвар Комбатант, Сюрим, Тунис. Хилари же и заверил контракт именем Лайонелла Гуинна, проживавшего по Олд Фордж, 34, Балаклава Крецент, Йовил.

Затем Хилари потратился на скромную дешевую канцелярскую мебель, добавив к ней писчей бумаги, весьма потрепанную пишущую машинку и стэплер**. И прикрепил у входа новехонькую вывеску, гласившую, что вход ведет в офис импортно-экспортной компании "Сидарекс Лимитед" (Великобритания), единственным полномочным представителем коей является Мустафа Тамил. И наложил последний мазок, прикрепив к ручке двери табличку, на которой было напечатано: "Ушел обедать — скоро вернусь".

По взаимной договоренности контракт на аренду заключили на трехмесячный испытательный срок, чтобы господин Абуссуад, болевший в настоящее время, мог потом приехать в Лондон и окончательно санкционировать выбор его представителя. Расплатился Хилари наличными, против чего господин Голдхилл никоим образом не возражал.

* "Новая английская кухня" (фр.).

** Канцелярская принадлежность для сшивания страниц.

Получив таинственное письмо, Маджон тотчас же вызвал инспектора Ховэдэя, который вел дело о взрыве.

Маджон, невысокий человек с жестким, но занятым лицом, рассказал о письме своему собеседнику — долговязому, неуклюжему и лысоватому — за чашкой чая.

— Откуда письмо отправлено — известно?

— Естественно! Разве вы когда-либо получали письма без штемпеля?

— Мог доставить рассылный, — заметил Ховэдэй.

— В таком случае почему вы спросили, известно ли место отправления? — Маджон так же терпеть не мог неряшливость мышления, как Ховэдэй — мелочных придирок.

— Письмо было отправлено из Логборо, — смилостивился над Ховэдэем Маджон. — Нам известно о каких-либо арабах, проживающих в Логборо?

— Нам о лондонских арабах толком ничего неизвестно, а об арабах в Логборо — тем паче. Есть, наверное, обычный контингент.

— Иными словами, никаких предположений у вас нет?

— Пока нет.

— Вы даже не спросили, кем подписано письмо.

— Думал, анонимка.

— Да? А почему?

— Думал, если оно с подписью, так вы мне скажете, с чьей.

Маджон сделал паузу, чтобы дать улечься вспышке раздражения. Затем заглянул в письмо.

— Ибрагим Шамади, — сказал он.

Ховэдэй извлек из кармана клочок бумаги и разгладил его.

— Повторите, пожалуйста.

— Ибрагим Шамади, — повторил Маджон, тщательно выговаривая каждый звук.

— Никогда о таком не слышал.

— А о "Мучениках Семнадцатого Сентября" слышали? Кстати, установлено, что именно произошло семнадцатого сентября?

— Я проводил тщательные изыскания. Привлекались специалисты из лондонского университета и наши арабские источники.

— И что же?

— Ничего. Семнадцатого сентября ничего не было.

— Совсем ничего? Ни акций со стороны израильтян, ни перестрелок, ни дня рождения какого-нибудь завалящего пророка?

— Совсем ничего. Что и наводит меня на мысль: все эти имена и названия абсолютно произвольны, просто с

потолка взяты. Хотят заставить нас поверить, будто их организации больше и многочисленнее, чем нам по зубам. Я и не удивлюсь, если это все одни и те же люди. Если мои предположения верны, то газеты изрядно нам гадают, придавая вес и значимость всем этим разным именам.

— В том числе — и “Братству Полумесяца”?

— Шайке Хамзауи? Хамзауи ведь устанавливали и как члена “Братства Черной Палатки”, и “Воинства Священной Клятвы”, и “Тени Минарета”, и “Голоса Пророка”.

— Понятно. Он остается главным подозреваемым?

— Нет. Он всегда на подозрении, но источник сообщает, что Хамзауи сидит в Ливане и очень напуган.

— Но, кажется, говорили, что он мертв?

— Если верить всему, что говорят, так все уже давно покойники. Говорили, что Хамзауи убил какой-то Абдул Фархаз, но потом Хамзауи сам убил Фархаза, так что нам остается только гадать.

— С ними сам черт ногу сломит, а?

— Это уж точно.

Хилари так хорошо знал склад ума британского чиновника с его аффектацией невежества и вечным стремлением держаться подальше от эмоций и буйства, что мог почти достоверно воспроизвести для себя дебаты в Скотленд-Ярде. Хотя пределов их тупости не вообразил бы и он, считая подобное возможным лишь в карикатурных гротесках. Но тем не менее Хилари прекрасно понимал, над чем сейчас ломает голову Маджон, а посему потратил еще полдня, чтобы написать ему очередное послание.

“Дорогой инспектор. Вы уже поняли, наверное, что в Логборо я почувствовал опасность, посему и перебрался временно в другое место. Я узнал, что Хамзауи раскрыл мой адрес. Из-за предательства двух моих выживших братьев ему стало известно и о моем первом письме к Вам, и он заимел на меня зуб, мягко выражаясь. Надо мной нависла страшная угроза, ибо надежный источник слышал от Хамзауи, что тот лично собирается в Англию, чтобы разделаться со мной и еще одним человеком, куда более весомым в кругах террористов, нежели я. Я, разумеется, имею в виду Абдула Фархаза, проживающего в Англии под именем Мустафы Тамилла, хотя к настоящему моменту он мог сменить его опять. Я буду держать Вас в курсе всего, что узнаю. Мне теперь пути назад нет. Говоря словами старинной пословицы, я оседлал верблюда, теперь придется пересекать пустыню.

Ваш брат Ибрагим”.

Маджон взглянул на штемпель. Письмо опущено в Девизе. Вздохнув, Маджон заказал чаю и вызвал Ховздэя.

И тут вмешался перст судьбы. Выпуски новостей прервались спешным сообщением: иранский дипломат в изгнании, доктор Бани Пал, некогда служивший вторым секретарем в Багдаде, был убит двумя людьми, когда выходил из мужского туалета на Лейчестер-Сквер. Очевидцы показали, что двое смуглых мужчин удирали на мотороллере против движения. Позже брошенный мотороллер обнаружили на автостоянке близ Грик-Стрит.

Хилари не терял времени. Перейдя на другую сторону улицы, он зашел в только что арендованную им контору и позвонил оттуда ночному редактору другой крупной бульварной газеты.

— Алло, — начал он. — Я насчет убийства доктора Бани Пала. — Говорил Хилари с арабским акцентом.

— Слушаю вас, — отрывисто бросил редактор. — Вы что-нибудь об этом знаете?

— Знаю. Бани Пал оказался изменником Делу.

— Какому именно? — спросил редактор, теряясь в догадках.

— Делу Истины! — завопил Хилари.

— Это я понимаю, но я ведь не мусульманин, поэтому имею довольно смутное представление о делах, за которые вы можете бороться. Вы — иранец?

— Нет.

— Значит — араб. Фундаменталист, верно?

— Фундаментальный социалист.

— Я думал, одно с другим никак не совместимо.

— Совместимо до окончательной победы. А там — посмотрим.

— Но какую группу вы представляете?

— Группу "Героев Завета".

— Дайте, я запишу.

— Нет! Если будете писать, наш разговор окончен!

— Не надо, не надо. Скажите, а почему вы позвонили именно нам?

В том, чтобы малость поразвлечься, занимаясь делом, греха нет. Хилари всегда так делал, даже в лучшие свои времена.

— Мы выбрали вашу газету, считая, что ваши вопросы будут глупее обычных. Мы разочарованы.

— Ясно. Не очень лестно, а? Кстати, вы сказали — "мы". А сколько вас?

— Очень интересно, да?

— Вы не скажете?

— Нас — сто миллионов!

— Да нет. Я имею в виду членов вашей группы.

— Нас больше, чем один, и меньше, чем сто миллионов... — Хилари охотно продолжал этот треп, ибо рассчитывал, что редактор уже набросал записку сотруднику позвонить в полицию и установить номер телефона. Риск, конечно, но Хилари решил, что полиции пора подбросить информацию. Однако не все сразу.

— На этом мы разговор закончим, — сказал он.

— Пожалуйста, не вешайте трубку, — взмолился ночной редактор. — Я хочу сделать из этого отменный материал. Прямо на первую полосу. Наш материал привлечет внимание публики и к вам, и к вашей деятельности.

— А тем временем вы послали помощника звонить в полицию, чтобы установить номер моего телефона. Спасибо, дураков нет. Я сам могу назвать наш номер: 177-4230. Удовлетворены?

— Мне ваш номер не нужен, — ответил редактор, и по его голосу было ясно, что он торопливо пишет.

— Я даже назову свое имя, если вы назовете свое.

— Я — Стэнли Бэйлз.

— А я — полковник Эль Муайяд.

И Хилари повесил трубку.

Два часа спустя некто неизвестный позвонил в Скотленд-Ярд и заявил, что ответственность за убийство берет на себя "Братство Полумесяца". Неизвестному объяснили, что он опоздал, ибо на убийство уже предъявили претензию "Герои Завета". Неизвестному это явно не понравилось, и он намекнул, что возможны неприятности. Какие именно, на коммутаторе Скотленд-Ярда не поняли, но немедленно сообщили о звонке Маджону, который, как водится, пил чай с Ховэдзем.

— 177-4230, — сказал он. — Что ж, наконец хоть что-то вырисовывается.

— Нашли этот телефон?

— Да. Автомат в Сохо.

— Далековато и от Логборо, и от Девиза.

— Да. Звонивший назвал себя полковником Муайядом.

— Боюсь, мне это ничего не говорит. По мне -- все их имена на один лад.

— Согласно письму из Логборо, полковник Муайяд — это псевдоним Мустафы Тамила, что, в свою очередь, является псевдонимом...

— Абдула Фархаза?

— Вот именно. Из чего следует, что "Герои Завета" есть не что иное, как "Мученики Семнадцатого Сентября"?

— Совершенно верно.

— А знаете, весьма вероятно, что весь теракт — дело

рук одного или двух человек. Ну вроде как ударник и третья флейта объявляют себя попеременно то оркестром Лондонской Филармонии, то какого-нибудь завода Фодена.

— Хорошее сравнение.

— Что будем делать теперь?

— Я приказал опросить все агентства по найму недвижимости и установить недавние сделки по краткосрочной аренде помещений в районе Оулд Комптон-Стрит. — Он перебрал пачку карточек с названиями агентств. "Джейкс и Джейкс", "Братья Бланкатуана", "Дэмиэн Раскин", "Поул и Ватни", "Хэрри Голдхилл" и прочие. Список арендаторов скоро будет готов. Это нам поможет.

Зазвонил телефон. Телефонистка сообщила, что звонят из Бейрута. Маджон торопливо снял трубку.

— Алло, — раздался осторожный голос, — это главный начальник детективов Миджин?

— Маджон.

— Отдел по борьбе с терроризмом?

— Кто говорит?

— Мое имя вам не известно.

— Хотите пари?

— В любом случае, я намерен заявить самый пылкий протест.

— Как, и вы тоже?

— А что, кто-нибудь еще заявляет пылкий протест?

— Им дай только волю. Кто-то ведь протестовал сегодня утром против того, чтобы отнести убийство на счет "Героев Завета"?

— Ну и правильно.

— А, так вы, значит, Хамзауи?

Наступила пауза.

— Давайте сохранять благоразумие, — взмолился голос в трубке. — Нет, я не Хамзауи. Я — Кресс. Ахмед Кресс. Я занимаюсь связью с общественностью.

— Чем-чем? — Маджон не верил собственным ушам.

— Я представляю тех, кого вы ошибочно именуете нежелательными элементами, — продолжал Кресс. — Борцов за свободу, похитителей людей, вообще — революционеров. Я стремлюсь улучшить их имидж.

— Господи боже! И каким же путем?

— Периодически доказываю, что взятые ими заложники еще живы. Мы рассылает видеозаписи — увы, очень скверного качества, — где заложники говорят, что с ними хорошо обращаются. Но я первый готов признать, что наши записи дают обратный результат, до того плохо они исполнены. Они оставляют впечатление сломленных лю-

дей, произносящих свои заявления под принуждением, а это совсем не так.

— Позвольте мне в этом усомниться.

— Клянусь, положила руку на сердце!

— Стиснув другой рукой горло пленнику?

— Вы меня обижаете.

— Я думал, вы рассердитесь.

— Сержусь не я, я лишь негодную.

— А сердится Хамзауи?

— Вам сообщили?

— Догадался. Хамзауи разъярился, потому что Фархаз приписал себе его подвиги?

— Фархаз мертв.

— Меня информируют иначе.

— Да? — Казалось, Кресс был искренне ошеломлен.

— Чем вы так удивлены?

— Я был на его похоронах.

— Ошибки быть не могло?

— И нам пришлось содержать вдову.

— Вдова опознала труп?

— Там и опознавать было нечего. Хамзауи об этом позаботился.

— У него могли быть причины желать, чтобы Фархаз считался покойником.

— Причины?

— Самообман.

— И вы полагаете...

— Я полагаю, что недавние преступления в Лондоне совершил Фархаз. Его мы и ищем. Его и найдем.

— Клянусь всем, что свято! Какое оскорбление "Братству Полумесца", гордо провозглашающему свою ответственность за эти дела! Неужели вам неясны чувства Хамзауи? Это же все равно что пощечина.

— Уж кому-кому, а ему бы я ее с удовольствием влепил. Сумей я и дать ему по физиономии, и арестовать Фархаза, буду беспрельдно рад.

И Маджон повесил трубку. Так же, как и ранее Хилари, он был доволен, что сумел внести свою лепту в хаос, царящий в среде окопавшихся в Бейруте безумцев.

Вскоре Маджону доложили, что Голдхилл недавно сдал бывшее ателье Агностопулоса какой-то фирме "Сидарекс", зарегистрированной в Тунисе и занимавшейся импортно-экспортными операциями. Подписал контракт некий господин Лайонелл Гуинн, проживавший по Олд Фордж, 34, Балаклава Крещент, Йовил.

Хватило звонка в полицейский участок Йовила, чтобы установить: никакого района Балаклава Крещент там и в помине нет. Следующий звонок — в полицейское управ-

ление Туниса — принес информацию не менее ценную: никакому "Сидарексу" лицензии на торговые операции в Тунисе не выдавались.

— Весьма неосторожно, — буркнул Маджон. — При такой-то злопамятности — ни на грош дальновидности.

Позвонил Ховэдэй из полицейской машины в Сохо.

— Итак?

— Хорошие новости, если их можно таковыми считать. Эксклюзивным представителем "Сидарекса" является Мустафа Тамил. Его имя указано на двери по-английски и по-арабски.

— Есть какие-либо признаки жизни?

— Абсолютно никаких. Дверь заперта и висит записка, что он ушел обедать. Что-то долговато обедает. Какие будут указания? Может, взломать дверь?

— Рано еще. Продолжайте наблюдение. Кстати говоря, "Сидарекс" — компания липовая, а господин Гуинн, подписавший контракт на аренду, всего лишь плод чьего-то воображения.

— Может, Тамила?

— Может, и Тамила.

Из своего окна Хилари заметил полицейскую машину, ставшую поодаль на улице, а также суету у дома 88. Удивительным даром обладала полиция — демонстрировать свое присутствие именно попытками оставаться незаметной. Было в поведении полицейских нечто, нормальным людям несвойственное: в походе, в привычке озираться по сторонам и даже бросать взгляд вверх, прежде чем войти в дверь; в манере поджидать, пока не подойдут остальные; в том, как они пытались уловить движения объектов наблюдения по отражению в стеклах витрин — все выдавало их присутствие.

Момент созрел. Полиция наживку заглотнула. Хилари позвонил в Бейрут. На звонок ответил крайне возбужденный Ахмед Кресс.

— Почему ты не позвонил вчера? Позавчера? А теперь — кто знает? Может быть, уже поздно!

— Да в чем дело?

— Хамзауи совсем озверел! Клянусь, положила руку на сердце! Пусть я рассыплюсь в прах, если преувеличиваю!

— Что произошло?

— Поскольку твоего номера у нас нет, он пал до того, что был вынужден звонить этому заклятому колониалисту Миджину, а тот разговаривает с патерналистской снисходительностью, унижительной для человека столь гордого, как Фарук Хамзауи. Он утверждал, что Фархаз жив и что Скотленд-Ярд считает его куда более опасным, неже-

ли самого Фарука. Ну ты же понимаешь — как такое стерпеть Фаруку Хамзауи, считавшему самым опасным самого себя, да еще со стороны Скотленд-Ярда, который мы все воспитаны уважать благодаря Агате Кристи, Дороти Сейерс и мадам Тюссо?

— Чем я могу помочь?

— Фарук Хамзауи клянется, что лично отправится в Лондон и докопается до правды!

— Где он сейчас?

— Добывает себе сирийский паспорт.

— Могу облегчить ему задачу. Я установил адрес Фархаза.

— Это прекрасно.

Хилари назвал Крессу адрес и псевдоним Мустафы Тамилы, но предупредил, что эти сведения — исключительно для Хамзауи. Их следует держать в тайне, особенно — от полиции.

— Он в таком состоянии, что я ничего не могу гарантировать. Он вполне сейчас способен убить меня или покончить с собой — просто от отчаяния. Он обезумел. Но, может, твои сведения его успокоят. Я живу надеждой. Поверь мне.

— Но он твердо намерен ехать в Лондон?

— Раз он решил, какой паспорт использовать, значит — твердо. У него всегда так. Я лишь надеюсь, что он позвонит до отъезда в аэропорт, иначе...

— Но ему же надо собраться...

— Еще чего! Он любит повторять, что готов сняться с места в любую минуту — в иную страну или в мир иной. Такова судьба борца.

Хилари понял, что настала пора действовать энергично. Психологический момент созрел, и, хотя тонкий расчет был по-прежнему нужен, возникла необходимость и в темпе. Он быстро написал третье — и последнее — письмо Маджону:

"Брат мой,

Поскольку опасность стала также угрожать мне и в Девизе, я опять перебрался в новое место, где легче затеряться в толпе. Хамзауи, человек несомненной отваги, но и опасно непредсказуемый, преисполнен решимости свести счеты с Фархазом, укравшим у него, как он считает, два крупных теракта. Мой источник из долины Бекаа сообщил мне, что группа боевиков уже на пути в Лондон. Хамзауи лично возглавляет ее. По всей вероятности, он въедет в страну по сирийскому паспорту. Прошу, как брата: повремените с захватом убежища Фархаза. Проявив немного терпения, вы сумеете захватить добычу куда более важную, чем проклятый

Абдул, а именно — Фарука Хамзауи и самых отборных его головорезов, под каким бы флагом они ни замыслили это коварство. Как гласит пословица: скорость — доблесть сокола, терпение — доблесть сокольника. Да направит Вас Всевышний.

*Ваш благожелатель.
Ибрагим Шамади"*

— Пожалуй, он прав. И мне понравилось про сокольника, — рассудительно заметил Маджон.

— Письмо опять из Девиза?

— Нет. Эджвер, заметьте себе.

— Эджвер? Смелеет, однако.

— Замечает следы. Спешит. Действие разворачивается настолько стремительно, что уже физически некогда ездить так далеко, как в Логборо или Девиз.

— Вы так считаете?

— Именно так и считаю. И временами сомневаюсь, что письма пишет араб. Уж больно пословицы ненатуральны — будто из "Тысячи и одной ночи".

— Но кто же тогда автор?

— А какая разница? Коль скоро он делает нашу работу за нас, то заслуживает медали.

— С таможенной мы связались?

— Да. Попросили уведомлять нас о всех держателях сирийских паспортов, но никого не задерживать.

— Проследим?

— Естественно.

К концу дня поступило сообщение из Хитроу. Один сирийский паспорт, а также один египетский, один кипрский, один алжирский, один оманский. Все пассажиры делали вид, что ничего общего друг с другом не имеют, пока не прошли таможеню, после чего покинули аэропорт в одной машине, взятой напрокат у Гертца. Машину — "Остин Монтего КРС 217Д" — незаметно "вели" до Вест-Энда, где пассажиры оставили ее на стоянке у Сохо-Сквер. Пятеро пассажиров — четверо мужчин и девушка, все подходившие под примету "смуглые", — зашли в "Библос", ливанский ресторанчик в одном из закутков Сохо, где ублажали тоску по только что оставленному дому, явно ожидая наступления ночи.

Возбуждение, охватившее Хилари, напомнило ему о тех редких минутах волнения, что выпадали в период былой службы. Сидя у окна в затемненной комнате, он смаковал напряжение, от которого сводило желудок. Вряд ли у Нерона было лучшее место в Колизее, чем эта Королевская ложа с видом на им же самим созданную сцену. Пока еще на сцене было темно, но, если все пойдет так,

как по его замыслу должно было пойти, она скоро загудит как улей, и гладиаторы сойдутся в смертельной схватке исключительно для его собственного развлечения. Оставалось лишь ждать, когда поднимется занавес.

Он предавался своим мыслям, сидя у окна, и прохладный вечерний ветерок ласкал ему щеки, от чего он ощущал свежесть, как после бритья. Месть. Вот что послужило мотивом его поступка, решил он.

Случалось, наверное, всем этим отставной козы барабанщикам в их бунгалд и коттеджах испытывать подобные порывы, но мало у кого из них нашлось бы решимости, фантазии, да и просто ума, разработать план, на деле осуществить его. Да, конечно, вышла книга, и даже не одна, но писали-то их не бывшие оперативники, а самозванные эксперты с обочины мира разведки, эти оракулы, к которым в драматические моменты обращались за толкованиями второсортные газеты и которые обеспечивали себе приличное существование претензиями на познания в области, полной правды, о которой не ведал никто.

Заядлые любители чтения, особенно такого, где вымысел тонко драпировался под факт, всегда считают разведывательное сообщество практически непогрешимым. Да, конечно, ошибки случаются, так ведь все мы люди. В целом же, однако, разведку считают квинтэссенцией всего, что соединяет отвагу и интеллект. Но Хилари-то знал всему этому цену.

Ему и по сей день было неприятно вспоминать об одном вызове к сэру Обри Уилкетту, начальнику MI-5 в пятидесятые годы.

— Поедете в Персию, — приказал сэр Обри: — Вам предстоит приложить свои несомненные таланты для содействия дестабилизации правительства доктора Моссадыка. Вы, безусловно, знакомы с положением дел не хуже меня.

— Насколько мне известно, иранцы стремятся избавиться от британских нефтедобывающих компаний.

— Кто пытается? — прорычал сэр Обри, заподозрив, будто упустил нечто важное в анализе ситуации.

— Иранцы.

— Это еще кто такие?

— Раньше их называли персами.

— Называли? Называли? Вот что, молодой человек! Что до меня, то они как были всегда персами, так ими и будут! Меня мутит от их вечных попыток все запутать! Что за бред — пытаться изменить название нации после стольких эпох истории? Спрашивается, у моей жены, что — тайландская кошка? Нет, сэр! Никоим образом! Сиамская! Таковой она и останется до естественного кон-

ца своих дней. А у моей матери — да, у меня еще есть мать, ей девяносто шесть, благослови ее боже, у нее что — бейджинская болонка? Для меня — никоим образом. Пекинская! На редкость, надо сказать, противная тварь, так ей еще и непроизносимое имя надо присобачить?

Хилари пытался возразить, что он не самый идеальный кандидат для выполнения данного задания, поскольку не знает ни слова по-персидски. Сэр Обри отмахнулся от возражений жестом вялым, но непреклонным.

— А, бросьте, вы же специалист по той части света.

Удивительна способность британцев делить мир на неопределенные части, когда требуется глобальное его видение — части, соединяющие факторы абсолютно несоединимые, чужеродные, явно требующие полицейского контроля и иного вмешательства, что очевидно каждому мало-мальски опытному человеку.

Сэр Обри считал доктора Моссадыка старым придурком в пижаме, который заболел каждый раз, когда не мог сыскать надежного аргумента. Хилари же, на личность которого наложило невидимый и неизгладимый отпечаток обстоятельство рождения на железнодорожном вокзале “в той части света”, был склонен считать Моссадыка фигурой героической, стремившейся избавить родину от иностранного засилья. Прежде чем Хилари успел причинить какой-либо ущерб, его арестовали — и вовсе не только потому, что он не знал языка, но, безусловно, потому, что в глубине души ему совсем не хотелось применять свои профессиональные таланты для исполнения полученных им гнусных приказов. Хилари провел две отвратительные недели в иранской тюрьме, в одной камере с американским разведчиком, попавшим при аналогичных обстоятельствах. Американец так ярко и пылко демонстрировал патриотизм, будто считал Хилари “наседкой”, посаженной для его проверки. Потом Хилари отпустили домой.

— Не повезло, — резюмировал сэр Орби, который расценил провал как спортивную неудачу.

Затем Хилари направили в Египет подстрекать египтян против полковника Насера накануне англо-франко-израильского сговора о Суэцком канале. Для выполнения этого задания он подходил еще меньше — как ни странно, именно потому, что знал язык и ясно сознавал всю низость провокации. Хилари не мог не понять стремления угнетенных и меньшинств к самоопределению. В известном смысле он и сам по себе являлся отдельным меньшинством. Он вырос на улицах арабских городов, память о первых забавах детства хранила образы веселых вопящих мальчишек; да он и сам был полон их бурной кипу-

чей энергией, пока его не загнали в рамки тихой благопристойности, объяснив, что там он — дома.

Теперь его вынуждали стать одним из мелких проводников слепой ненависти Идена к полковнику Насеру, а он упирался, словно капризничающий ребенок. И ничто, пожалуй, не отточило так образа мыслей Хилари, заставив осознать причину и корни душевного смятения, как события на Суэцком канале. Многим выдающимся людям случалось уходить из парламента в отставку, потому что их ловили на лжи. Иден же был возведен в пэры, после того как его откровенная ложь парламенту имела катастрофические последствия и для его правительства, и для него самого. Ложь о личной жизни оказывалась более заслуживавшей осуждения, нежели ложь о жизни политической, даже если результатом ее являлась гибель многих невинных людей. С тех пор как практика завоеваний вошла в ранг государственной политики, колониальные державы были повинны в актах терроризма, таких, как расстрелы в назидание другим и произвольное уничтожение деревень. Сегодня же, однако, терроризмом, похоже, считаются лишь проявления озлобленности ума, достигающие кульминации то взятием заложников, то минированием машин, то подбрасыванием чемоданов со взрывчаткой в общественные места. В конечном счете все эти действия бесперспективны и отличаются друг от друга лишь размахом. Так же, как слово "демократия" широко применяется сегодня самыми различными политическими течениями для обозначения самых различных социальных структур, так и терроризм служил инструментом репрессий еще на заре первых территориальных захватов. Заложников брали и задолго до того, как Ричард Львиное Сердце томился в темнице, ожидая, пока за него заплатят выкуп. Невинных людей истребляли с незапамятных времен, и по сей день мужчины, женщины и дети гибнут не потому, что в чем-то виноваты, но в назидание остальным. В постоянный шок от подобных вещей приходят лишь те, кто несведущ в истории, либо лицемерные знатоки. Таких мелких стандартов, как двойные, вообще не бывает. Стандарты изменчивы, словно погода, и заслуживают своей собственной шкалы измерений с учетом местных условий, преобладающих предрассудков, колебаний климата и прецедентов.

В Хилари приверженности подобным ценностям не предполагалось. Ничто в полученном им воспитании не должно было явиться фактором в выработке столь индивидуального восприятия природы вещей. Сформировали его обособленность обстоятельства рождения на железнодорожной станции — подобные обстоятельства бывают

куда более опасными для душевного равновесия, нежели любые другие.

Очнуться от дум Хилари заставил свет, вспыхнувший в офисе "Сидарекса". Но только он увидел человека в капюшоне, ворвавшегося в поле зрения с абсолютно излишней яростью и сгребшего со стола груды ничего не значивших бумаг, как кто-то коротко и резко пробарабанил по его собственной двери. Хилари недовольно встрепенулся, словно человек, внезапно разбуженный от глубокого сна, и, спотыкаясь в темноте о мебель, направился к двери, чтобы пресечь эту попытку беспокоить его.

— Кто там? — крикнул он гневно.

— Полиция, — последовал ответ.

На Хилари пахнуло ледяным дыханием реального мира.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Откройте дверь.

Оглянувшись на окно и отметив, что свет погас снова, он осторожно отворил дверь. Не могли же они выскользнуть из ловушки?

На пороге стояли двое, облаченные в гротескные доспехи современного боя, напоминавшие лунный скафандр. В руках они сжимали автоматы, в их позах читалась заученная способность действовать мгновенно.

— Нам нужно ваше окно. Срочно.

Вот этого Хилари не предвидел. Теперь придется импровизировать, и импровизировать убедительно. Полицейские прошли в комнату. Один из них остановился и спросил подозрительно:

— А что это вы в темноте сидите, а?

— Привычка.

Второй полисмен занял позицию у окна.

— Вот окно, гляди, Джефф.

— Света не зажигать ни в коем разе, — предостерег Джефф Хилари.

— И не собираюсь, — ответил тот. — Я хотел вызвать полицию. Там происходит что-то подозрительное. Какие-то люди в масках.

— Заметили их, значит, да? — спросил Джефф.

— Пока мы поднимались, — добавил второй.

— Заметил. Одного, по меньшей мере.

Наступило молчание.

— Говорите, полицию звать хотели, а нас вроде как впускать не спешили, — сказал Джефф.

— Видите ли, это не моя квартира. Владелец уехал. Любезно предоставил ее мне. Я здесь не хозяин.

— Кто вы такой будете?

Хилари никак не улыбалось попасть от них в зависимость.

— Я — полковник Крисп.

— Прошу прощения, сэр, — пробормотал Джефф. — Вы прошли б в соседнюю комнату, сэр.

— Мне не привыкать быть под огнем, — хрипло ответил Хилари.

— Оно и видно, сэр. Но вы ж понимаете — тогда лучше лечь на пол.

— Отнюдь. Это смотря какого огня ожидать.

— Они — народ отпетый, — вставил второй полицейский.

— Никак арабы?

— Насколько нам известно, да.

Снова наступило молчание. Полицейские присматривались к цели.

— А кто хозяин?

— Мой друг. Милейший человек — Хилари Глэсп. Вот пожалеет, что пропустил такое. Спец по Ближнему Востоку. Как раз сейчас в Америке лекции по нему читает. Вот юмор-то!

Стены квартиры в доме напротив осветил луч фонаря.

— Слава богу, они еще там, — пробормотал Хилари.

— Почему, сэр? — поинтересовался Джефф.

— Разве не ясно? — Хилари даже не потрудился скрыть раздражение. — Выпусти их полиция оттуда — и не избежать уличного боя, при котором могут пострадать невинные. Нельзя их выпускать, это все равно что дать растечься заразе.

— Улица оцеплена.

— Но здесь живут люди. Случись что сейчас — и все полезут к дверям и окнам именно потому, что она оцеплена. Народ же любопытный до чертиков...

Слова Хилари перебил одиночный выстрел.

Напрягшись, Джефф медленно привинтил какую-то чашечку на ствол автомата.

Автоматная очередь хлестнула по улице из окна "Сидарекса". Донеслись вскрики — такие обрывистые, что и не понять, где кричали. В рации Джеффа внезапно затрещал чей-то голос.

Джефф выстрелил гранату со слезоточивым газом. Выстрел поразил цель. Снова крики, ругательства и женский вопль. А затем — кашель.

Пальба усиливалась, а в рации все трещал голос.

— Давай! — скомандовал вдруг Джефф.

И оба полицейских открыли огонь из окна Хилари по затемненному офису на другой стороне улицы.

— Может, удадем, если повезет, — буркнул Джефф.

Ответный огонь обрушился на комнату Хилари, пули крошили ее убранство, сбивали картины, впивались в стены.

— Вас не задело, сэр? — кричал Джефф.

— Почему не стреляете? — кричал Хилари. — Огонь!

Он был просто неподобен в роли разъяренного полковника Криспа.

Джефф и его напарник делали, как сказано, пока голос в рации не завопил вовсю.

— Прекратить огонь! — командовал Джефф.

Внезапно наступила тишина.

Затем на другой стороне вспыхнул свет. Лампочка чудом уцелела. В ее бледных лучах появился полицейский. Он смотрел под ноги и шел очень осторожно.

— Все кончено, — объявил Джефф. — Можно зажигать свет, сэр.

Хилари щелкнул выключателем. Безрезультатно. Под его подошвами скрипело битое стекло.

— Сшибли мне лампочку, — прорычал Хилари. — А вы им — нет.

— Зато мы их сшибли, — возразил Джефф. — А они нас — нет.

— Что да, то да, — согласился Хилари. Крисп ведь был не болван, но просто человек действия. Практически мыслящий человек.

— Платить за это все кто будет?

— Акт составят, рапорт подадут.

— И жди потом черт-те сколько! Просто не представляю, как я все это скажу Глэспу.

— Будут приняты соответствующие меры.

— Соответствующие чему?

— Ну, вы же понимаете, сэр. Соответствующие. Как положено. Выпала сегодня невезуха господину Глэспу, это уж точно.

— Ну-ну. — Хилари позволил себе подпустить в голос смешливую нотку. — Хотя, если подумать, Глэсп ведь расстроится, что пропустил потеху.

— Потеху?

— А то нет!

Снайперы ушли, отказавшись от не очень настойчивого приглашения выпить чаю, и Хилари остался один. Он принес с кухни стремянку и запасную лампочку, затем зажег свечу, которую держал на всякий случай. Неровный и печальный язычок пламени осветил выщербленные пулями стены и потолок, с которого местами осыпалась штукатурка, две сорванные автоматной очередью со стен картины, разбитый торшер у камина. Комнате изрядно досталось.

Занятное, что и говорить, вышло дело, но отнюдь не так, как он планировал. И следа не осталось от олимпийского спокойствия, с которым Хилари намеревался дергать за веревочки, заставляя марионеток развлекать исключительно его самого. Пришлось делить Королевскую ложу с незванными гостями, да еще нежданно-негаданно подставляться под пули. А теперь изволь заниматься страховкой и всей прочей тягомотиной. Пора было срочно избавляться от полковника Криспа и вернуть в изувеченный дом ошеломленного Хилари.

Его вдруг потянуло уйти отсюда, пусть хоть в кино, лишь бы отключиться. Передышка позволит вновь заработать вдохновению, освободив его от пут раздумий о событиях, навалившихся столь удушающим грузом. Он, вообще-то, не любил кино — разве чтобы время убить. Мораль древних законов, по которым добродетель вознаграждалась, а порок карался по заслугам, казалась ему столь нежизненной, что могла даже отвратить от нее ту таинственную семью, которой кино и стремилось угодить, рисуя мир, совершенно ненормальный для окружающей нас печальной действительности. Деланный оптимизм казался Хилари чуть ли не чем-то непристойным. Да и недавние события никак уж не добавили красок в его восприятие, а уж розовых — тем паче. Нет, просто необходимо было дать себе передышку. Задув свечу, Хилари собрался уходить. Улица все еще была оцеплена, кругом стояли полицейские. Ну, ничего, решил Хилари, уже стемнело, можно рискнуть. Подойдя к двери, он посмотрел в глазок. В полутемном коридоре болтался какой-то тип. Хилари заметил его, потому что тот курил.

— Кто там? — В голосе Хилари звучало раздражение.

— Эрни Баск. — И человек назвал газету, которой Хилари передал первое сообщение от имени "Мучеников Семнадцатого Сентября".

— Что вам нужно?

— Заснять следы перестрелки.

— Это невозможно.

— Так, по-вашему, общественность не заслуживает права знать?

— К чертям общественность. И вы катитесь к чертям. Тоже мне — представитель общественности нашелся.

— А вы кто? Господин Глэсп?

— Нет! — Хилари в отчаянии зажмурился. Куда теперь девать полковника Криспа? — Если вам так уж необходимо знать — я друг господина Глэспа. И впустить вас в квартиру без его позволения не могу.

— Когда он вернется?

- Не могу сказать.
- Ему известно, что произошло?
- Да, я сумел с ним связаться.
- А где он?
- Был в Америке.
- И сейчас еще там?
- А вам-то до этого что?

— Подробности для статьи нужны.

— Послушайте, оставьте вы меня в покое. Вы нарушаете неприкосновенность личной жизни, ясно вам? Будьте любезны удалиться отсюда.

— Не впустите, значит?

— Не впущу. И не выйду.

— Да что вы упираетесь?

Долго объяснять. Привык к уединению.

— Можно это процитировать?

— У вас еще хватает наглости спрашивать! Все равно же придумаете, что захотите, как всегда

Собеседник Хилари чуть заметно вздрогнул.

— Не без того, конечно, но если бы такие, как вы, нам помогали, то и без выдумок бы обошлись.

— Уходите, или я вызову полицию.

— Полиция мне все и рассказала. А вы, говорят, полковник то ли Криппс, то ли Крисп.

— Почему тогда вы спрашивали, не Глэсп ли я?

— Так на двери написано.

— Спокойной ночи.

Может, передумаете?

Даже не потрудившись ответить, Хилари закрыл дверь на двойной засов и вернулся в неосвещенную комнату. Чего-чего, а в газеты ему попадать никак было нельзя. Он живо представил себе, как фотография попадает на глаза господину Голдхиллу и как тот сообщает в полицию, что на фотографии изображен Лайонелл Гуинн, арендовавший помещение по поручению фирмы "Сидарекс". Нет, таких ошибок он сейчас позволить себе не мог. Мысль о кино придется оставить до тех пор, пока битву в Сохо не вытеснят из заголовков иные новости. Задержав на кухне шторы, Хилари разогрел жестянку макарон с сыром. Ничто не вызывает такого аппетита, как противоборство. Оказаться пленником в собственном доме — что за невыносимое падение с вершин эйфории. Нежданно-негаданно он был вынужден перейти к обороне, даже близко к окнам подходить не решался, опасаясь, как бы на них не глядели из тьмы ночной потаенные объективы фотокамер.

Хилари нервно съел свой скудный ужин, оставил тарелку и вилку в мойке и удалился в спальню. Там он тоже

плотно задернул шторы, прежде чем зажечь свет, включил маленький переносной телевизор, настроил антенну и стал ждать выпуска новостей.

Новости, разумеется, сфокусировались вокруг событий этого вечера. Меловые линии, которыми пометили пятна крови на тротуаре, наглядно воскресили жуткие аспекты боя, о которых Хилари и не думал. Кадры, показывающие, как увозят в больницу раненого араба, сменились записью короткого интервью с Маджоном. Операция подавалась как большой успех отдела по борьбе с терроризмом и восхвалялась премьер-министром как "новый активный этап в борьбе Британии с терроризмом и пример другим странам".

Грохнув кулаком по ночному столу, Хилари завопил. Да это все равно что украсть его авторское право, объявить своим заслуженный им праздник иронии, уничижительного жеста. Да как же смеет самодовольная и сытая верхушка приписывать себе авторство столь точного и безупречного плана, выверенного, как железнодорожное расписание. (Вот бы отец им гордился!) Но ведь и смысл-то весь заключался в тайне, соблюдаемой когда по причинам теоретическим, когда — прагматическим, но неизменно собственной и мудрой. Разве не показала она, на что способен человек, действующий сам по себе. Совсем не то, что провалы в Египте и Иране (пардон — в Персии) по вине тупиц-начальников!

Задели же Хилари за живое слова о "примере другим странам". Примером-то был он, и никто иной, однако приходилось оставаться в неизвестности, абсолютно неприметным, словно служащий бензоколонки, заправивший машину, пока сидевшие в ней знатные господа болтали, даже не заметив его существования. Весь вечер всплески бурного возмущения сменялись у него приступами апатии и ощущения собственного бессилия.

Он так и проснулся, сидя в кресле, в очках, с зажженным светом, горевшим с вечера. Видно, уснул, когда не мог больше справиться с потоком противоречивых мыслей. Сон облегчал лучше, чем кино, и обходился дешевле. Вот и новый день настал. Чей же образ выбрать ему сегодня из обширного списка действующих лиц, созданных им для задуманной драмы? Решить он не успел — позвонили в дверь. Хилари посмотрел на часы. Десятый час. Так долго он спал лишь в тюрьме в Тегеране. Подойдя к двери, Хилари снял очки и посмотрел в глазок. Кажется, там были двое, но хорошо было видно лишь одного. На журналиста, допекавшего его вчера, он не походил.

— Кто там? — выкрикнул Хилари.

— Полковник Крисп?

Как ему следует отвечать?

— Кто там? — повторил он отрывисто.

— Полиция, сэр.

У Хилари сжался желудок.

— Кто вас знает, действительно вы из полиции или нет?

— Возьмите дверь на цепочку, сэр, и я просуну вам удостоверение.

Предложение звучало вполне разумно. Хилари так и сделал. Он окинул взглядом удостоверение, просунутое ему в щель. Маджон?

Отворив, Хилари отступил в холл, пропуская Маджона в квартиру и избегая встречаться с ним взглядом. Вслед за Маджоном вошел Ховэдэй, закрыв за собой дверь.

— Да, ничего себе погромчик, — заметил Маджон. — Вряд ли ваша страховка предусматривала подобный ущерб.

— Нет, конечно. В Сохо случаются буйные стычки, но в них лишь постреливают, а не палят.

Маджон представился сам и представил Ховэдэя.

— Разумеется, вам полагается определенная компенсация. В конце концов, ответный огонь по вашей квартире спровоцировало присутствие в ней полиции.

— Верно. Очень любезно с вашей стороны, что вы напомнили об этом сами, Маджон, избавив от подобной необходимости меня.

— У нас не принято ни уклоняться от ответственности, ни выторговывать лишние очки. Как докладывали мои люди, вы проявили исключительное мужество и хладнокровие.

— Благодарю вас, вы очень любезны, — пробормотал Хилари. И добавил чуть погодя: — Какое чудесное слово — "хладнокровие".

— За все годы службы мне не часто доводилось его использовать.

Итак, ему достались комплименты и обещалось возмещение убытков. Но оставаться и далее полковником Криспом было, безусловно, опасно.

— Где господин Глэсп? — спросил Маджон.

— Глэсп? Почему вы спрашиваете?

— Складывается впечатление, что вас очень огорчил причиненный комнате ущерб. Так реагировал бы ее хозяин. Должно быть, вы очень близки с Глэспом.

Хилари решил на отчаянный шаг. В конце концов, уж полиция-то понимает, почему иной раз приходится притворяться кем-то другим.

— Мы с Глэспом куда более близки, нежели вы полагаете.

— Да? Готов биться об заклад, что вы и есть Глэсп.

— Почему?

— В списках личного состава нет никакого полковника Криспа. Есть лишь майор Крисп, инвалид, проживает в Сингапуре. Отставник. Секретарь местного стрелкового клуба.

— Назовись я Смитом, это дало бы мне определенные преимущества, — улыбнулся Хилари.

— Отнюдь, — Маджон не был очень расположен улыбаться в ответ. — Смит сразу же вызывает подозрения. Крисп — нет.

— Что ж, теперь вы знаете.

— Почему вы назвались чужим именем? Это у вас привычка такая? Или болезнь?

— Я не хотел пускать к себе в дом полицию, но, коль уж пришлось, решил обеспечить себе известный авторитет.

— Разумно, — одобрил Маджон. — В чем вы и преуспели. Очень впечатлили моих ребят. Один сказал даже, что таких теперь больше не бывает.

— Похоже, он далеко пойдет.

Маджон выдержал долгую паузу. Затем улыбнулся, и в улыбке его проскользнула ирония.

— Кто же вы сейчас? Глэсп или Крисп?

— Глэсп, — резко ответил Хилари.

Маджон прошелся по комнате, разглядывая обстановку.

— До выхода на пенсию вы служили в британской разведке?

— Я не могу говорить о своем прошлом.

— Вот как?

— Разве не ясно? Коль скоро мне не разрешено о нем писать — как сделали некоторые другие, — то и говорить о нем мне нельзя.

— Вы правы. Я не подумал об этом.

— Мне предписано все время об этом думать.

— То есть?

— Правительство весьма ревностно оберегает свои секреты и прежде всего держит в секрете то, что никаких секретов давно не осталось.

— Я, кажется, улавливаю отзвук недовольства в ваших словах.

— Всего лишь отзвук?

Снова наступило молчание.

— Вы владеете арабским.

— Арабским.

— Я знаю, — дружелюбно улыбнулся Маджон.

— Проверяли, знаю ли я?

— Вы служили в том регионе? В войну и после войны?

Молчание Хилари означало, что, по его мнению, подобные сведения подпадают под действие Закона об охране государственной тайны. Сев на стул, Маджон подал знак Ховэдэю. Тот протянул ему какой-то список. Маджон быстро пробежал список глазами.

На лице Хилари застыла бесстрастная маска.

— Вам говорит что-либо имя Фарука Хамзауи?

— ...

— А имя Абдула Фархаза? Надеюсь, я правильно выговариваю?

— ...

— Есть ли у вас друзья среди "Мучеников Семнадцатого Сентября"?

— ...

— Знаете ли вы кого-нибудь в Девизе?

— ...

— О чем вам разрешается говорить?

— Спросите премьер-министра. Я не хочу сделать неверный шаг. Это по нынешним временам опасно.

Маджон улыбнулся снова.

— Уважаю человека, знающего в своем деле толк. Вернее — знавшего в своем деле толк.

— Жаль, что не могу ответить на комплимент комплиментом.

— То есть?

Подготовились-то вы изрядно, не отрицаю. Помоему — так даже чересчур. Но — если позволите высказать замечание — полиции вряд ли стоит выкладывать все свои карты на стол сразу.

— А с чего вы взяли, что я выложил все свои карты? — очень тихо спросил Маджон.

В это время позвонили в дверь.

— Как по заказу, — заметил Маджон. — Жуть, да и только.

Ховэдэй молча кивнул.

— Откройте им, Ховэдэй, будьте любезны. Сдается мне, господину Глэспу открывать не хочется. Он может снова впасть в искушение стать полковником Криспом, тогда хлопот не оберешься.

Хилари подался к двери, но Ховэдэй опередил его.

— Что вы себе позволяете...

Ховэдэй впустил в квартиру господина Голдхилла.

— Это он! — вскрикнул Голдхилл.

— Кто — "он"? — спросил Маджон.

— Лайонелл Гуинн.

— Лайонелл Гуинн? — в деланном изумлении воскликнул Маджон. — Неужто тот самый Лайонелл Гуинн,

что проживает по адресу Оулд Фордж, 34, Балаклава Крещент, Йовил?

— Он указал этот адрес? — спросил Голдхилл. — Я так, с ходу, не вспомню.

— Его это адрес, его. Адрес дома Лайонелла Гуинна. И гости в его доме живут: некто полковник Крисп, некто Хилари Глэсп и некий милый юный иностранный джентльмен, господин Ибрагим Шамади, — сказал Маджон.

— Похоже — араб, — заключил Голдхилл.

— Араб и есть.

— Господи, да здесь же все разнесли вдребезги! — воскликнул Голдхилл, лишь сейчас заметив выщербленные пулями стены. — Уж не здесь ли... О, боже! А кому принадлежат строения по этой стороне улицы?

— Моя квартира принадлежит мне, — сказал Хилари.

— Почему вы тогда указали адрес в Йовиле? Да и где это — Йовил? Он вообще существует? — спросил Голдхилл.

— Двоих следователей вполне достаточно для этого дела, господин Голдхилл, — остановил его Маджон. — И мне не хотелось бы смущать господина Глэспа далее, заставляя его думать, будто он подвергается перекрестному допросу. Я всего лишь просил вас заехать сюда сегодня в удобное для вас время, чтобы удостоверить личность господина... этого господина.

— Никаких сомнений: это — господин Гуинн, что я и готов засвидетельствовать в любом суде.

— О, в этом никакой необходимости не будет, — поспешил заверить его Маджон. — Этот господин ничего предосудительного не сделал.

— В таком случае — кто же тогда Глэсп? — удивился Голдхилл.

— Долго объяснять.

— Но на двери написано: "Глэсп".

— Естественно.

— Так Глэсп — Гуинн?

— И, несомненно, наоборот.

Голдхилл присвистнул, к чему явно питал склонность.

После затянувшейся паузы Маджон сумел наконец проводить Хэрри Голдхилла обратно в его контору.

Затем заговорил Хилари. Голос его звучал мягко и вопрошающе:

— Вы сказали, что ничего предосудительного я не сделал...

— Если мои предположения справедливы, то вы осуществили почти безупречную полицейскую операцию, постоянно балансируя на грани законного, как подобные операции и должны проводиться. Вы действовали более

рискованно, чем могли бы себе позволить мы. Установленный распорядок не оставляет места воображению.

— Шеф даже говорил в ходе следствия, что представил бы к награде того, кто все это рассчитал и соорудил, — внезапно вставил Ховздэй, намеренно демонстративно сбросив личину раболепного подчиненного.

— Я действительно так считаю, — подтвердил Маджон.

“Рассчитал и соорудил” — эти слова пришлись Хилари по вкусу. Они отражали все тончайшее мастерство, необходимое, чтобы создать нужную ситуацию; всю глубинную познания человеческой натуры, требуемую, чтобы безошибочно подобрать наживку; умение дозировать информацию; всю отработанность движений в подобного рода корриде. Хилари охватили теплые чувства к этому человеку, вернее — к ним обоим.

— Вы заслуживаете откровенных ответов на свои вопросы.

— Может, и заслуживаю, но, в общем-то, они мне и не нужны, — ответил Маджон и разгладил рукой блокнот, который вытащил из кармана. — Скажите, прав ли я. Мы должны возместить вам причиненный квартире ущерб. Это ясно. Но, кроме того, были ведь весьма дорогостоящие телефонные переговоры с Бейрутом?

— Такие переговоры действительно имели место, — подтвердил Хилари, — но, поскольку не в моих интересах было оставлять следы, и поскольку звонил я с разных телефонов, я и понятия не имею, во сколько мне это обошлось.

— Мы не очень придирчивы в подобных случаях. Компенсация будет выплачиваться из секретных фондов, созданных как раз для аналогичных ситуаций, и мы просто оценим сумму ваших расходов, исходя из стоимости телефонных переговоров. Вы также несколько раз звонили по местным телефонам в редакции газет, верно?

— Верно, — хмуро усмехнулся Хилари.

— А также ездили поездом в Девиз, Логборо и даже в такую даль, как Эджвер.

— Вы ошиблись в последовательности этих поездок.

— Я и не намеревался устанавливать их в правильной последовательности. Были ли у вас иные расходы, о которых мне не пришлось в голову подумать? Да, кстати, — вы ведь на поезде первым классом ездили?

— Я покупал самые дешевые билеты.

— Поскольку билетов вы все равно не сохранили, то будем считать, что первым. Во всяком случае, я именно так оплачу вам проезд.

— Очень мило с вашей стороны.

— В таком случае, представьте мне список всех ваших расходов — и не обязательно абсолютно точный, — которые мы обязаны вам возместить.

— Разве можно возместить эмоции, возбуждение и удовольствия?

— Удовольствие? Ну, не будем более отнимать у вас время, господин Глэсп. Мы наведаемся завтра, если вы сумеете подготовить к этому времени список.

И Маджон направился к двери, сопровождаемый Ховдэем. Внезапно он обернулся к Хилари. Улыбка исчезла с его лица.

— Мне достоверно известно *что* и как вы сделали, господин Глэсп. Но вы заговорили сейчас о возбуждении, об удовольствии. Мне ясно все, неясны лишь ваши побуждения. Что побудило вас, господин Глэсп?

— ...

— Но это ведь не нарушение тайны? Вы — большой патриот, господин Глэсп?

— Да нет... вряд ли, — рассудительно ответил Хилари.

— Скучаете без былых приключений службы в разведке?

— Какие там приключения! — презрительно фыркнул Хилари.

— Может, мстите за что-то?

— В этом смысле я как-то не задумывался.

— Так мстите, значит? Кому-то и за что-то конкретно?

— Нет. — И Хилари добавил, как бы подумав. — Они того не стоят.

— Они? Вы мстите всем сразу, всем, кто участвует в этих чертовых стрельбищах?

— Я столько времени растратил зря.

— И теперь пытаетесь наверстать?

На дальнейшие вопросы Хилари отвечать не хотелось. А в голосе Маджона задрожали новые нотки:

— Так вот. Потери террористов составили четверо убитых и один тяжело раненный. Со стороны полиции один получил пулевое ранение. Его жизнь вне опасности.

— Рад это услышать.

— Но почему вам было знать, как вы могли рассчитывать, что результат не окажется противоположным? Четверо убитых и один раненый у полиции, и одна царапина у террористов?

Несмотря на жестокость, с которой Маджон задал этот вопрос, на него-то ответить было легче легкого. Маджон ведь сбросил доспехи и весь раскрылся.

— Вы уж не серчайте на меня, пожалуйста, коль я исходил из компетентности полиции, как из фактора, само собой разумевшегося.

Застывшее в жестком напряжении лицо Маджона расплылось в широкой щедрой улыбке.

— Ну тут-то вы, признайтесь, рискнули.

— Всего лишь подражал вам. Ну и элемент удачи, конечно, сопутствовал.

Самое время поскромничать.

Как бы вспомнив что-то, Маджон спросил:

— Вы не против, если я представлю рапорт премьер-министру? Инициатива и индивидуализм ныне в большой чести. Думаю, ваши подвиги доставят большую радость там, наверху.

— Вообразить себе не могу, чтобы это им было интересно. По правде сказать, я надеялся, что дальше вас дело не пойдет.

— Широко не афишируя, разумеется.

— Уж хотелось бы надеяться.

— Вы...

— Что?

— Британец?

— Что за странный вопрос!

— Не обижайтесь, пожалуйста.

Выйдя на улицу, Ховэдэй поздравил начальника:

— Мастерская работа, черт побери!

— Я думал, он предложит нам чаю, — ответил Маджон. — Вы ошиблись лишь в этом.

Как и предвидел Хилари, на следующий день внимание прессы отвлекли иные события. В заброшенном карьере у Бакстона нашли трупы четырех женщин, и битва в Сохо отошла в историю, а вместе с нею — и деяния Хилари, оставшись достоверным событием лишь в его собственной памяти. Как и раньше, он ходил за покупками, обмениваясь впечатлениями о грандиозной ночи с соседями по кварталу, и постепенно проявлял все мелкие нервные черты старости. Ну будто почти ничего и не случилось.

Стремясь не дать эмоциям окончательно угаснуть, Хилари позвонил в Бейрут Ахмеду Крессу. Прямо из дома. Теперь-то следов заметить не требовалось.

В голосе Кресса скорее звучала печаль, чем гнев.

— Положа руку на сердце, я не пролил ни единой слезы, узнав о смерти Хамзауи. Он превратился в обузу для нашего дела, во многом он был просто безумец, и я ненавидел его, как только можно ненавидеть брата. Я рад, что он мертв. И, все же, я никогда не смогу простить тебе того, как он умер — словно гордый зверь в западне. С ним погибла четверка отважных. Одна из них — женщина. А Камаль Азиз — в тюрьме. Увидим ли мы его когда-ни-

будь снова? И все — из-за тебя. Я признателен тебе за то, что ты избавил Хамзауи от страданий. Мне это было не по силам. И не хочу больше никогда говорить с тобой.

Ахмед Кресс повесил трубку. Лицо Хилари горело, словно в лихорадке. Никогда еще его не унижали так явно. Думал он не о погибших, но — впервые — об их родных и близких, поскольку Кресс представлял не активных участников событий, но тех, кто оставался на заднем плане, мучаясь в сомнениях и догадках, тех, кому сначала оставалось лишь питаться слухами, а затем — доставалось хоронить.

Для успокоения собственной совести Хилари заказал и послал на 920 фунтов белых цветов на могилу, в которой, как считалось, похоронили Абдула Фархаза. Цветы он послал через фирму "Интерфлора" по адресу сестры Фархаза, которую знал в лучшие времена.

Полиция щедро оплатила понесенные им убытки, комнату отремонтировали, однако Хилари мучался содеянным. То, что он затеял как анархический протест, вылилось в поступок, ущербный по значимости, лишенный достаточной логики и морального смысла. Перестрелка раздула заурядный розыгрыш в нечто невообразимое.

Хилари уже был не прочь начисто забыть о злосчастном эпизоде. Но тут неожиданно-негаданно и довольно скоро почта принесла казенный темно-желтый конверт Королевской службы. Непроизвольно Хилари подумал о налогах, лихорадочно пытаясь сообразить, в чем он провинился, испытывая при этом обычный страх, который подобные документы вызывают в свободном обществе. Однако машинописное письмо, вместо того чтобы требовать от Хилари объяснений, всего лишь осведомлялось, не откажется ли Хилари от награждения Орденом Британской Империи, будь таковой ему предложен. Что ж, высокая особа выглянула наконец в окошко лимузина и улыбнулась служащему бензоколонки. Теперь Хилари горел не от стыда, но от небывалого ощущения восторга. Вот уж поерзают бывшие сослуживцы, коротающие век в отставке, кто в своих коттеджах в Хэмпшире, кто — в жарких странах, а кто — в Австралии. В мире затхлых секретов все они будут мучиться догадками, чем это он заслужил такие почести, а прелесть вся в том, что им можно ничего не объяснять. То-то напоследок от зависти подергаются! Теперь его поступок обрел необходимый фокус, пусть даже и не тот, что мыслился вначале, а даже полностью противоположный ему.

И вскоре Хилари начал морочить себя, что будто бы заманил террористов в ловушку только из-за ненасытной жажды какого-либо официального признания. А затем

чутьем, выработанным годами профессиональной работы, начал ощущать за собой слежку. Росло его самомнение, но росло и чувство, что его преследуют.

Впервые Хилари показалось, что ему наконец удалось засечь "хвост" в тот день, когда, облачившись во взятую напрокат, пропахшую нафталином визитку, он взял такси до Букингемского Дворца. Вроде бы именно этот человек мелькал у него перед глазами изо дня в день — среднего роста, с тяжелым подбородком, одет с броской анонимностью профессионала.

Церемония во Дворце несколько разочаровала Хилари. Письмо вызывало четкое ощущение собственной исключительности; здесь же все воспринималось куда зауряднее. Награжденных оказалось огромное количество, и ничто так не остудило зарождающегося в его душе чувства самодовольства, как вид этой огромной толпы, в которой все болтали, словно туристы на стоянке, ждущие автобусов. Он никого из них не знал, и в этом море триумфаторов и их родни чувствовал себя одиноким.

Непосредственное общение с царственными особами оказалось коротким, как укол. И только уже выйдя на улицу, во время бесплодных попыток поймать у Дворца такси, Хилари впервые понял, с какой утонченной жесткостью вознаграждает своих недоброжелателей Британия.

Неприятности его на этом не кончились. Возвращаясь пешком домой в Сохо, окутанный запахом нафталина, словно невидимым нимбом, Хилари ясно заметил идущего за ним человека. Теперь Хилари безошибочно различал его в толпе. Хилари остановился, притворяясь, будто завязывает шнурок. Человек тоже остановился, неуклюже притворяясь, будто смотрит в газету, которую вынул из кармана. Хилари тянул время. Человек тоже. Хилари пошел дальше. Человек убрал газету в карман и двинулся за ним следом.

Подойдя к дому, Хилари обнаружил, что улица перекрыта, и кругом сует полиция.

Минированная машина взорвалась прямо у дверей. Выбив все недавно вставленные стекла. От машины остался лишь осто́в, обломки разлетелись по сторонам.

Взбежав к себе на этаж, Хилари увидел, что дверь его квартиры открыта. Двоих своих друзей из отдела борьбы с терроризмом Хилари застал внутри.

— Чудом спаслись, — сказал старший. — Сержант Ансуорт. Помните меня?

— Джефф.

— Точно! Все в порядке, можете заходить. Мы только

что проверили вашу квартиру. Ничего нет. Но надо было убедиться, а то они их часто ставят парами.

— Чья это работа?

— Пока не можем сказать.

— Но почему? Почему?

— Вы бы позвонили большому Белому Вождю. Да, кстати, у вас тут на дверном коврике поздравительная телеграмма лежала.

Хилари распечатал телеграмму: "Поздравляю. Вы это заслужили. Маджон".

Хилари не успел набрать номер, как в дверях появился его "хвост" — тот самый, с массивной челюстью.

— Что за дела? — спросил он полицейских.

— Бомба в машине, — ответил Джефф, помогая коллеге сметать битые стекла.

— Здесь? Ну, повезло же вам, что такси не поймали.

— Вы следите за мной? — спросил Хилари.

— По будним дням. А по выходным — мой кореш.

Разговаривая с полицейским, Хилари набирал номер Маджона.

— Почему вы считаете, что мне повезло?

— Они думали, вы дома. Оно и понятно — откуда им знать, что у Сент-Джеймского парка такси не поймаешь.

— И кто же они, по-вашему?

— Террористы, надо полагать. Кто же еще за вами станет охотиться, верно, Джефф?

— Верно.

Маджон взял трубку.

— Спасибо за телеграмму. Самое важное — в первую очередь.

— Говорят, опять вам разнесли квартиру?

— Как, по-вашему, — кто?

— С таким же успехом могу спросить вас. Знаю лишь одно — Кресс клянется, что "Братство Полумесяца" здесь ни при чем. Клянется, положила руку на сердце.

— Раз так, то, значит, при чем, к тому же самым непосредственным образом.

— Вы его знаете лучше меня.

— Но... Что навело вас на мысль связаться с Крессом?

— В известной степени эту идею подали мне вы.

— Вы куда более дотошны, чем я думал.

— У нас половина всего времени уходит на то, чтобы притворяться бестолковыми и иметь возможность только работать остающуюся половину.

— Вы пустили за мной "хвост".

— Да, потому что раньше или позже ожидал покушения, хоть Кресс и клялся, что покушаться на вас — мел-

кую рыбешку в мире больших рыб — ниже его достоинства.

Маджон явно стремился расположить к себе.

— Разве это не доказывает обратное? — спросил Хилари. Он все еще оставался во взятом напрокат великолепии, и ему хотелось сходить за большую рыбу.

— Да, если Кресс причастен. А если нет?

— Машину установили? Краденая?

— Нет, взята напрокат в Хитроу. На имя Ибрагима Шамади.

— Кого-кого? — голос Хилари непроизвольно дрогнул.

— Ибрагима Шамади, — четко выговорил Маджон.

— Чушь! — прорычал Хилари. — Это имя я с потолка взял! Оно — фикция!

— Похоже, оно обрело плоть. Подождите минутку, старина, мне принесли рапорт. Ничего себе! Нам только что звонил человек, заявивший, что бомбу подложили "Мученики Семнадцатого Сентября".

У Хилари отхлынула кровь от лица.

— Что же мне делать? — выдавил он наконец.

— По-честному?

— По-честному.

— Мир — большой, в нем легко раствориться, — сказал Маджон. — Популярна страна Португалия, но уж очень близко. Есть Южная Африка. Эти парни туда не доберутся, да и полиция там не дремлет. Или Австралия.

— По-вашему, мне нужно уехать? Бежать?

— Лет на десять, не больше. Но стоит ли вам возвращаться? По правде говоря, держать вас под наблюдением все время я не смогу. Слишком дорого. Дело того не стоит. А у этих людей из Бейрута странные обо всем понятия. Казалось бы, им есть за кем охотиться, однако они первым делом стремятся мстить и сводить счеты. Сентиментальные, должно быть, в глубине души ребята. Это верблюды никогда ничего не забывает или слон?

— Слон.

— А мог бы и верблюд.

— Но с чего вдруг такая мстительность? Кресс ведь даже благодарил меня за то, что я избавил их от Хамзауи. Благодарил!

— Знаю, но, видимо, цветы на могилу Фархаза они расценили как пощечину. Как оскорбительный, беспредельный цинизм.

— А я-то их послал, чтобы унять угрызения совести.

— Что ж, вам ведь не надо объяснять свойства человеческой природы, верно? Люди понимают то, что хотят понять, интерпретируют вещи, исходя из собственных

предрассудков, и убивают по причинам, известным им одним. Анализу это не поддается. Лучший здесь выход — придерживаться собственных искажений восприятия реальности и действовать, исходя из них. И, что самое главное в нашем мире, действовать быстро. Это важнее, чем действовать правильно или неправильно. Что ж, мне пора уходить. Последуйте моему совету. Австралия или Новая Зеландия. Не медлите. И ведите себя хорошо.

Сбросив официальные одежды, Хилари пошел в душ смыть запах нафталина. Затем, не дожидаясь наступления темноты, задернул шторы. Новая Зеландия? Он представил себе массу овец, а затем и то, что одна из них "топает хвостом" за ним.

Предстояло принимать решение. Пускаться в бег, либо проявить такой же фатализм, как и террористы? Хилари поднял штору. Полиция убирала остатки машины. Пассажира убило бы сразу. Доля секунды и все.

Нет, переезд в Новую Зеландию отнюдь не укрепит его чувства собственного достоинства. Он не сможет отвязаться от мысли о том, достанет ли его рука мстителей, отказались ли они от погони. Он будет обречен на прозябание в унылой безвестности, лишенный всего того, что и придает человеческой жизни смысл.

Нет уж, решил Хилари, он сам будет мстить. Орден оказался минутным искушением, которому он поддался. Рукою, манящей на кладбище мысли.

Охваченный внезапным порывом, Хилари сел за стол и положил перед собой чистый лист бумаги. Писать он будет позитивно, напористо и правдиво. Хилари начал новую главу своей книги, которую найдут после его смерти, — глубочайший жизненный портрет кавалера Ордена Британской Империи, мастера заниматься чужими делами. И он вновь обретет самого себя где-то меж еще ненаписанных строк.

В какой-то момент Хилари показалось, что кто-то топчется под дверью. После минутного колебания он махнул рукой и продолжал писать.

Флетчер Флора

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ

Я сидел спиной к своему письменному столу и глядел, как за окном идет дождь. В такую погоду не очень приятно выходить из дому, к тому же мне некуда и незачем было выходить. А ведь, если бы мне чаще приходилось покидать контору по делам, я мог бы сидеть у окна, расположенного по фасаду здания, а не рядом с черным ходом, и смотреть, как струи дождя поливают мостовую улицы, а не тротуар переулка. Разумеется, при условии гораздо более щедрой, чем сейчас, оплаты моих услуг клиентами.

Меня зовут Перси Хэнд, я — частный детектив. Мой покой редко нарушается визитами клиентов. Поэтому у меня бывают сложности с оплатой аренды моей конторы, зато хватает времени в ненастные дни глядеть, как льет дождь.

Кто-то шел через-вестибюль. Уши у меня большие и слух отменный, поэтому я попытался просто так, развлечения ради, представить, кто бы это мог быть. Четкий быстрый ритм шагов свидетельствовал о том, что это — женщина, возможно, молодая, а особое чутье подсказывало мне, что характер у нее независимый и даже надменный. Более того, я решил, что в сумочке у нее лежит чековая книжка, в которую она, если пожелает, может вписать шестизначную цифру. Для последних двух выводов у меня не было ровно никаких оснований, и это, вероятно, объясняет, почему я не самый лучший детектив в мире, хотя, разумеется, и не самый худший. Ведь в своих умозаключениях я исходил из того, что бедная женщина не может быть гордой, а это неверно. Во всяком случае, если

эта женщина была богата, сто против одного, что на-
правлялась она не ко мне.

Однако я ошибался. Дверь, ведущая из вестибюля в мою приемную, отворилась и закрылась, коротко и резко прозвучал зуммер. Установить сигнальное устройство значительно дешевле, чем держать секретаршу, хотя общество последней гораздо приятнее, особенно в дождливые дни. Я обошел свой стол и поспешил в приемную навстречу клиентке.

На ней был плащ с поясом, в одной руке она держала шляпу в тон плащу. Волосы черные, выющиеся, коротко подстриженные, шляпа не спасла их от дождя. Высокого роста дама, во всяком случае, по плечо рослому мужчине, разумеется, если тот не баскетболист. Красивые ноги, обута она была в удобные коричневые туфли на плоском каблучке. Судя по тому, что я отчетливо слышал ее шаги в вестибюле, каблучки были кожаные.

— Вы мистер Перси Хэнд? — спросила она.

Голос у нее был музыкальный, модулирующий. В нем ощущался холодок, который, как я чувствовал, в зависимости от обстоятельств мог либо растаять, либо, напротив, застыть звонкими льдинками.

Я признал, что мое имя действительно Перси Хэнд, и, с любопытством рассматривая свою гостью, поинтересовался, чем могу быть ей полезен.

— Не знаю... — Она с явным сомнением окинула взглядом тесное непрезентабельное помещение. — Я ожидала чего-то иного. Скажите, у всех частных детективов такие вот конторы?

— У кого как. Зависит от доходов.

— Меня это смущает. Все здесь свидетельствует о том, что у вас небольшая клиентура, а на это, безусловно, имеются причины. Почему вам не удалось достичь большего преуспевания? — вопрос прозвучал довольно колко.

— Всегда считал, что счастье важнее преуспевания.

— Отличная философия, если вы можете себе ее позволить. С другой стороны, быть может, вы не достигли успеха оттого, что честны. Вообще-то я считаю частных детективов не очень надежной публикой. Вы согласны со мной?

— Профессиональная этика не позволяет мне ответить на ваш вопрос.

— Я слышала о вас. О том, что вы — честный человек. От одного лица.

— Передайте мою благодарность этому лицу. А кто это?

— Не думаю, что вам следует это знать. Одна моя знакомая, которой вы оказали помощь. Она сказала, что на

вас вполне можно положиться, но особыми способностями вы не блещете.

— Вот с этим категорически не согласен. Получив соответствующий материальный стимул, я на короткое время обретаю необычайные способности.

— Ну меня, признаться, это не очень интересует. Мне нужен осмотрительный человек, на порядочность которого я могу вполне положиться, а сама работа крайне несложная.

— Я именно тот человек, который вам нужен. Несложная работа, требующая осмотрительности и надежности — мой конек.

— В таком случае я, пожалуй, останусь и изложу вам суть дела.

Она стала расстегивать пояс, и я выступил вперед, дабы, как подобает осмотрительному и надежному джентльмену, помочь ей снять плащ. Затем жестом я пригласил ее войти в мой кабинет и последовал за нею. Она уселась в кресло перед письменным столом. На ней было коричневое шерстяное платье, простой покрой которого подтвердил мою интуитивную догадку о ее более чем солидном достатке. Она положила ногу на ногу и, прежде чем опуститься в кресло, я отметил, что колени у нее хороши.

— А теперь, — попросил я, — расскажите мне, в чем будет заключаться моя крайне несложная работа, требующая осмотрительности и надежности.

— Сначала я лучше расскажу вам о себе. Я ведь до сих пор этого не сделала, не так ли?

— Нет, не сделали.

— Я — миссис Бенедикт Кун. Третья. Зовут меня Дульчи, если это имеет значение.

— Нет, пока не имеет, а возможно, и вообще не будет иметь.

— Мой муж и я живем на Корнинг Плейс, 15. Вы слышали о Кунах?

— Консервы для кошек и собак?

— Именно так. Разве это не смешно?

— Ну не знаю. Я далек от мысли потешаться над столь прибыльным и процветающим бизнесом.

— Ну хорошо. Верно говорят, что чересчур большие деньги заставляют их обладателя подчас совершать глупости и попадать в неприятные истории. Именно поэтому я оказалась здесь. Мой муж встречается с одной женщиной, я хочу узнать, кто она и где живет.

— Прошу извинить, — я с сожалением прощался с гонораром, который мог оказаться весьма солидным. — Но я не выполняю работу по бракоразводным делам. Если желаете, могу направить вас к другому специалисту.

Она тихонько рассмеялась:

— Восхитительная щепетильность! Неудивительно, что вы так бедны. Но вы меня неправильно поняли. У меня нет ни малейшего желания требовать развода. Мне слишком нравится быть госпожой Бенедикт Кун III. Неужели вы думаете, что я по своей воле откажусь от такого положения из-за маленькой интрижки моего мужа?

Я откинулся в кресле. Передо мной вновь замаячила надежда. Солидный гонорар снова оказывался в пределах досягаемости.

— Хорошо. Что конкретно я должен сделать?

— Попытаюсь объяснить. Не будьте только таким упрямым. Дело в том, что Бенедикта шантажирует женщина, с которой он встречался. Не знаю точно, какую цель она преследует, но я хочу найти способ положить этому конец. В этом и будет заключаться ваша работа.

— Имя этой женщины?

— Я слышала, как муж называет ее Мирна. Это все, что мне известно.

— Вы слышали? Вы хотите сказать, что видели их вместе?

— Нет-нет. Ничего подобного. Я слышала, как он разговаривал с ней по телефону. Я неожиданно вернулась домой и случайно сняла трубку вниз. Они как раз беседовали. Так я узнала о их завтрашней встрече.

— Какой встрече? Когда? Где?

— Знаете, я начинаю думать, что вы гораздо способнее, чем показались мне сначала. Судя по тому, как быстро вы схватываете факты. Так вот, они договорились встретиться завтра в три часа в баре "Нормандия". Это в отеле "Стаффорд".

— Я знаю где это. Какова цель встречи?

— К этому я и веду. Она завладела чем-то. Он хочет это вернуть. Из их разговора нельзя было понять, о чем идет речь. Но, как бы там ни было, именно поэтому он платит ей деньги. Немалые, как я понимаю. Теперь он готов заплатить ей гораздо более крупную сумму, чтобы окончательно вернуть то, что ему нужно, и покончить с этим делом раз и навсегда. Она согласилась встретиться с ним и обсудить его предложение.

— В баре "Нормандия"?

— Встретятся они там. Потом, возможно, поедут куда-нибудь еще.

— Завтра в три часа?

— Именно.

— А почему бы ему и не заплатить этой шантажистке деньги, пусть даже очень большие, и не получить то, что ему нужно? Он вполне может позволить себе это.

— Разумеется, может. Если дело закончится именно

так, я готова никогда больше об этом не вспоминать. Но кто поручится, что все произойдет именно так. Вдруг их сделка сорвется, и она придумает что-нибудь еще? Я хочу узнать, кто она, где живет и как мне освободить от нее Бенедикта.

— Вы обсуждали этот вопрос с мужем?

— О, нет, конечно, нет. Толку от этого не будет. Он жутко разнервничается и испортит все дело. Видите ли, мой муж — слабый человек и к тому же ужасный лгунишка.

— Вы хотите, чтобы я находился в кафе и в случае необходимости последовал за ними.

— Или за нею, если она уедет одна. Можете вы это сделать?

— А почему бы и нет? Развод — это одно, шантаж — совершенно другое.

— Значит, мы договорились. — Она открыла свою сумочку, извлекла оттуда тонкую пачку восхитительных казначейских билетов и положила ее на стол. Я сразу же завладел банкнотами. Мне просто не терпелось потрогать их.

— Здесь пятьсот долларов; солидный гонорар за день работы. Если дело этим не закончится, я, разумеется, увеличу вознаграждение. Мы обсудим это, если возникнет такая необходимость.

— Как я узнаю вашего мужа?

— Он среднего роста, светловолосый. Особых примет у него нет, поэтому вам нужно точно знать, как он будет одет. Когда он выйдет из дому, я сразу же позвоню вам и сообщу все, что нужно. Вы будете у себя в конторе?

— Непременно.

Она встала и направилась к дверям. Я проводил ее в приемную и помог надеть плащ. Дверь, ведущая в вестибюль, затворилась за ней, а я все стоял, прислушиваясь к звуку удалявшихся шагов. Вернувшись в кабинет, я остановился у окна, глядя сквозь тонкую сетку дождя на кирпичную стену, тянущуюся вдоль переулка.

Какие события привели сюда Дульчи Кун? — размышлял я. — Какие странные обстоятельства сделали меня обладателем суммы, которую мне давно уже не доводилось держать в руках?

В бар "Нормандия" можно было попасть двумя путями: прямо с улицы — немалый соблазн для пешеходов; и через холл гостиницы "Стаффорд", спустившись на несколько ступенек вниз. Я вошел с улицы, хорошо освещенной в этот серенький день, и остановился. За моей спиной с тихим шуршанием закрылась пневматическая дверь. Я подождал, пока мои глаза привыкнут к густой,

наполненной благоуханием темноте, которую там и сям прорезали точки света, и, медленно маневрируя между крошечными столиками, направился к обитому кожей стулу у стены. Над стойкой за спиной бармена виднелся светящийся циферблат электрических часов. Ко мне подошла официантка, и я заказал стакан пива. Стрелка часов показывала без десяти три. У стойки на высоких табуретах сидели двое мужчин и женщина. Дама сидела посередине, но разговаривала лишь с соседом справа, другой же только смотрел на свое смутное отражение в зеркале. Несколько пар сидело за столиками, держась за руки и прижимаясь друг к другу коленями. В это раннее время посетителей было мало. Через пару часов закроются офисы и магазины, и тогда дела пойдут побойчее. Официантка принесла мне пиво, и я пригубил напиток.

На нем был, как и предупредила меня Дульчи Кун, коричневый твидовый пиджак и брюки того же цвета, белая рубашка и модный узкий галстук. Среднего роста блондин со светлыми усиками. Я бы их не заметил, не будь мое зрение столь же острым, как и слух. Вы его ни с кем не спутаете, сказала она, но я с этим не согласился. Пиджак, брюки и прочие предметы его туалета вряд ли могли служить особыми приметами. В баре вполне мог оказаться человек, одетый точно так же. Вряд ли, возразила она, какой-нибудь другой человек, одетый точно так же, появится в баре ровно в три часа или несколько раньше. И уже совсем маловероятно, что к нему затем присоединится женщина. С этим я согласился. И вот я, Перси Хэнд, сижу в засаде, а это он, конечно же он, спускается по ступенькам из холла, ведь часы показывают без двух минут три.

Он уселся на табурет у стойки неподалеку от входа в холл и заказал что-то с содовой, то ли шотландский виски, то ли бурбон. Я видел лишь его спину и время от времени, когда он поворачивал голову, мельком профиль. Я попытался поймать его отражение в зеркале, но мешали загромождавшие стойку бутылки и фужеры, к тому же было слишком темно. Однако, вне всякого сомнения, это был именно он. Он явно нервничал, слишком часто уж бросал взгляд на циферблат часов. Стрелки показывали уже десять минут четвертого. Правая рука его сжимала стакан. Левая то и дело опускалась в вазу с соевым арахисом, стоявшую на стойке. Все было точно: Бенедикт Кун III ожидал женщину по имени Мирна, которая, правда неофициально, обвинялась в шантаже. Он выпил еще одну порцию виски и склевал целую пригоршню арахиса, прежде чем она появилась. Как-то незаметно.

Я заметил ее, лишь когда она уже уселась у стойки рядом с ним. Но, увидев ее, уже не спускал с нее глаз.

Если Бенедикт когда-нибудь и потерял благоразумие в присутствии этой Мирны, я, по крайней мере, винить его не могу. Даже не видя ее лица, голову можно было потерять от созерцания одной лишь ее фигуры. Она обладала таким набором женских прелестей, что, не рискуя прибегнуть к выражениям, употребляемым для этой цели в сугубо мужском обществе, я бессилен их описать. Даже в наш век всеобщего обмана, я готов был руку дать на отсечение, что платиновый оттенок ее очень светлых волос имел естественную природу. На ней был темно-красный костюм с узкой, плотно облегающей бедра юбкой. Когда она устроилась на табурете, положив ногу на ногу, и юбка поднялась выше колен... Нет, не могу... Достаточно сказать, что это зрелище заставило закипеть жизненные соки даже Перси Хэнда.

Я предпочел бы наблюдать эту картину со своего места, но делу время, а потехе час. Пятьсот долларов на моем счету в банке напомнили мне о порученном деле. Движимый чувством долга, я захватил свое пиво и направился к стойке. Сев недалеко от них, я заказал еще пива и наострил уши. С тем же успехом, однако, я мог бы вставить в них затычки. Говорили они мало и так тихо, что невозможно было ничего разобрать. Вполне естественно. Ведь явились они сюда не для безобидной светской беседы, а то, что им нужно было сказать друг другу, здесь, в баре, они сказать не могли. Я хотел было повернуться к ним лицом, но передумал и попытался получше рассмотреть ее отражение в зеркале. Насколько мне удалось разглядеть ее лицо, оно не уступало всему прочему.

В левой руке она держала темные очки — последняя голливудская мода, — которые сняла, войдя в затемненный бар. Она заказала martini, не торопясь осушила бокал, а потом съела маслину. Бенедикт что-то ей сказал, она ему ответила, и вдруг они одновременно соскользнули со своих табуретов и стали подниматься по лестнице в холл гостиницы. Когда я появился в холле, они уже пересекли значительную его часть, застеленную пушистым ковром, поглощавшим звуки шагов, и теперь ее высокие тонкие каблочки ритмично постукивали по каменным плитам пола.

Дверь за ними затворилась, и я увидел, как они переходят через дорогу, направляясь, как я понял, к расположенному поблизости гаражу отеля, где он оставил свою машину. Свой собственный автомобиль мне удалось припарковать возле тротуара совсем неподалеку отсюда. Я подошел к нему, открыл дверцу, сел за руль, включил двигатель и стал ждать. Они обязательно должны были проехать мимо — улица была с односторонним движе-

нием. Через несколько минут я увидел их в сером седане. Я развернулся и потащился за ними следом.

Они не торопились, скрупулезно соблюдая все правила движения. Я следовал чуть ли не вплотную. Лишь изредка между нами вклинивался один или два автомобиля и на светофоре я ни разу не упустил их, хотя пару раз мне пришлось ехать на желтый свет. Мы миновали запруженную движением центральную часть города и свернули на проспект, идущий в юго-западном направлении.

Их машина быстро набирала скорость, проносясь мимо кварталов дорогих многоквартирных домов. Я полагал, что седан остановится у одного из этих домов, однако, ошибался, что, впрочем, случается со мной не так уж редко. Седан миновал эти кварталы и вскоре добрался до пересечения с оживленной городской магистралью. Седан, находившийся в левом ряду, остановился на красный свет. Я был в том же ряду немного позади, между нами успели вклиниться две машины.

Я с нетерпением ждал, когда зажжется зеленый свет, наконец долгожданный свет загорелся и машины в других рядах пришли в движение. Но не в нашем. Седан не трогался с места, а за ним стояли мы все. Водители начали раздраженно сигналить, однако серый седан высокомерно игнорировал всю эту свистопляску. Он просто стоял и ждал, ждал до тех пор, пока не загорелся желтый свет, а тогда рванулся на перекресток, дико взвизгнули шины, автомобиль резко повернул налево и исчез, прежде даже, чем я успел выругаться.

Другие водители, разумеется, не могли понять причину столь вопиющего нарушения правил движения. Но не я. Я понял их цель — оставить старину Перси с носом, но почему? Откуда эта парочка в седане вообще знала о моем существовании, а тем более о том, что я сижу у них на хвосте? Может быть, я допустил какую-нибудь непростительную оплошность? Например, слишком громко хлопал ушами, стараясь подслушать их разговор в баре? А может быть, даже самые в этическом смысле безупречные частные детективы обладают каким-то особым запахом, который выделяет их среди всех прочих людей? И наконец, самая мрачная мысль: вправе ли я оставить себе те пятьсот долларов, которые были уплачены мне за несложную работу, столь блистательно мною проваленную? Правда, гонорар был выплачен мне без каких бы то ни было условий, но я ведь его не отработал. Да что там говорить — даже на гамбургер не заработал. Значит, горестно размышлял я, придется возвратить деньги.

Ладно, что зря убиваться. Так же бесполезно, как и пытаться догнать ту машину. Меня перехитрили, и ничего тут не поделаешь. Мне оставалось лишь найти телефон,

позвонить Дульчи Кун и чистосердечно признаться в своей полной профессиональной несостоятельности. Я пересек магистраль, нашел поворот и вернулся в центр города другой дорогой. Я сообразил, что единственным телефоном, воспользоваться которым мне не будет стоить десяти центов, был мой собственный. Поэтому, подехав к своей конторе, я прошел в кабинет, уселся спиной к письменному столу и стал смотреть в окно на кирпичную стену. Размышлял я над тем, что случилось и как бы мне объяснить все это своей клиентке и при этом сохранить если не гонорар, то по крайней мере хоть небольшую толику собственного достоинства.

Что-то здесь было не так. И не столь уж я был туп, чтобы не сообразить, что именно. Парочка, за которой я следил, была предупреждена, меня узнали и одурачили. Но как это было сделано? И почему? И когда? Лучшее объяснение, которое пришло мне в голову, заключалось в следующем: узнав о предстоящем свидании мужа с Мирной, Дульчи каким-то образом выдала себя. Возможно, за ней следили, когда она шла ко мне под дождем. Если это было так, она, по крайней мере частично, несла ответственность за мое фиаско, и не дает ли мне это обстоятельство право оставить себе гонорар? Что ж, посмотрим. Тем более узнать об этом можно было прямо сейчас, не откладывая. Повернувшись к столу в моем вращающемся кресле, я справился в телефонной книге и набрал номер. В доме № 15 по Корнинг Плейс кто-то, наверное служанка, поднял трубку.

Я попросил к телефону миссис Кун.

Ее не оказалось и служанка спросила, кто ее спрашивает.

Я назвался и поинтересовался, когда миссис Кун вернется.

Этого никто не знал. Служанка спросила меня, не хочу ли я что-нибудь передать.

Я не захотел.

Я позвонил час спустя, после пяти. Опять не повезло. Та же служанка. Тот же ответ. На этот раз я попросил ее передать миссис Кун, что буду ожидать ее звонка. Служанка пообещала, но тон ее выражал легкий скептицизм, она явно сомневалась, что ее госпожа соизволит позвонить мне.

Я спустился вниз в закусочную и купил пару сэндвичей с холодной говядиной и пинту кофе в картонном пакете. Вернувшись с этой снедью в кабинет, я пообедал за письменным столом, если, разумеется, это можно назвать обедом. Я допил остатки кофе, то и дело затягиваясь сигаретой. Пакет опустел, и я докуривал уже вторую

сигарету, когда раздался телефонный звонок. Это была Дульчи Кун.

— Мне передали вашу просьбу. Что случилось?

— Я звонил вам дважды, но вас не было дома. Я полагал, что вы захотите выслушать мой отчет.

— Что ж, давайте, отчитывайтесь. Видели вы Бенедикта и эту женщину?

— Видел. Они встретились в баре "Нормандия", как вы мне и сказали.

— Они ушли вместе?

— Да, после двух порций виски с содовой и мартини. Из отеля они направились в гараж и сели в серый седан.

— Это машина Бенедикта. Вы последовали за ними?

— В некоторой степени.

— Что вы хотите этим сказать? Либо — да, либо — нет? Куда они поехали?

— Короче, я потерял их, или, точнее, они улизнули от меня. Они рванули на желтый свет, оставив за собой целую кучу автомобилей и меня в том числе, сидеть на красном.

— Почему они это сделали?

— Хороший вопрос. Я сам собирался задать его вам. Этот трюк перед светофором был заранее продуман. Они сделали это, чтобы избавиться от "хвоста", и мне хотелось бы узнать, как они догадались о его существовании? От вас?

— Разумеется, нет.

— Так или иначе, он узнал об этом. Вы уверены, что за вами не было слежки, когда вчера вы шли ко мне в контору?

— Непонятно, почему за мной должны были следить?

— Вы сказали, что подслушали разговор мужа с этой женщиной, сняв трубку внизу. Быть может он догадался, что вы подслушиваете?

— Этого не может быть. Если бы он услышал, как я сняла трубку, он бы прекратил разговор, а повесила я трубку только после того, как это сделал он.

— Тем не менее он знал. Каким-то образом он узнал, что за ним следят.

— Очевидно. Но, быть может, вы просто стараетесь найти оправдание самому себе. Должно быть, вы сами своими неумелыми действиями все испортили и вас засекли. Я полагала, что слежка — это азбука, азы ремесла сыщика. Мне казалось, что любой мало-мальски подготовленный детектив умеет это делать.

— Ну хорошо, я снова начну ходить в детский сад. И не огорчайтесь. Я верну вам ваши деньги.

— В этом нет необходимости. Я предложила вам гоно-рар без каких бы то ни было условий.

— Это значительная сумма, и получил я ее практически ни за что.

— Я тратила и больше с меньшей пользой. Могу себе позволить. К тому же дело еще, быть может, не закончилось. Если нужно будет сделать еще что-нибудь крайне несложное, я вновь обращусь к вам.

— А я тем временем займусь изучением азов.

Она повесила трубку, я тоже. Я постарался придумать себе какое-нибудь крайне несложное занятие на вечер, но проще, чем пойти домой и лечь спать, ничего придумать не смог. Зато уж это было настолько просто, что даже азов для этого повторять не нужно было. Поэтому я купил бутылку бурбона и завалился с нею в постель. После десяти я заснул и проснулся только в семь утра.

В конторе я пролистал утреннюю газету. Потом ко мне явился клиент — пустяковое дело, но все утро пришлось провести в бегах. Когда в полдень я вернулся к себе, моя маленькая приемная показалась мне еще меньше, ибо ее загромождила туша лейтенанта Брэди Болдуина, полицейского, у которого жиром заплыла талия, но отнюдь не мозги. Отношения у нас с Брэди были хорошие. В общем-то я ладил со всеми блюстителями порядка в нашем городе. Причиной, как я полагаю, было то, что мы платим приблизительно одинаковый подоходный налог, и повода для классовой вражды у нас нет.

— Привет, Брэди, — произнес я. — Что привело тебя сюда?

— Меня сюда не привело. Меня сюда прислали.

— Вот что значит быть скромным и полезным тружеником. Зарабатываешь себе репутацию. У меня миллион блестящих отзывов.

— Ну этот-то отзыв блестящим не назовешь. У меня был разговор с миссис Бенедикт Кун III.

— Ну знаешь, трудно на всех угодить. Однако ей не следовало напускать на меня полицию. Я же сам предложил возвратить ей гонорар.

— Не знаю я ни о каком гонораре. Лично я получаю жалованье. Когда-нибудь, может быть, получу пенсию. Пригласи-ка меня в кабинет, Перси. У меня есть к тебе пара вопросов.

— Конечно. Заходи.

Мы вошли в кабинет, и Брэди обнажил свой лысый череп, положив фуражку на край моего стола. Из нагрудного кармана своего френча он вытащил сигару, посмотрел на нее и засунул обратно.

— Вчера миссис Кун поручила тебе одну работу.

— Вчера была работа, а поручила она мне ее позавчера.

— Выследить ее мужа с какой-то женщиной в баре "Нормандия" и следовать за ними, куда бы те ни поехали.

— Верно.

— Она сказала, что ты упустил их.

— Я не упустил их. Они... В общем не в этом дело. Результат получился тот же.

— Вот это-то и плохо. Иначе ты мог бы увидеть кое-что интересное.

— Сомневаюсь. Нельзя же нарушать интим свидания.

— Верно. Рад, что ты это понимаешь, Перси. Однако убийство, как оно ни интересно, интимным делом не назовешь.

— Убийство? — Сначала я подумал, что замечание Брэди носит чисто абстрактный характер. Но я хорошо его знал; на него это было не похоже. — Ты хочешь сказать, что он убил ее?

— Не он ее. Она его.

— Черт побери, Брэди. Я что-то не понимаю. Ведь это *она* шантажировала *его*. Какого же дьявола ей понадобилось уничтожать источник собственного дохода?

— Я сам задавал себе этот вопрос. Если подумать, можно найти несколько вполне приличных ответов. Вот самый, на мой взгляд, естественный: он решил освободиться от этой женщины чего бы это ему ни стоило и с этой целью встретился с ней. Тогда ее мотивы становятся вполне объяснимыми.

— Если бы дело обстояло так, как ты говоришь, то зачем ему было вообще встречаться с нею. Не проще ли было обратиться в полицию и покончить с этим делом раз и навсегда?

— Быть может, он так до самого конца и не смог принять окончательное решение.

— Ну да, и поэтому она застрелила его. Вот так взяла и застрелила. Пистолет у нее был, конечно, в сумочке. Ничего странного. Сейчас все женщины носят в сумочках пистолеты.

— Не все. Некоторые. Особенно те, которые занимаются шантажом. Поумерь свой сарказм, Перси. Он тебе не идет. Кстати, кто тебе сказал, что его застрелили?

— Разве не ты?

— И не думал.

— Значит, мне пора идти сознаться. Я слышал, что убийцы вот так сами себя и выдают, но никогда не думал, что это случится со мной. Что значит нечистая совесть!

— Да будет тебе, Перси. Твое предположение вполне логично. Не могла же она отравить его в автомобиле, и вряд ли она обладала силой амазонки, чтобы задушить его голыми руками. Атлетом он не был, но уж от женщины бы отбился.

— Она могла заколоть его или проломить ему голову.

— Могла, но не сделала. У нее был пистолет 25 калибра. Из него она и выстрелила, в затылок.

— С ума сойти! Кто же подставляет затылок шантажистке?!

— Рассеянный тип, должно быть. Но к чему нам гадать, как да почему, если можно просто спросить ее. Разумеется, после того как мы ее задержим.

— Вы ее до сих пор не нашли?

— Мы даже не знаем ее фамилии и как она выглядит. Поэтому я и пришел к тебе. Миссис Кун сказала, что ты можешь описать нам ее.

— Разумеется, могу. Довольно высокого роста. Отменно сложена. Штучка явно не серийного производства. Платиновая блондинка, волосы почти до плеч. Когда я ее видел, была одета в темно-красный костюм с короткой юбкой, которая открывала ее ноги, и они того заслуживали.

— Ну, ходовую часть можно прикрыть либо как-то замаскировать. Волосы подстричь и покрасить. Было бы полезней, если бы ты больше времени потратил на изучение ее лица.

— А ты бывал в баре "Нормандия" в последнее время? Света там лишь чуть больше, чем в пещере. Я пытался лучше рассмотреть ее лицо в зеркале за стойкой, но убедился лишь в том, что оно неплохо смотрится в комплексе со всем остальным.

— Ты ведь шел за ними следом, верно? На улице, наверное, было посветлее?

— Как ты заметил, я шел за ними следом, то есть они были впереди, я — позади. Если хочешь, могу дать подробное и полное описание ее кормы.

— Нет, благодарю, не хочу, чтобы ты тратил свой поэтический дар на такого неблагодарного слушателя. — Брэди потянулся за своей фуражкой, прослужившей ему не один год, и нахлобучил ее на голову. — Благодарю за помощь, Перси. В следующий раз, когда мне нечего будет делать, обязательно загляну к тебе.

— Минутку, Брэди. Может, я и лажанулс с этим делом, у всех бывают неудачи. Но, по крайней мере, теперь ты знаешь, в каком направлении работать. Из сказанного тобой я понял, что Кун был застрелен в машине, которую вел.

— Правильно понял. Она была припаркована в том месте, где кончается дорога, к северо-востоку от города. Очевидно, они остановились там, чтобы уладить свое дело. Ну, она и уладила его, окончательно и бесповоротно. Его обнаружили сегодня рано утром за рулем с дыркой в голове. Тело сползло к дверце. Вообще-то дело ведет по-

лиция графства, но мы оказываем им помощь. Не исключено, что большую часть расследования придется вести в городе.

— Есть, хоть какие-нибудь зацепки или приметы этой женщины?

— Конечно, есть. Ты сам только что дал мне целых две. У нее светлые волосы и прехорошенькие ножки.

Отпустив это ядовитое замечание, он поднял себя в вертикальное положение и удалился. Я повернулся в своем кресле на сто восемьдесят градусов, посмотрел в переулок и подумал, что хорошо было бы выпрыгнуть из окна. Однако при моем везении я скорее всего отделаюсь синяками и ссадинами. Так или иначе, моя это вина или нет, но Бенедикт Кун III и его очаровательная блондинка вычислили старину Перси и разыграли его, как болвана, и вот Перси обиделся. Ему захотелось попытать счастья еще раз.

Бенедикт теперь, конечно, был уже вне игры. Он лежал в морге с дыркой в голове. Моя работа была закончена, а, может быть, и нет. Все зависело от того, захочет ли Дульчи Кун, чтобы я отработал гонорар, попытавшись найти неуловимую красотку, которая застрелила ее мужа. Такой возможности я не исключал. Успеха я, быть может, и не добьюсь, но вреда от моих усилий тоже не будет. К тому же работа моя была уже оплачена.

Я решил отправиться на Корнинг Плейс, 15 и предложить свои услуги. Надев шляпу, я вышел.

Корнинг Плейс представлял собой сильно вытянутый эллипс, усеченный с одного конца. В центре находилась большая площадка, густо поросшая травой и вечнозеленым кустарником с разбросанными там и сям каменными скамейками. Эллипс элегантно обрамляли лужайки и шикарные особняки людей, которые могли себе позволить здесь жить.

Номер 15 ничем не отличался от других — дом из серого камня в два с половиной этажа, с широким портиком, выходившим на южную подъездную аллею. Я смело подвел машину к дому и оставил ее у самого портика, хотя за особняком аллея заканчивалась бетонной площадкой перед гаражом, занимавшим нижний этаж большого строения, наверху размещалась прислуга. Я поднялся по ступеням, ведущим в портик, вдоль широкой веранды прошел к парадному входу, позвонил и стал ждать. Дверь почти сразу отворилась, и горничная спросила, что мне нужно.

— Я хотел бы увидеть миссис Бенедикт Кун III, — сказал я. — Мое имя Перси Хэнд.

Горничная извинилась и сказала, что миссис Кун никого не принимает. Она в постели, плохо себя чувствует.

— Дело весьма важное, — сказал я, несколько преувеличивая. — Мне необходимо безотлагательно увидеться с миссис Кун.

Горничная была в нерешительности. Лицо ее выражало вежливое сомнение. Она явно не представляла себе, что нечто важное может явиться в дешевеньком костюме с обтрепанными обшлагами. С другой стороны, кто мог поручиться, что я не из полиции? В конце концов она сказала, что узнает у своей хозяйки, сможет ли та принять меня. Это была значительная уступка с ее стороны. Я остался со шляпой в руках в холле, а она поднялась по элегантно убранной широкой лестнице наверх доложить хозяйке обо мне.

В доме царила тишина. Изображенный на картине мрачного вида господин презрительно смотрел на меня голубыми глазами. Думаю, это был Бенедикт I или II. Я сделал два шага вперед, глаза продолжали сверлить меня. Я снова отступил, глаза, не отрываясь, следовали за мною. Взгляд был холодно-угрожающий, очевидно, господин был раздражен моими бессмысленными передвижениями. К счастью, меня спасла возвратившаяся горничная.

Миссис Кун согласилась принять меня. Не могу ли я подождать в библиотеке?

Я сказал, что могу, и горничная проводила меня туда. Это была огромная комната с дюжиной высоких, во всю стену окон (почти все они были сейчас задрапированы) и несколькими тысячами томов, причем, судя по порядку, который царил на полках, большая часть книг их никогда не покидала. Неожиданно над высоким с изогнутой спинкой креслом, стоящим у окна, появилась светловолосая голова. Затем показалось и туловище. И то и другое принадлежало молодому человеку в очках. В руке у него была книга, между страницами которой он заложил указательный палец. Свободной рукой молодой человек снял очки и с любопытством воззрился на меня.

— Кто вы? — спросил он меня. Вид у него был крайне удивленный.

— Перси Хэнд, — ответил я. — Миссис Кун попросила меня подождать ее в библиотеке.

— В самом деле? Вот уж не думал, что Дульчи сегодня кого-нибудь примет. Здесь, знаете ли, была полиция. Возили Дульчи в город для опознания трупа бедняги Бенни. Невеселая история. Она еле на ногах держится.

— Понимаю. Я не задержу ее надолго.

— Надеюсь. Внешне Дульчи приняла все это достаточно спокойно, но трудно сказать, насколько глубоко она

потрясена случившимся на самом деле. Удивительная женщина. Вы знаете, что произошло?

— Да, как вы сказали, невеселая история.

— Ну, я полагаю, старина Бенни сам виноват. Но кто бы мог подумать, что он погуливает на стороне? Кстати, меня зовут Мартин Фармер. Я дальний родственник. Седьмая вода на киселе.

Я сказал, что рад познакомиться, вежливо дав понять, что мне на это ровным счетом наплевать. Отворилась дверь, и в библиотеку вошла Дульчи Кун. На ней было простое черное платье, на ногах мягкие комнатные туфли. Ее темные волосы были немного растрепаны, она явно только что встала с постели и не причесалась, а лишь слегка пригладила волосы. Она не подала мне руки, но и недовольства не выказала.

— Как поживаете, мистер Хэнд? — спросила она. — Марти, что вы тут делаете? Я думала, вы ушли.

— Я читал, — оправдываясь, Мартин Фармер поднял вверх книгу со все еще заложенным между страницами пальцем.

— Чувствуете себя лучше, Дульчи?

— Немного лучше. Не беспокойтесь обо мне, Марти. Со мной все будет в порядке. — Она повернулась ко мне. — Я полагаю, вы уже познакомились.

— Да.

— В таком случае, что я могу для вас сделать? Я считала, что наши деловые отношения завершились.

— Боюсь, что не очень-то я преуспел. Извините меня.

— Вам не нужно извиняться. Ошибаться может каждый. Вы пришли сюда лишь за тем, чтобы принести извинения?

— Отчасти, но не только за этим.

— Зачем же?

— Я получил большой гонорар практически ни за что. Слишком большой. Если я могу хоть что-то сделать, мне хотелось бы отработать его.

— Теперь уже ничего поделаться нельзя. Совсем ничего.

— Эта женщина, с которой был ваш муж. Вы сказали, ее зовут Мирна. Я полагаю, что смогу помочь найти ее.

— Я думаю, полиция располагает для этого гораздо большими возможностями. Предоставьте это дело ей.

— У меня есть одно преимущество. Я видел ее. Я могу узнать ее, если снова увижу.

— Сомневаюсь, что вы когда-нибудь встретите ее снова. Вероятно, она сбежала. Если это так, полиция попытается напасть на ее след и задержать ее. Я не хотела бы каким-либо образом помешать им.

— Я работал в контакте с полицией и прежде.

— Пожалуйста, мистер Хэнд, делайте так, как я вам го-

ворю. Я прислала к вам полицию, и, сообщив ей то, что вам известно, вы выполнили свой долг. Больше вам вмешиваться не стоит.

— Верно. Благодарю за то, что нашли время принять меня.

— Не за что. А теперь прошу извинить. У меня был тяжелый день, мне нужно отдохнуть. Марти проводит вас.

Она повернулась и вышла из комнаты, а Марти, как и подобает "седьмой воде на киселе", проводил меня к выходу. Он попрощался со мной у дверей, я пересек веранду и сел в машину. Проехав вперед до бетонной площадки, я развернулся, проехал назад через аллею, обогнул эллипс и выехал за его пределы.

По дороге к центру города я решил на всякий случай заскочить на несколько минут в бар "Нормандия". Войдя внутрь, я забрался на табурет у стойки и заказал пиво у того же бармена, что и вчера. Светился экран телевизора, установленного на высокой полке над стойкой. На экране пара студенческих футбольных команд тузила друг друга, и я вспомнил, что сегодня суббота. Обе команды поочередно пытались что-то сделать с мячом, но получалось у них это слабо.

— Еще пива, — попросил я. Бармен нацедил и подал мне кружку. Спортивная передача ему наскучила, клиентов было мало, и он был явно не прочь поболтать. Внимание его привлекли мои уши.

— Боксом занимались? — спросил он.

— Да нет. Мне не до этого, и так на орехи достаётся.

— Вроде бы я вас где-то видел. То ли фотографию. То ли так, но точно видел.

— Может быть, вчера? Я был здесь, в баре.

— Точно. Помню, что где-то видел. Такую физиономию, как у вас, не забудешь. Не в обиду вам будь сказано, мистер, красавчиком вас не назовешь.

— А я и не обижаюсь. Думаю, вы правы. Запоминаются обычно крайности. Красотки и уродины. Как та платиновая блондинка.

— Где? Какая блондинка? У вас галлюцинации, мистер!

— Да не сейчас. Вчера.

— А-а. Та? Куколка, секс-бомба. Но у дамочки есть класс. Это сразу видно.

— Вот это верно. Дамочка как раз по моему вкусу. Если бы я знал, кто она, разработал бы план атаки.

— Мистер, извините меня, конечно, но не думаю, чтобы у вас было много шансов.

— А вот этого никогда нельзя знать заранее. Многие красотки клюют на уродин. Не знаете, как ее зовут?

— Нет, клиенты нам не представляются.

— Часто она сюда заходит?

— Ни разу ее до вчерашнего дня не видел. Возможно, остановилась в отеле. Проездом в городе.

— А мужчина, который с ней был?

— А разве с нею был мужчина? Не заметил.

Один из посетителей протянул свой пустой стакан, и бармен поспешил к нему. Я захватил горсть соленого арахиса и вышел из бара. Стоя на тротуаре, я кидал в рот орешек за орешком и размышлял, бросить ли мне это дело или предпринять еще одну попытку. Попытаюсь еще раз, решил я. Задавать вопросы — неинтересная забава лишь до поры до времени: пока на них не начнешь получать содержательные ответы. И у меня была на примете одна особа, которая, весьма вероятно, могла бы мне кое-что прояснить.

Персона эта сидела в сизом тумане, согнувшись над пишущей машинкой с дымящейся сигаретой в углу рта. Очки ее были сдвинуты на кончик носа, а рыжие волосы будто недавно приглажены сбивалкой для яиц. На ней был свитер, смахивающий на спортивный, а юбка, похоже, была куплена на барахолке. Я не видел ее ног, но мог держать пари, что швы на ее чулках были перекошены. Однако не следует спешить с выводами.

За очками можно было увидеть лицо, на которое стоило посмотреть, а дурацкие тряпки скрывали сто десять фунтов приятнейших сюрпризов. Если вы не можете понять, откуда я об этом знаю, что ж, попробуйте догадаться. Я же лишь скажу, что это была хорошо замаскированная красотка, которая, однако, не питала отвращения к уродинам. Если она брала на себя труд заняться собой и переодеться, от нее глаз нельзя было оторвать. Звали ее Генриетта Сэвидж, сокращенно Гетти, и она вела в газете колонку городских и светских новостей. Вы понимаете, что я имею в виду. Большей частью об увеселительных местах, что что поделывает и т.п. Все довольно безобидно, сплетни, которые, как правило, не представляют интереса для судов. Но, занимаясь этим делом, Гетти стала поистине кладезем подобной информации. Она посмотрела на меня поверх очков, и я не прочел в ее взгляде особого энтузиазма, а сигарета в ее зубах приняла угрожающее положение.

— Не вздумай присаживаться, Перси, — сказала она. — Убирайся. Мы увидимся в баре напротив после пяти.

— Ты — хищница. Как ты догадалась, что я только что получил жирный гонорар?

— Благодарю за признание. В таком случае после бара будет ужин в ресторане, а потом ночной клуб.

— Только после того, как ты переоденешься. Я обязан поддерживать свою репутацию плейбоя. Ты что, спишь в этой одежде?

— Может быть, у тебя появится возможность проверить это. А пока — прощай. Выматывайся. Жди меня в баре.

— Я уйду, но лишь после того, как ты ответишь мне на пару вопросов. Подумай, Гетти! Обед и ночной клуб всего за пару ответов.

— Может быть, омар?

— Сама вытащишь его из бассейна.

— Какие вопросы?

— Ты знаешь Бенедикта Куна III? Это предварительный вопрос. Он не в счет.

— Ты употребил неверное время. Я знала его. Он умер. Ты прочитаешь сообщение на первой странице. Задавай следующий вопрос и помни, что он уже входит в счет.

— Хорошо. Кто та блондинка, за которой он ухлестывал?

— Ухлестывал? Перси, ты возводишь поклеп на мертвеца.

— Никогда. Я верю в привидения. Только вчера я видел их вместе в баре "Нормандия". Правда, не очень явно. В этом заведении спичку нужно зажечь, чтобы посмотреть на собственные часы.

— Можно угощать даму мартини и не ухлестывать за ней. Может быть, это его кузина, бывшая одноклассница или что-то в этом роде?

— У меня другие сведения. Из самых достоверных источников. Впрочем, не об этом речь. Дело в том, что я ничего не могу узнать об этой женщине. Не знаю, кто она или даже как начать ее розыски.

— Ну от меня ты этого не узнаешь. А кто поручил тебе это?

— Никто, просто упражняюсь.

— Вот и иди упражняться куда-нибудь в другое место. Черт побери, Перси, ведь я занята.

— Ее зовут Мирна, это все, что мне известно.

— Значит, тебе известно больше, чем мне. Если у него и была другая женщина, я об этом ничего не знаю. Должно быть, Бенни это тщательно скрывал.

— А что он вообще был за человек?

— Солидный господин. Добропорядочный. Немного занудный. Этим и объясняется мой скептицизм. Не могу представить себе Бенни в цветнике наслаждения.

— Да брось ты. Слыхала анекдот о дьяконе и сопрано?

— Расскажешь мне за ужином. Кстати, есть еще одно обстоятельство, которое заставляет меня усомниться в этой истории. Последний год Бенни очень следил за своим здоровьем. Мотор барахлил. Лежал в больнице после сердечного приступа. Строгая диета, пораньше в

постель и все такое прочее. Бенни очень дорожил своей особой. Гимнастика с блондинкой сюда плохо вписывается.

— Ты не видела эту блондинку, а я видел. С такой чем раньше в постель, тем лучше.

— Блондинки обманчивы. Всякий тебе скажет, что рыжие куда лучше. Испарись, Перси. Жди меня в баре.

Я подумал, что свидание с Гетти стоит омара. Так оно и оказалось.

Кто была эта Мирна? Шантажистка? По-видимому. Привидение? Скорее всего так.

Но кем бы она ни была, куда же она, черт бы ее побрал, подевалась? Где была сейчас? Просто сгинула, растворилась, как струйка дыма? Никто не знал ее полного имени, местожительства. Никто не видел ее вместе с Бенедиктом Куном. Да и вообще никто, кроме меня и бармена, ни разу не видел ее. Было от чего прийти в отчаяние. Все это было необъяснимо, просто неправдоподобно. Не запомнить такую женщину было невозможно. Это говорил бармен, да и я так считал.

Загадка эта мучила меня постоянно. Я не мог выкинуть ее из головы, но и решить не мог. Я размышлял над ней, как только у меня появлялся свободный часок, но все безрезультатно.

Быть может, Бенедикт Кун убил ее, избавился от тела, а потом в припадке отчаяния, страха и безнадежности покончил с собой? Эта мысль пришла ко мне ночью, и я даже привстал с постели. Затем, однако, мысленно обозвав себя идиотом, улегся снова. Никто еще не слыхал о самоубийце, который, выстрелив себе в затылок, потом избавился бы от пистолета.

Возможно, у полиции имелись ответы. Быть может, они сумели добиться успеха там, где я его не достиг? В целях сохранения своего душевного здоровья я решил узнать об этом. На следующий день я направился в полицейское управление и застал Брэди Болдуина за письменным столом в комнатухе едва ли просторнее, чем моя собственная приемная. Если он и не был счастлив лицезреть меня, то, по крайней мере, встретил весьма дружелюбно.

— Присаживайся, Перси, — пригласил он. — Что тебя беспокоит?

— Мирна, — ответил я.

— Меня тоже.

— Ты хочешь сказать, у тебя ничего на нее нет?

— Ничего. — Он потер свой лысый череп и недовольно покосился на меня. — Знаешь, мне начинает казаться, что она существует только в твоём воображении. Сколько картины ты тогда выпил?

— Ни одного. Только два стакана пива. Брэди, я видел ее. Она там была. Она встретила с Бенедиктом Куном, и они уехали вместе.

— Ну хорошо, Перси, хорошо. — Он вытянул руки и поднял брови. — Но где она теперь?

— Я надеялся, что ты это мне скажешь.

— Не могу.

— А ты уверен, что вы проверили все что можно?

— Все железнодорожные и автобусные станции, аэропорт, отели, мотели и квартиры, сдающиеся внаем. Ребята из полиции графства объездили всю округу, опрашивая всех подряд — может, кто ее видел, подвозил и т.п. Продолжать?

— Извини, Брэди. Просто я очень расстроен. Как далеко от города вы обнаружили его машину?

— Не очень далеко, но уже в пределах юрисдикции графства. Задействована национальная гвардия штата. Как я тебе уже говорил, Бенедикт Кун был найден за рулем. Тело сползло к дверце. Лежал головой вперед. Крови мало. Немного запеклось на волосах вокруг раны — вот и все. Это же было в газетах, Перси.

— Я знаю, хотел услышать это от тебя. Когда он был убит?

— Должно быть, вскоре после того, как ты их потерял. Следователь говорит, где-то между двумя и пятью часами. Ты же знаешь этих ребят. Никогда не заставишь их сказать точно до часа. Точные, как метеорологи. Благодаря тебе мы знаем, что было уже порядочно за три. Возможно, после четырех.

— В газете написано, что его обнаружил агент по продаже недвижимости.

— Верно. Ему принадлежит земля, расположенная дальше, за тем местом, где кончается дорога. Он планирует продолжить строительство этой дороги. Он и представитель фирмы-подрядчика выехали осмотреть место.

— Я что-то не очень хорошо представляю себе это место. Куда выведет эта дорога после завершения строительства?

— Никуда не выведет. Ее конец упрется в поле для игры в гольф, принадлежащее загородному клубу "Сидервейл". Так будет удобнее добираться до верхних участков поля. Кстати, членом этого клуба был Бенедикт Кун. Миссис Кун была там в день его убийства. Она играла в гольф со своим родственником Мартином Фармером, а потом они остались поужинать в баре клуба. Это был солнечный день после дождливого, помнишь?

— Так, значит, они были там? Я попытался позвонить к ней, но не смог ее застать.

— Да, действительно. Мы проверяли, ведь таков поря-

док. Их видели на поле для гольфа и в баре, а автомобиль Фармера видели припаркованным на стоянке. У него одна из последних моделей. Там у них работает один парень, подстригает кустарник и убирает мусор. Так вот, ему эта машина особенно врезалась в память. Там "полный набор".

— "Полный набор"?

— Ну да, как в покере. На номерном знаке. Парнишка этот явно не семи пядей во лбу и развлекается тем, что пытается найти выигрышное сочетание. У Фармера три шестерки и пара троек. Это в самом деле была его машина. Автоинспекция подтвердила.

— Ну что же, вы неплохо поработали, аккуратно, но на Мирну нас это не выводит.

— Да не думай ты об этой Мирне. Мы работаем над решением этой задачи, и тебе не следует вмешиваться.

— Благодарю. — Я понял, что разговор закончен. Встал и вышел.

Я удалился, и с помощью различных ухищрений мне удалось в течение дня удерживаться от мыслей о Мирне. Но когда пришло время идти спать, эти мысли вновь начали беспокоить меня. Я попытался думать о ком-нибудь другом, а именно о Гетти, но это не помогало. Лежа на спине и вглядываясь в темноту, я предоставил свободу своим мыслям и вновь прокручивал события, происходившие в баре "Нормандия". Я снова видел, как Мирна усаживается на табурет, видел, как она подносит бокал с мартини к лицу, лишь смутная тень которого отражалась в затемненном зеркале. Вот вместе с Бенедиктом Куном она быстро пересекла холл гостиницы, и я видел ее спину. И все.

И все? Нет, не совсем. Ведь я слышал ее. Я слышал четкое стаккато каблук-шпильки о мраморные плиты холла и одновременно, будто слабое эхо, другие звуки. Вернее, не другие, а те же самые, но в другое время и в ином месте. А именно: дождливым днем совсем недавно, в вестибюле перед моей приемной. У каждого человека свой особый ритм походки, и, если вы располагаете парой больших чутких ушей, вы без особого труда сумеете отличить этот ритм. Я готов был поручиться, что вестибюль перед моей приемной и холл гостиницы "Стаффорд" пересекал один и тот же человек.

Но зачем? Задавая себе этот вопрос, я почувствовал, как у меня от волнения мурашки по спине поползли. Зачем понадобилось Дульчи Кун надевать белокурый парик, туфельки на шпильках, очки от солнца, столь вызывающе подчеркивать свою сексапильность, и все лишь для того, чтобы встретиться со своим собственным мужем в модном баре?

Ответить на этот вопрос было очень просто. Мало ли жен встречается с мужьями в самых различных местах, преследуя самые различные цели. Что касается париков, то женщины, которые могут себе это позволить, меняют их в наши дни, как шляпки. Они меняют цвет своих волос в угоду своим настроениям и в тон одежде.

Более существенным было вот что: она лгала про шантажистку, которой, весьма вероятно, вообще никогда не существовало, и зачем ей понадобилось, чтобы некий Перси Хэнд стал свидетелем подозрительной встречи в полуосвещенном баре, выбранном именно по этой причине. Вопрос этот состоял из двух частей. Ответ на первую был очевиден даже для меня. Она выдвинула на сцену сексапильную блондинку с целью отвлечь подозрение от лиц, на которых оно в ином случае могло бы пасть. Ответ на вторую часть вопроса также был ясен как день. Суть его состояла в том, что Перси Хэнд, державший свою контору где-то на задворках и имевший в своей работе больше проколов, чем удач, был идеальным человеком для умной женщины, замыслившей убийство. Ответ этот мне не нравился, он был обиден, но деваться было некуда. Ничего лучше я придумать не мог.

Но погодите-ка минутку, ведь Дульчи Кун находилась в это время в загородном клубе "Сидервейл". Она играла в гольф, пила коктейли в баре и рано поужинала вместе со своим кузеном. Это подтвердили свидетели, и эти свидетели удовлетворили взыскательного Брэди Болдуина, которого нелегко было удовлетворить. Быть может, я ошибался? Быть может, большие уши и крохотный мозг старины Перси подвели его? Ведь в прошлом такое уже случалось. Однако, лежа в постели и мысленно анализируя звуки женских шагов, делая скидку на различия, объяснимые тем, что в одном случае небольшие каблучки стучали по паркету, а в другом — шпильки — по каменному полу, я пришел к твердому убеждению: в обоих случаях это был один и тот же человек. Дульчи Кун.

И вдруг меня осенила еще одна блестящая идея. Точнее, это была не идея, просто в памяти всплыла одна вещь, которая в данных обстоятельствах могла иметь важное значение, а могла и не иметь. Однако эта идея заставила меня встать с постели и в темноте набрать номер, который я мог набрать на ощупь. На другом конце линии зазвонил телефон. Звонил он долго, а я все ждал и ждал. Наконец заспанный раздраженный голос пробурчал:

— Вы не туда попали, положите трубку.

— Погоди минуту, Гетти, — сказал я. — Не вешай трубку.

— Кто это? Похоже, ты, Перси? Ушам своим не верю.

— Перси, кто же еще.

— Черт бы тебя побрал, Перси. Три часа ночи.

— Гетти, я только хочу задать тебе один простой вопрос.

— Ответ будет отрицательным. Я слишком молода, а ты чересчур беден. Ничего не получится.

— Как скажешь. А теперь, может быть, ответишь на мой вопрос?

— А ты его еще не задал, как же я могу на него ответить?

— Так вот. Какой болезнью сердца страдал Бенедикт Кун?

— Откуда я знаю? Их что, много?

— Согласно последним данным науки — несколько. Ты можешь узнать.

— Если меня как следует заинтересовать.

— Ты имеешь в виду взятку? Какие же теперь расценки?

— Еще один ужин.

— В самом ближайшем будущем.

— Согласна. Утром сразу же наведу справки.

— Позвони мне в контору.

— Сразу же, как только узнаю.

Она повесила трубку, я тоже. Выкурив три сигареты, я снова лег. Заснуть я не мог, и до рассвета мне пришлось ждать целую вечность. Я хотел было позвонить еще кое-кому, но потом решил подождать. Разбуженный среди ночи, Брэди Болдуин будет посварливее, чем Гетти, а взятку ему не всучишь.

Наутро я сидел в своей конторе, положив ноги на стол. Зазвонил телефон. Это была Гетти. Материальный стимул в виде бифштекса сделал свое дело. Она сдержала слово и дала ответ на интересующий меня вопрос, и ответ был тот, на который я рассчитывал. Наконец-то после долгого периода невезения замаячила удача.

Я позвонил в полицейское управление. После ряда вопросов на коммутаторе меня соединили с Брэди Болдуином.

— Привет, Перси, — сказал он. — Новостей нет.

— Я позвонил не для того, чтобы брать, а чтобы дать. Это благороднее. Короче, я нашел ее. — На линии что-то жужжало, и я прислушивался к этому жужжанию. Брэди слушал меня на другом конце провода и молчал.

— Извини меня, Перси, должно быть, линия не в порядке. Мне почудилось, ты сказал, что нашел ее.

— Да, нашел.

— Где?

— Сидит у меня на коленях.

— Не дурачься, Перси. Отвечай коротко и ясно.

— Не сейчас, позднее.

— Хватит со мной шутки шутить. Хочешь потерять свое разрешение на частную практику?

— Я не шучу с тобой, Брэди. Может быть, я ошибаюсь, а мне нужно быть уверенным на все сто. Окажешь мне услугу?

— Почему это я должен тебе ее оказать?

— Ты и себе ее окажешь.

— Это другое дело. Какую?

— Машина Бенедикта Куна все еще у вас?

— Да, но скоро мы ее возвратим.

— Что вы с ней делали?

— Как обычно. Сфотографировали. Сняли отпечатки пальцев, сделали серию анализов. Никаких особых результатов.

— Заднее сиденье тоже обследовали?

— Разумеется, за дураков нас, что ли, считаешь, Перси? Куна убили выстрелом в затылок. Это мог сделать кто-то третий, спрятавшийся на полу сзади. Вполне вероятно.

— А багажник?

— Это еще зачем? Каким образом его могли застрелить из багажника?

— Пусть обследуют багажник, ладно? Это та самая услуга, о которой я просил.

— Может, лучше будет, если ты сразу скажешь, что у тебя на уме?

— Я же сказал — после, Брэди. Так оно и будет. Пока.

Чтобы избежать упреков, угроз и прочих неприятностей со стороны Брэди, я повесил трубку, схватил шляпу и выскочил из конторы, прежде чем он успел набрать мой номер. Я уселся в машину, взял курс на восток и через некоторое время уже подъезжал к загородному клубу "Сидервейл", куда людей моего положения и достатка заносит крайне редко.

На стоянке я увидел с дюжину автомобилей самых последних моделей. День был ясный, сухой и удивительно теплый для этого времени года. На поле для гольфа я заметил несколько сумок игроков. Перед зданием клуба какой-то угловатый тип орудовал секатором у кустов можжевельника; на лице его играла улыбка удовлетворенного идиота. На мой взгляд, он чрезвычайно походил на человека, который забавляется игрой в покер, довольствуясь вместо карт номерами автомобилей. Поэтому я походил вокруг и заявил, что сегодня замечательный день для столь позднего времени года. Он согласился. Я высказал мысль, что сегодня отличный день для игры в гольф. Он не стал возражать и против этого. Я спросил его, много ли членов клуба еще играют в гольф, и он ответил, что порядочно.

— Вы член клуба? — спросил он.

— Нет, я полицейский.

Я не стал разъяснять ему разницу между частным детективом и государственной полицией, да он меня об этом и не спрашивал.

— Здесь уже был один полицейский на днях, — сказал он. — Расспрашивал о миссис Кун и мистере Фармере.

— Я знаю. Мы вынуждены проводить такие расспросы, чтобы выяснить все обстоятельства. Убийство, сами понимаете. Важно знать, кто где был в определенное время.

— Ну да. Так вот, миссис Кун и мистер Фармер как раз здесь и были. Поэтому я так и сказал.

— Вы их видели?

— Не их, его машину. Она была вот здесь припаркована. Я помню потому, что у нее на номере был полный набор очков. Я вроде как играю здесь сам с собою в покер.

— Да, я слышал об этом. А вы видели, как они уехали?

— Они не уехали. Я хочу сказать не уехали, пока я был здесь. Но другие их видели. Они вернулись в клуб с поля примерно около четырех часов, а потом были в баре и поужинали до отъезда. Я закончил работу в пять.

— Когда они сюда приехали и поставили машину на стоянку?

— Точно не помню. Около одиннадцати. Мне нужно было взять кое-какие инструменты в гараже, и когда я вернулся, их машина уже стояла здесь.

— Долго вы были в гараже?

— Ну мне нужно было поговорить там с одним парнем, и на это ушло время. По крайней мере полчаса. За это время сюда понаехало много машин. В этот день в клубе был какой-то завтрак.

— Понятно. Итак, их машина подъехала вскоре после одиннадцати. Миссис Кун и мистер Фармер вернулись с поля для игры в гольф около четырех. Долгая у них была игра.

— Должно быть, они упражнялись, прежде чем начать игру.

— Я тоже так думаю.

Я оставил его у кустов можжевельника и выехал со стоянки. Мне следовало бы ехать прямо в полицейское управление, но я туда не поехал, причиной тому был полученный мною гонорар и в еще большей степени уязвленная гордость или самолюбие, называйте это как хотите. Поехал я на Корнинг Плейс, 15 и у дверей был перехвачен уже знакомой мне горничной. И как в прошлый раз, она направилась узнать, примет ли меня миссис Кун.

Я ожидал в холле возвращения горничной, но она не вернулась. Вместо нее через некоторое время вышел Мартин Фармер — "седьмая вода на киселе". Держался

он очень вежливо, но было видно, что я ему порядком надоел. Миссис Кун, заявил он, никого не принимает. Она неважно себя чувствует, и беспокоить ее не следует.

— Какая жалость, — сказал я. — Прошу выразить мое сочувствие миссис Кун, но передайте ей, что мистер Хэнд располагает важной информацией, и это вынуждает его настаивать на встрече.

— Ага? Но, быть может, если вы сообщите мне эту информацию, я смогу позднее передать ее миссис Кун?

Это был критический момент в наших переговорах, и трудно было сказать, получу ли я разрешение побеседовать с миссис Кун или меня вежливо выставят за дверь. Мартин Фармер колебался, взвешивая за и против, наконец, пожав плечами, согласился.

— Пойду узнаю, — сказал он. — Пожалуйста, подождите в библиотеке. Дорогу вы знаете.

Я направился в библиотеку и стал ждать. Примерно минут через пять туда вошла Дульчи Кун в сопровождении "седьмой воды на киселе", иными словами, Мартина Фармера. Он остановился у двери. Она прошла немного вперед. На этот раз на ней была белая блузка и туго облегающие бедра черные брюки. На босу ногу были надеты сандалии без каблучков. Выглядела она, по меньшей мере, весьма раздраженной и явно не намеревалась тратить на меня много времени.

— Мистер Хэнд, — сказала она, — по-моему, я вполне ясно дала вам понять, что наши с вами дела закончены. Зачем вы снова пожаловали?

— Я пришел к вам сообщить, что нашел Мирну. Я думаю, вам интересно будет об этом узнать.

На мгновение в комнате воцарилась тишина, никто не двигался и не дышал. Потом Мартин Фармер неожиданно зашевелился у двери, но я не смотрел на него. Я продолжал глядеть на Дульчи Кун. На ее щеках появились малиновые пятна, глаза, оттененные длинными густыми ресницами, блестели. Губы ее беззвучно шевелились, но потом замерли. Казалось, сначала она собиралась оспорить мое невероятное утверждение, ведь Мирна была мифом, но вовремя спохватилась.

— Где? — спросила она.

— Там, где я меньше всего ожидал ее найти.

— Не говорите загадками, мистер Хэнд. Кто она?

— Вы. Вы и есть Мирна, миссис Кун.

— Вы с ума сошли. — Она громко засмеялась, в голосе ее слышалось презрение. — Да, я явно совершила ошибку, обратившись к вам.

— Вы действительно совершили ошибку, но состояла она в том, что вы приняли меня за большего глупца, чем я есть на самом деле. Придумав способ, как убить своего

мужа, вы нуждались в свидетеле, который должен был подтвердить существование никогда не существовавшей убийцы. Не очень проницательном свидетеле. Не знаю точно, почему вы остановили свой выбор именно на мне, но, право, жаль, что я не смог вам услужить.

— Вы не такой глупец, как я думала? Да вы во сто крат больший!

— Пусть поговорит, Дульчи, — услышал я голос Мартина Фармера, стоявшего у дверей. Голос звучал вкрадчиво, и я впервые осознал, что имею дело с очень опасным человеком. — Даже глупец может признавать свою глупость, если он обладает ею в избытке.

— Благодарю за высокую оценку моей личности, — ответил я. — Не имеет значения, как я в конце концов догадался, что вы и есть Мирна, миссис Кун. Мне потребовалось на это немало времени, и гордиться тут нечем. Туфельки на шпильках, чтобы увеличить свой рост, ведь во время встреч со мной вы всегда носили обувь без каблука. Белокурый парик; теперь, когда известно, что он у вас есть, полиция без особого труда установит, где он был изготовлен и приобретен. Нарочитая сексапильность всего облика — для вас это было совсем нетрудно. А главное — темные очки, полумрак бара и всевозможные ухищрения, для того чтобы я не смог как следует разглядеть ваше лицо. Вы все время отворачивались от меня, и лицо ваше постоянно находилось в тени. К несчастью для вас, мои уши не в пример глазам оказались на высоте.

— Что означает это ваше дурацкое замечание?

— Секрет фирмы. Если вы не возражаете, не буду его раскрывать. Во всяком случае, как только я понял, что в баре были вы, я догадался, что все заранее подстроено.

— Просто невероятно. Если бы все это не было столь омерзительной клеветой, я нашла бы это весьма занятным. — Голос ее, несмотря на приятный тембр, звучал резковато. На щеках продолжали гореть пятна. Она была одержима чувствами, которые вряд ли можно было назвать праведными. — Теперь, когда вы пришли к выводу, будто я задумала всю эту сложную мистификацию, может быть, вы скажете, зачем мне понадобилось убивать своего мужа.

— Я думаю, вы мне скажете. Деньги? Отчасти. Деньги и мужчина, который помог вам осуществить это убийство.

— Так, значит, здесь замешан мужчина. Кто же он, если не секрет?

— Человек, которого вы встретили в баре "Нормандия", — Мартин Фармер.

— Но ведь это просто абсурдно. Вы с ума сошли, не так ли? Я все время считала, что подразумевается, будто в баре я встретилась со своим мужем.

— Вы хотели, чтобы так считал я. Но мужчина, с которым вы там встретились, не был вашим мужем. Это был ваш дальний родственник — “седьмая вода на киселе”. Это его выражение, не мое. Ему нужно было лишь соблюдать такую же осторожность, как и вам. Надеть костюм, который, как вы мне сообщили, будет на вашем муже. Держать лицо в тени. Рост, фигура, цвет волос — все у него, как у вашего мужа. Все, кроме имени и жены.

— Но мой муж был убит. Помните? Где в вашей истории найдется местечко для моего мужа?

— Местечко найдется в багажнике. В багажнике серого седана. Он был убит в этом доме около двух часов дня, достаточно поздно для того, чтобы удвоить экспертизу, занимавшуюся установлением времени его смерти; ведь абсолютно точно установить время смерти не представляется возможным. Оторвавшись от меня, вы посадили его за руль и оставили там, где его потом нашли.

— Но мне кажется, вы что-то позабыли. — Это снова был Мартин Фармер, и я повернулся к нему. Он нагло смотрел на меня, слегка улыбаясь, но глаза его глядели холодно и настороженно. — Дульчи и я были в загородном клубе. Мы играли в гольф, пили коктейли, поужинали. Нас видели с десятков людей, и они нас запомнили.

Теперь, когда уже почти все было сказано, я внезапно задумался над тем, смогу ли я выйти из этого дома живым.

— Ваше алиби чрезвычайно сомнительно. Чтобы иметь машину наготове, вы до полудня приехали на своем автомобиле в клуб и оставили его на стоянке. Но сами вы там не остались. Я полагаю, за вами следом ехала миссис Кун, она и привезла вас назад сюда, где вам предстояло выполнить некую работу, причем были приняты все меры предосторожности, чтобы вам никто не помешал. Вы понимаете, какую работу я имею в виду. Ваши сумки для гольфа были уложены в седан вместе со сменной одеждой. Оставив машину Куна в том месте, где кончалась дорога, нетрудно было переодеться и сложить в сумки для гольфа снятую одежду. Вам потребовалось всего несколько минут, чтобы пересечь пустырь, лежавший между концом дороги и задним участком поля для игры в гольф. Разумеется, это было рискованно, но вы пошли на этот риск, и он оправдался. Потом вы, парочка невинных игроков в гольф, подошли к зданию клуба. У вас были свидетели, готовые подтвердить, что видели вас, и машина, на которой вы отправились домой. Но я не помню, чтобы хоть кто-нибудь утверждал, что видел вас до того, как вы вернулись с поля. То, что вы играли в гольф, просто предполагалось. Брэди Болдуин — опыт-

ный полицейский, и он, несомненно, заинтересуется этим обстоятельством.

— Крайне интересная версия, — сказала Дульчи Кун, — и весьма остроумная. Не советую, однако, где-нибудь повторять ее. Я могу обратиться в суд, и вам придется иметь дело с моим юристом.

— Я предвижу, что вам самой придется иметь дело с юристом. Я имею в виду прокурора. Не забывайте, что серый седан еще находится в распоряжении полиции. Как раз сейчас лаборатория обследует багажник, и можно не сомневаться, что они найдут доказательства того, что ваш муж находился в этом багажнике, — нитку, пару волосинок, пятно крови, словом, что-нибудь. Просто удивительно, каких успехов достигла наука в наши дни. Думаю, Брэди скоро будет здесь. Можете в этом не сомневаться. Поэтому, чем скорее вы свяжетесь со своим юристом, тем лучше.

Я стал продвигаться к дверям. Никто меня не останавливал. Я прошмыгнул мимо "седьмой воды на киселе" и был таков.

По крайней мере, думал я, наконец-то мне удалось отработать полученный гонорар.

За ужином нас было трое. Я, Гетти и Брэди Болдуин. Брэди был приглашен потому, что закончил это дело и заслужил ужин, а я захотел проявить широту натуры. Три скрипки и фортепиано создавали соответствующий фон. Все было замечательно и очень мило. После ужина Брэди стала немного беспокоить его язва.

— Надо ехать домой, принять лекарство, — сказал он. — Поэтому я уж лучше сразу выскажу тебе свои комплименты и покончу с этим. Признаю, что в этом деле ты проявил просто-таки гениальность. Но в одном тебе просто подфартило, и тут твоей заслуги нет. В лучшем случае, с твоей стороны это была просто удачная догадка. Я имею в виду то, как ты додумался, что в баре Дульчи Кун встретила Мартина Фармера. Может, это была даже и не догадка. Может быть, когда позднее ты увидел Фармера, ты его просто узнал?

— Ничего подобного. Не пытайся преуменьшить мои заслуги, Брэди. Фармер и Кун очень похожи друг на друга, а мне так и не удалось как следует рассмотреть мужчину в баре. Уж Фармер об этом позаботился. Нет, я считал, что в баре был Бенедикт Кун и уехал он оттуда со своей женой. Лишь позднее я узнал кое-что и тогда понял, что в баре был другой человек. А так как этот кузен — "седьмая вода на киселе" — все время так подозрительно болтался возле Дульчи, я и назвал его.

— Ну хорошо, что же ты узнал?

— Благодаря Гетти я узнал, что Бенедикт Кун страдал

заболеванием сердца. Нет, жизни его эта болезнь особенно не угрожала, во всяком случае, он мог прожить еще долгие годы, что, конечно же, вряд ли устраивало Дульчи. Особенно после того, как он стал строжайшим образом соблюдать режим питания и чертовски нежно относиться к своей особе.

— Постой, Перси. Но ты же не можешь сказать, что у человека большое сердце, лишь взглянув на него. Ты что, пытаешься убедить меня в том, что человек в баре выглядел так, будто он не страдает болезнью сердца?

— Дело было не в том, как он выглядел, а в том, что он делал. Гетти разузнала для меня кое-что о заболевании Куна. Людям, страдающим этим заболеванием, предписана строжайшая бессолевая диета. А мужчина в баре, ожидая даму, все время ел соленый арахис.

Гетти пила кофе, курила и сквозь дым посматривала на меня с весьма многообещающим видом:

— Разве он не удивителен? Ты ведь сам говорил, Брэди, что он просто гениален. Меня возбуждает уже само сознание того, что я знакома с таким человеком.

— Черт бы меня побрал, — Брэди со своим стулом отодвинулся от стола, встал и раздраженно посмотрел на меня:

— Доброй ночи, Гетти. Доброй ночи, гений. Поеду, лягу в постель.

— Мы еще немного посидим и тоже последуем твоему примеру, — промурлыкала Гетти.

Владимир Соловьев

ПРИЗРАК, КУСАЮЩИЙ СЕБЕ ЛОКТИ

Он умер в воскресенье вечером, вызвав своей смертью смятение в нашем эмигрантском землячестве. Больше всего поразился бы он сам, узнай о своей кончине.

По официальной версии, смерть наступила от разрыва сердца, по неофициальной — от запоя, что не исключает одно другого: его запои были грандиозными и катастрофическими, как потоп, даже каменное сердце не выдержало бы и лопнуло. Скорее странно, что, несмотря на них, он ухитрился дожить до своих 52-х, а не отдал богу душу раньше. Есть еще одна гипотеза — будто он захлебнулся в собственной блевотине в машине "скорой помощи", где его растрясло, а он лежал на спине, привязанный к носилкам, и не мог пошевелиться. Все это, однако, побочные следствия, а не главная причина его смерти, которая мне доподлинно известна от самого покойника.

Не могу сказать, что мы были очень близки — не друзья и не родственники, просто соседи, хотя встречались довольно часто, но больше по бытовой нужде, чем по душевной. Помню, я дал ему несколько уроков автовождения, так как он заваливал экзамен за экзаменом и сильно комплексовал, а он, в свою очередь, выручал меня, оставляя ключ от квартиры, когда всем семейством уезжал на дачу. Не знаю, насколько полезны оказались мои уроки, но меня обладание ключом от пустой квартиры делало более инициативным — как-то даже было не-

© Vladimir Solovyov, 1990.

Все события и действующие лица, описанные в рассказе, — вымышленные, и любое сходство с реально существующими людьми — чисто случайное.

ловко оттого, что его квартира зря простаивает из-за моей нерешительности. Так мы помогли друг другу избавиться от комплексов, а я заодно кормил его бандитских наклонностей кота, которого на дачу на этот раз не взяли, так как в прошлом году он терроризировал там всех местных собак, а у одной даже отхватил пол-уха. Вручая мне ключ, он каждый раз заново говорил, что полностью мне доверяет, и смотрел на меня со значением — вряд ли его напутствие относилось к коту, а смущавший меня его многозначительный взгляд я разгадал гораздо позднее.

Формально я не оправдал его доверия, но, как оказалось, это входило в его планы — сам того не сознавая, я стал периферийным персонажем сюжета, главным, хоть и страдательным героем которого был он сам.

Пусть только читатель не поймет меня превратно. Я не заморил голодом его кота, хотя тот и действовал мне на нервы своей неблагодарностью — хоть бы раз руку лизнул или, на худой конец, мурлыкнул! Я не стянул из квартиры ни цента, хотя и обнаружил тщательно замаскированный тайник, о котором сразу же после похорон сообщил его ни о чем не подозревавшей жене, — может быть, и это мое побочное открытие также входило в его разветвленный замысел? Я не позаимствовал у него ни одной книги, хотя в его библиотеке были экземпляры, отсутствующие в моей и позарез нужные мне для работы, а книжную kleптоманию я считаю вполне извинительной и прощаю ее своим друзьям, когда не досчитываюсь той или иной книги после их ухода. Но с чем я не смог совладать, так это со своим любопытством, на что покойник, как впоследствии выяснилось, и рассчитывал — в знании человеческой природы ему не откажешь, недаром ведь поэт, особенно тонко разбирался он в человеческих слабостях, мою просек с ходу.

В конце концов, вместо того чтобы водить девочек на хату — так, кажется, выражались в пору моей советской юности, — я стал наведываться в его квартиру один, считывая сообщения с автоответчика, который он использовал в качестве секретаря и включал даже когда был дома, и листая ученическую тетрадь, которую поначалу принял за дневник, пока до меня не дошло, что это заготовки к повести, первоначальный ее набросок. Если бы ему удалось ее дописать, это, несомненно, была бы его лучшая книга — говорю это со всей ответственностью профессионального литературного критика. Но он ее никак не мог дописать, потому что не он ее писал, а она его писала — он был одновременно ее субъектом и объектом, ав-

тором и героем, и она его писала, пока не уничтожила, и его конец совпал с ее концом, она закончилась вместе с ним. А так как живому не дано изведать свой предел и стать хроникером собственной смерти, то мой долг как невольного душеприказчика довести эту повесть до формального конца, изменив ее жанр на рассказ — именно ввиду незаконченности и фрагментарности рукописи, то есть недостаточности оставленного мне прозаического и фактического материала. Такова природа моего соавторства, которое началось с подглядывания и подслушивания — считаю долгом предупредить об этом заранее, чтобы читатель с более высоким, чем у меня, нравственным чутьем мог немедленно прекратить чтение этого по сути бюллетеня о смерти моего соседа Саши Баламута, записанного посмертно с его собственных слов.

Когда я впервые обнаружил эту тетрадь, что было не так уж трудно, так как она лежала прямо на его письменном столе, пригласительно открытая на последней записи, — так вот, тогда в ней было всего несколько заметок, но с каждым моим приходом, а точнее, с каждым приездом Саши Баламута с дачи, тетрадка пополнялась все новыми и новыми записями. Последние, предсмертные, сделаны нетвердой рукой, мне стоило большого труда разобрать эти каракули, но я не могу с полной уверенностью установить, что тому причиной — истощение жизненных сил или алкоголический токсикоз?

Вот первая запись в тетради Саши Баламута:

Хуже нет этих утренних “коллект коллз”, звонков из Ньюфаундленда, где делает последнюю перед Нью-Йорком посадку их аэрофлотовский самолет! Это звонят самые отчаянные, которые, не решившись ввиду поверхностного знакомства предупредить о своем приезде заранее, идут ва-банк и объявляются за несколько часов до встречи в аэропорту имени Кеннеди. Конечно, мне не на кого пенять кроме как на себя — за полвека пребывания на поверхности земли я оброс людьми и женщинами, как осенний пень опятами. Но в данном случае мое амикошонство было совершенно ни при чем, потому что плачущий голос из Ньюфаундленда принадлежал дочери моего одноклассника, с которым мы учились с 4-го по 7-й, дальше наши пути разошлись, его следы теряются, я не помню его лица, над которым, к тому же основательно, поработало время, а о его дочери и вовсе ни слухом, ни духом, а потому стоял в толпе встречающих и держал плакат с ее именем, вглядываясь в молодых девушек и смутно надеясь, что моя гостя окажется секс-бомбой, — простительная слабость для человека, неуклонно приближающегося к возрасту одного из трех старцев, которые из-за куста подглядывали за ку-

пающейся Сусанной. (Какая, однако, прустовская фраза получилась — обязательно в окончательном варианте разбить ее по крайней мере на три!)

Моя Сусанночка и в самом деле оказалась смазливой и сговорчивой, но мне это стало в копейку, плюс украденный из моей жизни месяц, не написал ни строчки, так как она не знала ни слова по-английски, и, помимо прочего, я служил при ней чичероне. Измучившись от присутствия в квартире еще одной женщины, Тата закатила мне скандал, а другой скандал устроила своему старцу Сусанночке после того, как я, очутившись меж двух огней, предпочел семейное счастье и деликатно намекнул моей ласточке, что наше гостеприимство на исходе — пусть хоть сообщит, когда она собирается осчастливить нас своим отъездом (как и у всех у них, обратный билет у нее был с открытой датой). Мне стоило больших усилий ее спровадить, сама бы она задержалась на неопределенный срок, ибо, как выяснилось, была послана семьей на разведку и ее время было неслучайно, в то время как у меня тотальный цейтнот — ничего не успеваю! И боюсь, уже не успею: жизненное мое пространство сужается, все, что осталось — сморщенная шагреневая шкурка. Мы, кстати, приезжали без всяких разведок, втемную — не упрекаю, а констатирую. С ходу отметаю ее крикливые обвинения, будто я ее совратил — пробы негде ставить, Бог свидетель!

И причем здесь, скажите, моя кавказская натура, о которой мне Тата талдычит с утра до вечера, когда мы ни с кем так не намучились, как с ее мамашей! Шутка ли — четыре месяца непрерывной нервотрепки вместо предполагаемого примирения! За десять лет ни одного письма, хотя Тата исправно посылала в Москву посылки для нее, для своей сестры и непрерывно растущей семьи — сестра усердно рожала детей, дети росли, менялись их размеры, я стал крупнейшим в Америке специалистом по детской одежде, обуви и игрушкам. Самое поразительное, что чем больше Тата посылала этой прорве посылок, тем сильнее ощущала чувство вины перед не откликающейся на подарки матерью, хотя по всем понятиям виноватой должна была чувствовать себя не Тата, а Екатерина Васильевна за то, что, напутствуя нас в эмиграцию, предала анафеме собственную дочь, никто ее за язык не тянул, наоборот, в редакции всячески противились публикации ее письма, и она добилась через горком партии, где служила когда-то в отделе пропаганды — или как он там называется?

И вот, сбросив теперь идеологический покров, она приехала к нам, как сама выразилась, оторваться — понятная забота советского человека, но полностью поглощающая все остальные его чувства, в случае с моей тещей — материнские. Если материнское проклятье перед отъездом еще можно как-то списать на идеологическую муть либо объяснить страхом и переСТРАХовкой, то нынешнее леденящее равнодушие Екатерины Васильевны к Тате объяснить совершенно нечем. Тату оно сводило с ума — в

том числе то, что Екатерина Васильевна постоянно оговаривалась и называла ее именем оставшейся в Москве дочери, ради семьи которой она, собственно, и пожаловала к нам. Такое у меня подозрение, что Екатерина Васильевна продолжала в глубине души считать нас с Татой предателями, но за что могу ручаться — не то что материнских, а хотя бы родственных чувств к Тате она не испытывала никаких, скорее — наоборот. Что-то ее раздражало в нашей здесь жизни, либо сам факт, что мы здесь, а они там. В конце концов я стал прозревать истинную причину ее к нам приезда — разрушить нашу семью, которая и без того неизвестно на чем держится.

Бегая с Екатериной Васильевной по магазинам, чтобы одеть и обуть ораву московских родственников, и чувствуя глухое, но растущее раздражение матери, Тата уже на второй месяц выбилась из сил и оказалась в больнице с общим неврозом, что вызвало у Екатерины Васильевны с ее комсомольской закалкой тридцатых годов разве что любопытство вперемежку с презрением, а не исключено, что и злорадство. Дело в том, что ко мне Екатерине Васильевне было не подступиться, и она вымещала всю злобу на дочери. Мне нечего добавить к тому, что сказал о моей теще поэт, имея, впрочем, в виду все ее закаленное, как сталь, поколение: "Гвозди бы делать из этих людей, в мире бы не было крепче гвоздей".

Чуть ли не каждый день у них с Татой возникали ссоры, в одну из которых я имел неосторожность вмешаться, и еще немного — взял бы грех на душу: Тата буквально оттащила меня от Екатерины Васильевны, когда я пытался ее задушить. Мне невыносимо было смотреть, как мать измывается над дочерью, но измученная Тата уже мало что соображала и накопившееся раздражение обрушила на меня, решив со мной развестись и уйти в монастырь, чтобы вообще больше не видеть человеческие лица. Из рабы любви она превратилась в рабу нелюбви и, осознав это, пришла в отчаяние.

В таких абсолютно тупиковых ситуациях я прибегаю обычно к испытанному средству, и весь последний месяц пребывания у нас Екатерины Васильевны пробыл в отключке, надеясь, что мое непотребство ускорит отъезд тещи. Не тут-то было — от звонка до звонка. Мы с Татой были на пределе и разрыдались, не веря собственному счастью, когда самолет Аэрофлота с Екатериной Васильевной на борту взмыл наконец в наше нью-йоркское небо. По-настоящему очнулись только в лесной адирондакской глуши — побаловали себя заслуженным отдыхом, но приближается новое испытание — приезд Татиной сестры, который мы из последних сил оттягиваем. Какое все-таки счастье, что хоть моя сестра умерла в детстве от скарлатины. Двух сестер нам ну никак не выдержать!

Судя по законченности обоих эпизодов — с Сусанночкой и с тещей, которые требовали минимальной авторс-

кой редакции и ее направление было обозначено заметкой на полях о необходимости разбить "прустовскую" фразу по крайней мере на три, Саша Баламут писал повесть, а не просто вел дневник. Да и не из тех он был людей, чтобы вести дневник для самого себя, — был он профессиональный литератор и к написанному слову относился меркантильно. Как и к окрестной реальности, которую норовил всю перенести на бумагу, пусть даже под прозрачными псевдонимами и с едва заметными смещениями. Я бы назвал его остроумную, изящную и облегченную поэзию стилизованным натурализмом, а помещенный в самый ее центр портрет рассказчика — стилизованным автопортретом. До сих пор он верховодил над действительностью, и вдруг она стала ускользать от него, выходить из-под его контроля, доминировать над ним. Он хотел написать веселую, с элементами пасквиля и зубоскальства, повесть о советских визитерах и успел даже придумать ей остроумное название — "Гость пошел косяком", которое я бы у него позаимствовал, не подвернись более удачное, но реальность превзошла его ожидания, давила на него, изначальный замысел стал коренным образом меняться.

У меня есть основания полагать, что роковое это изменение застало Сашу Баламута врасплох — в его планы никак не входило отдать богу душу в ходе сюжета, который он взял за основу своей комической повести, а ей суждено было стать последней и трагической. Повелитель слова, властелин реальности, он растерялся, когда скорее почувствовал, чем понял, что повесть, которую задумал и начал сочинять, вырвалась из-под его управления и сама стала им управлять, ведя автобиографического героя к неизбежному концу. Саша Баламут попытался было сопротивляться и, пользуясь творческой инерцией, продолжал заносить в тетрадку свои наблюдения над советскими гостями, но помимо его воли в комические записи закрадывалась тревога, и чем дальше, тем сильнее сквозили в них растерянность и тоска обреченного человека. Записи становились короче и бесцельнее, за ироническим покровом все чаще сквозило отчаяние.

Стремясь если не нейтрализовать, то, по крайней мере, амортизировать обрушившиеся на него удары судьбы, Саша Баламут использует автоответчик с единственной целью: отбора нужных и отсева ненужных звонков. Однако любопытство возобладает над осторожностью, и понять его можно — рассказы Саши Баламута стали печататься у него на родине, и каждый советский гость был

потенциальным благовестником, хотя любая благая весть сопровождалась обычно просьбой, чаще всего — несколькими. За советскую публикацию и даже за весть о ней Саше Баламуту приходилось дорого платить. Весть о его авторском честолюбии широко распространилась в Советском Союзе, и гости оттуда всегда могли рассчитывать на постой в его тесной квартирке в Вашингтон-Хайтс, прихватив с собой в качестве презента его публикацию либо даже только информацию о ней. Его автоответчик гудит советскими голосами — большинство звонящих сначала представляются, так как незнакомы с Сашей Баламутом, а потом сообщают, что у них для него хорошая новость — сообщение из журнала, письмо из издательства, гранки рассказа, верстка книжки, свежий оттиск еженедельника с его сочинением либо критическая статья о нем.

Слово — Саше Баламуту:

Повлю себя на противоречии, которое, по сути, есть лабиринт, а из него уже не вижу никакого выхода. Неужели мне суждено погибнуть в лабиринте, архитектором которого я сам и являюсь? С одной стороны, я хочу казаться моим бывшим соотечественникам успешным, удачливым и богатым, а с другой — у меня нет ни сил, ни денег, ни времени, ни желания тратиться на этих бесстыдных попрошайек и хапуг. Они никак не могут понять, что за наш здешний высокий уровень жизни заплачено тяжким трудом и, чтобы его поддерживать, приходится работать в поте лица своего. И не затем я вкалываю, чтобы водить их по ресторанам, возить на такси и покупать подарок за подарком. Кто они мне? Я вижу эту женщину впервые, но знакомство встало мне в добрую сотню — не слишком ли дорогая цена за привезенный ею журнал с моей поэмой? Не слишком ли дорого мне обходятся советские публикации — у меня там скапливаются уцененные, макулатурные деревянные рубли, а я пока что трачу самую что ни на есть твердую валюту? Мое хвастовство стимулирует их аппетит и подстегивает их эгалитарное сознание — почему бы мне в самом деле не поделиться с ними по-людски, по-товарищески, по-христиански?

Тата ругает меня, что я говорю им о нашей даче на Лонг-Айленде, а они по даче судят о моем благосостоянии и статусе. Видели бы они этот кусок деревянного дерьма — mobile home с фанерными декоративными перегородками, протекающей крышей, испорченным водопроводом, без фундамента, я уже не говорю, что у черта на рогах. Надо быть идиотом, чтобы его купить, и этот идиот — я. Купить дом, чтобы мечтать его продать, только кому он нужен? Но откуда, скажите, мне взять деньги на настоящий дом?

Мать говорит про меня, что в большом теле мелкий дух — ка-

кой есть, будто я выбирал, чем заселить мое и в самом деле крупногабаритное тело. Я люблю бижутерию, мелких животных, миниатюрных женщин — если бы не стал писателем, пошел бы в часовщики либо ювелиры и разводил бы канареек на досуге. Моя любимая поговорка наполовину ювелирная: "У кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий". Так вот, у меня жемчуг мелкий, а потому я не в состоянии помочь людям с жидким супом. Как и они мне с моим мелким жемчугом.

Странные все-таки они люди — хотят соединить свою бесплатную медицину с "байераспирином" и другими чудесами американской фармацевтики, свои даровые квартиры с нашими видиками и прочей электроникой, хотят жить там и пользоваться всеми здешними благами. Чем чаще я с ними встречаюсь, тем хуже о них думаю: нахлебники, дармоеды, паразиты. Даже о лучших среди них, о бессребрениках, о святых. Господи, как я неправ, как несправедлив! Но это именно они делают из меня мизантропа, которого я в детстве путал с филантропом. Благодаря им я становлюсь хуже, чем я есть, — при одной мысли о них все говно моей души закипает во мне. Вот почему мне противопоказано с ними встречаться. А пока что — вперед, к холодильнику, за заветной, а по пути проверим, не забыл ли я включить моего дружка, подмигивает ли он мне своим красным заговорщицким глазом?

* * *

Мой сосед, которому я завидую, так как его не одолевает советский гость*, пошутил сегодня, что я стану первой жертвой гласности и перестройки. Ему легко шутить, а если в самом деле так случится? Как хорошо, как счастливо мы жили здесь до их шалостей с демократией, надежно защищенные от наших бывших сограждан железным занавесом. Куняев мне написал в стихах: "...для тебя территория, а для меня — это родина, сукин ты сын!" На самом деле не территория и не родина, но антиродина, а настоящая родина для меня теперь Америка — извини, Стасик! Но на той, географической, родине остался мой читатель, хотя он и переехал частично вместе со мной на другие берега. Увы --- только частично. И вот теперь неожиданно нас начали печатать, и у меня есть надежда стать там самым популярным поэтом — для женщин всех возрастов, для урок, для подростков, для евреев, даже для бывшего партактива, который весь испекся. Я там котируюсь выше, чем я есть, потому что импортные товары там всегда ценились выше отечественных. И вот я, как импорт, там нарасхват. К сожалению, я и здесь нарасхват — вот что меня сводит с ума и от чего все время тянет удариться в разврат! Готов отказаться от славы там и от гостей здесь. Как говорили, обращаясь к пчеле, мои далекие предки по материнской линии: ни жала, ни меда.

* Как легко догадаться, это — обо мне. — В.С.

* * *

Кажется, выход из лабиринта найден! Я имею в виду противоречие между моим хвастовством, с помощью которого я добиваю то, что недополучил в действительности, и нежеланием делиться моим воображаемым богатством с приезжими. С сегодняшнего дня оставляю все свои кавказские замашки и притворяюсь скупым, коим по сокровенной своей сути и являюсь. Да, богат, не счесть алмазов каменных, но — скуп. Помешался на зелененьких — был щедр рублями и стал скуп долларами. Сказать Тате, чтобы всем жаловалась на мою патологическую скупость — настоящий, мол, жид!

* * *

Что связывает меня с редактором этого ультрапрогрессивно-го журнала либо с министром их гражданской авиации? Я не был с ними даже знаком в СССР, а теперь мы закадычные друзья и пьем на брудершафт (угощаю, естественно, я). Министр, чья фамилия то ли Психов, то ли Психеев, разрешил нам с Татой купить в Аэрофлоте два билета до Москвы и обратно на капусту, которую я там нарубил, а не на валюту, как полагается иностранцам, а редактор печатает в ближайших номерах мою поэму из здешней эмигрантской жизни. Интересно, возьмет он повесть, которую я сейчас пишу и, даст бог, все-таки допишу, несмотря на то что героев оказалось больше, чем я предполагал поначалу, — нет на них никакого удержу, так и прут, отвлекая от повести о них же, вот прохвосты! Никогда не пил столько, как сейчас, — за компанию, за знакомство, на радостях от сообщений о моих там успехах и от неописуемого счастья, когда они наконец уезжают и я остаюсь один. Вдобавок родственники — в том числе те, о существовании которых и не подозревал, живя там. Мать говорит, меня жалеючи: "Откажи им, сошлись на меня, скажи — мать умерла!" Наивная мама! Они же немедленно примчатся на поминки! Лучше предлога не придумашь! И билеты без очереди! Или ты забыла нашу грузинскую родню? А еврейская, думаешь, лучше?

Я боялся туда ехать, чтобы окончательно не спиться с друзьями и близкими родственниками, а спиваюсь здесь с дальними, а то и вовсе незнакомыми мне людьми. Смогу ли я когда-нибудь воспользоваться билетами, которые лично вручил мне министр гражданской авиации по фамилии не то Психов, не то Психеев — так вот, этот Психов-Психеев обошелся мне в несколько сотен долларов плюс десятидневная отключка: три дня я пил с ним, а потом уже не мог остановиться и пил с кем попало, включая самого себя, когда не находилось кого попало. Пил даже с котом: я водку, а он — валерьянку. Лучшего собеседника не встречал — я ему рассказал всю повесть, кроме конца, который не знаю. От восторга он заурчал и даже лизнул мне руку, которой я открывал советский пузырек с валерьянкой. Кто сменит меня на писатель-

ской вахте, если я свалюсь, — сосед-согладатай либо мой кот Мурр, тем более был прецедент, потому я его так предусмотрительно и назвал в честь знаменитого предшественника? “Житейские воззрения кота Мурра-второго” — недурно, а? Или все-таки оставить “Гость пошел косяком”? Или назвать недву­смысленно и лапидарно — “Жертва гласности”, ибо, чувствую, к этому дело идет. А коли так, пусть выбирает сосед — ему и карты в руки.

На министра гражданской авиации, который оказался бывшим летчиком, я не в обиде — довольно занятный человек, пить с ним одно удовольствие, но сколько я в его приезд набухарил! Как только он нас покинул — кстати, почему-то на самолете Пан-Америкэн, — у нас поселился редактор, который, говорят, когда застойничал, был лизоблюдом и реакционером, но в новые времена перековался и ходит в записных либералах, что меня, конечно, радует, но при чем здесь, скажите, я? Я с таким трудом вышел из запоя, лакал молочко, как котенок, но благодаря перековавшему мечи на орала без всякой передышки вошел в новый. Мы сидели с ним на кухне, он потягивал купленный мной джин с купленным мною же тоником, а я глушил привезенную им сивуху под названием “Сибирская водка” — если бы я не был профессиональным алкашом, мы могли бы купаться в привозимой ими водяре и даже устроить Второй Всемирный Потоп. Редактор опьянел, расслабился и, после того как я сказал, что Горбачев накрылся со своей партией, решил внести в защиту своего покровителя лирическую ноту.

— Океюшки! — примирительно сказал мой гость и расплылся в известной телезрителям многих стран улыбке на своем колобочном лице. — Но разве мы могли даже представить себе всего каких-нибудь пять лет назад, что будем так вот запросто сидеть за бутылкой джина? — Он почему-то не обратил внимания на то, что я, сберегая ему джин, лакаю его сибирскую сивуху, да мне к тому времени уже было без разницы. — Я — редактор советского журнала, и ты — антисоветский писатель и журналист. Хотя бы за это мы должны быть благодарны Горбачеву...

То ли я уже нажрался как следует, но до меня никак что-то не доходило, почему я должен благодарить Горбачева за то, что у меня в квартире вот уже вторую неделю живет незнакомый человек, загнавший нас с мамой, женой и детьми в одну комнату, откуда мы все боимся теперь выйти, чтобы не наткнуться на него праздного, пьющего и алчущего задушевных разговоров. Теперь я наконец понимаю, что значит жить в осажденной крепости: “синдром Мосада” — так это, кажется, называется в психологии? Из комнаты не выйти, в уборную не войти, Тата только и делает, что бега­ет в магазин, по пути испепеляя меня взглядом — а сам я, что, не страдаю? А эта прорва тем временем пожирает каче-

* Здесь уж комментарии излишни — прямое указание на меня в качестве соавтора в случае его смерти. Другим претендентом мог бы быть только кот Мурр. — В.С.

ственный алкоголь и закусь, будто приехал из голодного края, что так и есть, да и я пью не просыхая — это с моим-то сердцем! Дом, в котором я больше не хозяин, превратился в проходной либо постоянный двор, а точнее в корчму, а мы все — в корчмарей: генетический рецидив, ибо материнские предки именно этим и промышляли, спаявая великий русский народ.

Или он имеет в виду, что при Горбачеве стал свободно разъезжать по границам? Так он всегда был выездной, сызмальства, благодаря папаше-маршалу — и какой еще выездной: в одной Америке — шестнадцатый раз!

Допер наконец — мы должны быть благодарны Михаилу Сергеевичу за то, что встретились и познакомились, потому что в предыдущие свои многочисленные сюда наезды он и помыслить, естественно, не мог мне позвонить, а тем более у меня остановиться. Вот тут я не выдерживаю — сколько можно испытывать мое кавказское гостеприимство!

— Ну, знаешь, за то, что мы здесь сидим — извини, конечно, — мы должны благодарить Брежнева, который разрешил эмиграцию. Где бы мы с тобой иначе сидели? В Москве? Так там мы вроде и знакомы не были, а уж о том, чтобы дружить домами и в гости друг к другу ходить — и речи не было.

Мой гость насупился, я извинился, сказав, что ничего дурного в виду не имел, а просто хотел уточнить, и, опорожнив его сибирскую, достал из холодильника "Абсолют". Двум смертям не бывать, одной не миновать.

Если я умру, пусть моя смерть послужит в назидание всем другим "новым американцам".

Что dokonало его? Все увеличивающийся поток советских гостей — иногда в его и до того набитой домочадцами квартире останавливалось сразу несколько? Шестичленная делегация из ленинградского журнала, которая приехала готовить специальный номер, посвященный русскому зарубежью, и Саша Баламут водил их к Тимуру покупать электронику, на Орчард-стрит за дубленками и к Веронике за даровыми книгами — традиционный маршрут советских людей по Нью-Йорку? Старичок-парикмахер из "Чародейки", который прибыл с юной женой и ее любовником, вынудил Сашу Баламута купить у него кассету с наговоренными воспоминаниями о причесанных им кремлевских вождах и открыл в Сашиной квартире временный салон красоты, и Саша же должен был поставлять ему клиентуру? Каждый такой наезд сопровождался запоями, один страшнее другого. Трудом налаженная было жизнь в эмиграции пошла прахом — все заработанные деньги уходили, чтобы не ударить лицом в грязь перед советскими людьми. Тяжелее всех, конечно, Саше

обошлась теща, к которой он в своих записях возвращается неоднократно — я далеко не все из них привел.

К примеру, он вспоминает, как теща обиделась, когда он предложил ей потряхнуть стариной и сварить борщ: "Если не ошибаюсь, — гордо ответила Екатерина Васильевна, — я ваша гостья". Что ж, борщ у нас здесь продается в стеклянных банках и считается еврейским национальным блюдом — Саша прикупил недостающие ингредиенты, решив поразить тещу своими кулинарными талантами (Тата была тогда в больнице). Теща навалилась на борщ, а откусав, заявила, что у них, в России, готовят куда лучше. "Как была партийной дамой, так и осталась", — записывает Саша Баламут. А в другом месте утверждает, что покинул Советский Союз главным образом для того, чтобы никогда больше не видеть своей тещи, иначе она неминуемо разбила бы их с Татой семью, и вот она снова появилась с той же целью, а вслед за собой собирает еще прислать другую свою дочь с ее "выводком выроdkов" — запись злобная и нервозная, и единственное ей объяснение, что Саша дошел до ручки за четыре месяца жизни у них Екатерины Васильевны. Я ее видел только однажды, и даже со стороны она производит страхолюдное впечатление — Саше здесь можно только посочувствовать. Он мне успел шепнуть тогда: "Это мой выкуп за Тату..." После отъезда тещи он еще долго нервно хихикал, потом прошло.

В тетради много совсем коротких записей-заготовок, типа "Плачу Ярославной", "Золотая рыбка на посылках", "У них совершенно вылетело из головы слово "спасибо", все принимают как должное". Часто повторяется одна и та же фраза: "Как хорошо все-таки мы жили до гласности!" Есть несколько реплик, имеющих лишь косвенное отношение к сюжету задуманной повести:

"— У вашего мужа испортился характер.

— Там нечему портиться".

"— Я пишу не для вашего журнала, а для вечности.

— Нет худшего адресата".

"Три любимых занятия: сидеть за рулем, стучать на машинке и скакать на женщине".

Он записывает слова одного нашего общего знакомого, которому, по-видимому, жаловался на засилье гостей: "У меня не остановится ни человек, ни полчеловека", — сказал Саше Баламуту этот наш стойкий приятель.

Далее следует запись, как Саша с Татой повели очередного гостя в магазин покупать его жене блузку. Гость забыл размер, а потому воззрился на грудь Таты и даже

уже было протянул руку, но вовремя был остановлен Сашей. Гостя это нисколько не смутило, и он сказал: "У моей, пожалуй, на полпальца побольше".

В разгар лета наступал небольшой передых — и вовсе не потому, что, оставив мне ключ и кота, Саша Баламут жил на даче и таким образом физически становился недоступен для советского гостя, но главным образом благодаря распространившемуся в советской писательской среде слуху, что в нью-йоркскую жару жить у него невозможно, так как квартира на последнем этаже и без кондиционеров. На месте Саши я бы сам распространял подобные слухи, а он, когда до него это дошло, обиделся и снова запил — вот какой гордый был человек! Всего-то в нем и была грузинская четвертинка, но натура насквозь кавказская — гостеприимство, душа нараспашку, хвастовство.

Хвастовство его и сгубило.

Литература не была для Саши Баламута ни изначальным выбором, ни единственной и самодостаточной страстью, но я бы сказал — покойник меня простит, надеюсь, — чем-то вроде вторичных половых признаков, тем самым украшением, типа павлиньего, которым самец соблазняет самку. Другими словами, помимо красивого лица, печальных глаз и бархатного голоса он обладал еще писательскими способностями. Я вовсе не хочу свести это к примитиву — был у меня, к примеру, приятель в Ленинграде, ничтожный поэт, который хвастал, что любую уломает, показав ей удостоверение члена Союза писателей. У Саши Баламута все это было глубже и тоньше, да и писатель он, безусловно, одаренный, но суть сводилась к тому же, только предьявлял он женщинам не писательское удостоверение, которого у него не было, а писательский талант, который у него был. Я бы даже не назвал его кобелем, бабником, сластолюбцем либо Дон-Жуаном, хотя потаскун он был отменный, но тип совершенно другой. Ему и женщины нужны были не сами по себе, а главным образом для самоутверждения, потому что человек он был закомплексованный и комплексующий. По своей природе он был скорее женоненавистником, если только женоненавистничество не было частью его человеконенавистничества. Но последнее он считал благоприобретенным и прямо связывал с обрушившейся на него ордой советских гостей. И вот что поразительно: как он был услужлив и угодлив с гостями, а потом говорил и писал о них гадости, точно так же с женщинами — презирал тех, с которыми спал. Причем презирал за то, что те ему отдава-

лись, и иного слова, чем "шлюхи", у него для них не было. Да и одна его подружка рассказывала мне, как ужасен он бывал по утрам — зол, раздражителен, ворчлив, придирчив, груб. Или это своего рода любовное похмелье?

Мне трудно понять Сашу Баламута — слишком разные мы люди. Если бы не оставленная им тетрадь с неоконченной повестью, которую я пытаюсь превратить в законченный рассказ, ни при каких условиях не взял бы его в герои. Живя в СССР, я не поддерживал никаких отношений с многочисленными моими родственниками, с ленинградскими друзьями успел разругаться почти со всеми, а московскими не успел обзавестись за два моих предотъездных года в столице, разве что несколькими — так что советский гость мне необременителен, я всегда готов разделить с ним хлеб и кров. Что касается женщин, то я вел и тем более веду сейчас, по причине СПИДа, гигиенический образ жизни, и мои связи на стороне случайны, редки и кратковременны — даже ключ от Сашиной квартиры не сильно их увеличил. Саша Баламут — полная мне противоположность, особенно в отношении женщин. Он любил прихвастнуть своими победами, а когда бывал навеселе, у него вырывались и вовсе непотребные признания: "Да я со всеми его бабами спал, включая обеих жен", — говорил об одном нашем общем знакомом, близком своем друге. Хотя послужной его список и без того был не мал, он добавлял в него и тех женщин, с которыми не был близок, — вот почему я и утверждаю, что это вовсе не тип Селадона или Дон-Жуана, которые не стали бы хвастать мнимыми победами.

К примеру, переслав с секретаршей одной голливудской звезды и раззвонив об этом *urbi et orbi*, Саша спустя некоторое время стал утверждать, что спал с самой актеркой. "Раньше говорили, что с ее секретаршей", — удивился я. "С обеими!" — нашелся Саша Баламут. Я понимал, что он врет, мне было за него неловко, он почувствовал это и после небольшой паузы сказал: "Я пошутил". И тут я догадался, что для самоутверждения ему уже мало количества женщин, но важно их качество — говорю сейчас не об их женских прелестях либо любовном мастерстве, но об их статусе. Связь с известной артисткой льстила его самолюбию и добавляла ему славы — он измыслил эту связь ради красного словца, коего, кстати, был великий мастер. Он застыдился передо мной за свою ложь, а еще больше — за то, что в ней признался. "Деградант!" — выругал самого себя. Перед другими он продолжал хвастать своей актеркой, и та, даже не подоз-

ревая об этом, ходила в его любовницах — ложь совершенно безопасная ввиду герметической замкнутости нашей эмигрантской жизни от окружающей американской, в которой существовала воображаемая подруга Саши Баламута.

Помимо трех детей, нажитых с единственной женой (еще одно доказательство, что он не был Дон-Жуаном), у него был внебрачный сын где-то, кажется, в Кишиневе, которому Саша исправно посылал вещи и переводил деньги и совершеннолетия которого страшился — этот сын, виденный Сашей только однажды во младенчестве, сейчас был подросток и мечтал приехать к отцу в Америку. С другой стороны, однако, количество детей и особенно наличие среди них внебрачного казалось Саше Баламуту наглядной демонстрацией его мужеских способностей, что, возможно, так и было — я в этом деле не большой знаток, у меня всего-навсего один сын, да и тот, с нашей родительской точки зрения, пусть даже необъективной, — недоумок (сейчас, к примеру, зачем-то улетел на полгода в Индию и Непал).

И вот неожиданно Саша стал всем говорить, что у него не один внебрачный ребенок, а, по его подсчетам несколько, и они разбросаны по городам и весям необъятной нашей географической родины. Все это было маловероятно и даже невероятно, учитывая, с какой неохотой даже замужня советская женщина заводит лишнего ребенка, а уж тем более — незамужняя. Впрочем, Саша Баламут претендовал и на несколько детей от замужних женщин, хотя у тех вроде бы были вполне законные, признанные отцы. По-видимому, внебрачные дети казались Саше Баламуту лишним и более, что ли, убедительным доказательством его мужских достоинств, чем внебрачные связи, ибо означали, что женщины не просто предпочитают его другим мужчинам, но и детей предпочитают иметь от него, а не от других мужчин, будь то даже их законные и ни о чем не подозревающие мужья. "Этого никогда нельзя знать наверняка", — усомнился я как-то, когда речь зашла об одной довольно дружной семье, которую я слишком хорошо знал, живя в Москве, а потому сомневался в претензиях Саши Баламута на отцовство их единственного отпрыска. "Какой смысл мне врать?" — возразил Саша Баламут, и я не нашелся, что ему ответить.

Слухи о внебрачных детях Саши Баламута достигли в конце концов Советского Союза и имели самые неожиданные последствия — воображаемые либо реальные, но внебрачные дети материализовались, заявили о своем су-

ществовании и потребовали от новоявленного папаши внимания и помощи. Больше всех, естественно, был потрясен их явлением Саша Баламут.

Сначала он стал получать письма от незнакомых ему молодых людей со смутными намеками на его отцовство. Первое такое письмо его рассмешило — он позвал меня, обещал показать “такое, что закачаешься”, я прочел письмо и сказал, что это чистейшей воды шантаж. Однако такое объяснение его тоже не устраивало — он не хотел, да и не мог брать на себя дополнительные отцовские обязательства, однако и отказываться от растущей мужской славы не входило в его планы. Он решил не отвечать на письма, но повсюду о них рассказывал: “Может, конечно, и вымогатель, а может, и настоящий сын, поди разбери! А разве настоящий сын не может быть одновременно шантажистом?” — говорил он с плутовской улыбкой на своем все еще красивом, хоть и опухшем от пьянства лице. Такое было ощущение, что он всех перехитрил, но жизнь уже взяла его в оборот, только никто об этом не подозревал, а он гнал от себя подобные мысли.

В очередной его отъезд на дачу я прочел следующие записи на ответчике и в тетради:

Ответчик. Это Петя, говорит Петя. Вы меня не знаете, и я вас не знаю. Но у нас есть одна общая знакомая (хихиканье) — моя мама. Помните Машу Туркину? Семнадцать лет назад в Баку? Я там и родился, мне шестнадцать лет, зовут Петей... Мама сказала, что вы сразу вспомните, как только я скажу “Маша Туркина, Баку, семнадцать лет назад”. Мама просила передать, что все помнит... (всхлипы). Извините, это я так, нервы не выдержали... У меня было тяжелое детство — сами понимаете: безотцовщина. Ребята в школе дразнили. А сейчас русским вообще в Баку жизни нет. Вот я и приехал... Я здесь совсем один, никого не знаю... По-английски ни гу-гу. Мама сказала, что вы поможете... Она велела сказать вам одно только слово, всего одно слово... Я никогда никому его не говорил... Папа... (плач). Здравствуй, папочка!

Тетрадь. Уже третий! Две дочери и один сын. Чувствую себя, как зверь в загоне. Если бы не ответчик, пропал бы совсем. Домой возвращаюсь теперь поздно, под покровом ночной тьмы, надвинув на глаза панамку, чтобы не признал незванный сын, если подкарауливает, — почему у нас в доме нет черного хода? Машу Туркину помню, один из шести моих бакинских романов, забавная была — только почему она не сообщила мне о нашем совместном чаде, пока я жил в Советском Союзе? Мой сосед-согледатый скорее всего прав — шантаж. Либо розыгрыш. Если ко мне явятся дети всех моих любовниц, мне — каюк. Даже если это мои дети, какое мне до них дело? Неужели невидимый простым

глазом сперматозоид должен быть причиной жизненной привязанности? У меня есть обязанность по отношению к моей семье и трем моим законным, мною взращенным детям, плюс к сыну в Кишиневе — до всех остальных нет никакого дела. Каждому из претендентов я могу вручить сто долларов — и дело с концом, никаких обязательств. Из всех женщин, с которыми спал, я любил только одну: для меня это единственная любовь, а для нее — случайная, быстро наскучившая ей связь. Это было перед самым отъездом, я даже хотел просить обратно советское гражданство. Одного ее слова было бы достаточно! Но какие там слова, как она была ко мне равнодушна? даже в постели, будто я ее умыкнул и взял насильно. Я человек бесслезный, не плакал с пяти лет, это обо мне Пушкин сказал: "Суровый славянин, я слез не проливал", хотя я не славянин, а Пушкин плакал по любому поводу. А я плакал только из-за Лены и сейчас, вспоминая, плачу. Единственная, от кого я бы признал сына не глядя.

Здесь я как читатель насторожился, заподозрив Сашу Баламута в сюжетной натяжке — какая-то фальшивая нота зазвучала в этом, несомненно, искреннем его признании, что единственная любовь в жизни этого самоутверждающегося за счет женщин беспутника была безответной. Я закрыл тетрадь, боясь читать дальше — ведь даже если сын от любимой женщины и позвонил Саше Баламуту, то в повести это бы прозвучало натянуто, неправдоподобно. О чем я позабыл, увлекшись чтением, — что это не Саша писал повесть, а повесть писала его, он уже не властен был над ее сюжетными ходами. Жизнь сама позаботилась, чтобы Саша Баламут избежал тавтологии, хотя его предчувствия оправдались, но в несколько измененном, я бы даже сказал — искаженном, гротескном виде. Пока он прятался от телефонных звонков, раздался дверной, и швейцар по интеркому попросил его спуститься:

— К вам тут пришли, — сказал мне Руди.

— Пусть поднимется.

— Думаю, лучше вам самому спуститься. С чемоданом.

— Какого черта! Ты не ошибся, Руди? Ты не путаешь меня с другим русским?

— Никаких сомнений — к вам, мистер Баламут! — сказал Руди и почему-то хихикнул. Я живо представил себе белозубый оскал на его иссиня-черном лице.

Передо мной стояла высокая красивая девушка — действительно с чемоданом, скорее, с чемоданчиком, но Руди смеялся не из-за этого, его смех был скабрёзным и относился к недвусмысленному животу — девушка была на сносях. Смех Руди означал, что теперь уж мне не отвертеться, хорошо еще, что жена на даче и так далее, в том же роде — у наших негров юмор всегда на таком приблизительно уровне. Руди показал пальцем на улицу — там ждало такси. Положение у меня было пиковое — я ви-

дел эту восточную красавицу первый раз в жизни, но, с другой стороны, она была беременной, и я без лишних разговоров, ни о чем не спрашивая, расплатился с таксистом, взял чемодан и повел девушку к лифту.

В квартире девушка повела себя как дома. Пожаловалась, что устала с дороги, попросила халат, полотенце и отправилась в ванную, откуда вышла через полчаса ослепительно красивая и напоминающая мне смутно кого-то — скорее всего какую-нибудь актрису. Какую это, впрочем, играло роль — я втюрился в эту высокую девушку с шестимесячным животом с первого взгляда. Как говорят в таких случаях — наповал.

Усадил мою гостью на кухне, выложил на стол то небольшое, что обнаружил в нашем обычно полупустом летом холодильнике, и, продолжая мучительно припоминать, на кого похожа моя гостья, приступил к расспросам, ибо она явно была не из разговорчивых и не торопилась представиться. Я вытягивал из нее ответ за ответом.

— Откуда ты, прекрасное дитя? — попытался я внести ясность пошловатой шуткой, но всегда полагал пошлость необходимой смазкой человеческих отношений, так почему не попробовать сейчас?

Она, однако, не откликнулась ни на юмор, ни на пошлость, а просто ответила, что она из Москвы и зовут ее Аня.

Дальше наступила пауза — я суетился у газовой плиты, разогревая сосиски, Аня рассматривала кухню, а заодно и меня — в качестве кухонного аксессуара.

Я налил себе стакан водки, надеясь с его помощью снять напряжение, и пребывал в нерешительности относительно Ани:

— Вам, наверно, не стоит...

— Нет, почему же? Налейте. Это в первые два месяца не советуют, а сейчас вряд ли повредит плоду.

Про себя я отметил слово "плод" — любая из моих знакомых употребила бы иное, а вслух спросил, не лучше ли тогда ей выпить что-нибудь полегче — у меня была початая бутылка дешевого испанского хереса.

— Я бы предпочла виски, — сказала Аня, и я грешным делом подумал, не принимает ли она мою квартиру за бар, а меня за бармена.

— Виски нет, — сказал я ей. — Но я могу сбежать, здесь рядом, за углом.

Мне и в самом деле хотелось хоть на десять минут остаться одному, чтобы поразмыслить над странной ситуацией, в которую я влип.

— Зачем суетиться, — сказала Аня. — Что вы пьете, то и я выпью.

Мне стало стыдно за ту дрянь, которую я из экономии пил, но алкоголику не до тонкостей, и я повернул к ней этикеткой полиэтиленовую бутылку самой дешевой здешней водки — "Алек-

сий". В конце концов, лучше того дерьма, которое они там лакают и сюда привозят в качестве сувениров.

Гостя воззрилась на "Алексию" с любопытством, налила себе полстакана и залпом выпила — я только и успел поднять свой и сказать "С приездом".

— Говорят, вы окончательно спиваетесь.

— Ну, это может затянуться на годы, — успокоил я ее.

— Вы не подумайте — я не вмешиваюсь. Спивайтесь на здоровье. А правда, что у вас обнаружили цирроз в запущенной форме?

— Я тоже так думал, но оказалось, что это меня пытались запугать, чтобы я бросил пить. Жена сговорилась с врачом.

— И помогло?

— Как видишь, нет. Кто начал пить, то будет пить. Что бы у него ни обнаружили.

Вместо того чтобы задавать ей вопросы, она задает их мне, и я, как школьник, отвечаю.

Впрочем, я услышал и нечто утвердительное по форме, хотя и негативное по содержанию:

— Я читала вашу поэму "Русская Кармен". Мне она не понравилась. Сказать почему?

Господи, этого еще не хватало — сначала допрос с пристрастием, а потом литературная критика. Я попытался ее избежать:

— Мне и самому не нравится, что я пишу — так что, можешь не утруждать себя.

Не тут-то было!

— Не кокетничайте. Не нравилось бы — не писали бы. По крайней мере — не печатали бы.

— Ты права — я бы и не печатал, а может быть, и не писал, но это единственный известный мне способ зарабатывать деньги. К тому же читатели ждут и требуют.

— Вот-вот! Вы и пишете на потребу читателя — отсюда такой сюсюкающий и заискивающий тон ваших сочинений. Вы заняты психологией читателей больше, чем психологией героев. А герой у вас один — вы сами. И к себе вы относитесь умильно. Правда, на отдельные свои недостатки указываете, но в целом такой душ-ка получается, такую жалость у читателя вышибаете, что стыдно читать. Вы для женщин пишете, на них рассчитываете? — И без всякого перехода следующий вопрос: — И вообще, вы кого-нибудь, помимо себя, любите?

Гнать — и немедленно! Несмотря на шестимесячное пузо и сходство неизвестно с кем. Взашей! Высокородная шлюха! Нагуляла где-то живот и, пользуясь им, бьет по авторскому самолюбию! Кто такая? Откуда свалилась?

От растерянности и обиды я выпил еще один стакан — даже от Лены я такого не слыхал, хотя уж как она меня унижала за время краткосрочного нашего романа. Из-за нее и уехал — чтобы доказать ей себя. Только что проку — сижу с этой брюхатой потаскухой и выслушиваю гадости.

Тем временем Аня налила себе тоже.

— Вы уже догадались, кто я такая? — спросила она напрямик.

И тут до меня наконец дошло — я узнал ее по интонации, ни у кого в мире больше нет такой интонации! И сразу же понял, кого напоминает мне эта высокая девушка. Вот уж действительно деградант — как сразу не досек? Да и не только интонация! Кто еще таким жестом поправляет упавшие на глаза волосы? Интонации, жесты, даже мимика — все совпадало, а вот лицо было другим, совсем другим.

Аня поняла, что я ее узнал, точнее, не ее узнал, а в ней узнал ту единственную, которую любил и чье имя в любовном отчаянии вытатуировал на левом плече — потому никогда не раздеваюсь на пляже и сплю с женщинами, только выключив свет. А совсем не из-за того, что у меня непропорционально тощие ноги и руки. Это я сам пустил такой слух для отвода глаз.

— Я боюсь, вы очень примитивный человек и подумаете бог весть что. Мама и не подозревает, что я к вам зайду, она и адреса вашего не знает и не интересуется. Мама замужем, у меня есть сестренка, ей шесть лет, я живу отдельно, снимаю комнату, в Нью-Йорк приехала по приглашению своего одноклассника, он был в меня влюблен, но это, — Аня показала на живот, — не от него. Он будет удивлен, но я не по любви, а чтобы, родив здесь, стать американской гражданкой и никому не быть в тягость. Вам менее всего, я уйду через полчаса, вот вам, кстати, деньги за такси, у меня есть, мне обменяли.

И она вынула из сумочки свои жалкие доллары.

— А к вам я приехала, чтобы посмотреть на вас. Шантажировать вас не собираюсь, тем более никакой уверенности, что вы мой отец. Мама мне ничего никогда не говорила. Я провела самостоятельное расследование. Кое-что сходится — сроки, рост, отдельные черты лица, вот я тоже решила стать писателем, как вы, — она осеклась и тут же добавила: — Но не таким, как вы. Я хочу писать голую правду про то, как мы несчастны, отвратительны и похотливы. Никаких соплей — все как есть. Я привезла с собой две повести, вам даже не покажу, потому что, судя по вашим стихам, вы страшный ханжа.

Ее неожиданную болтливость я объясняю тем, что она выпила. Я в самом деле ханжа, и она права во всем, что касается моих текстов и их главного героя. Мне и в самом деле себя жалко, но кто еще меня пожалеет на этом свете? Да, у меня роман с самим собой, а этот роман, как известно, никогда не кончается. Мне и сейчас себя жалко, обижаемого этой незнакомой мне девушкой, у которой жесты и интонации той единственной и далекой, а черты лица — мои. Даже если ты не моя дочь, но я признаю в тебе мою, потому что от любимой и нелюбящей. И все, что у меня есть, принадлежит тебе, моя знакомая незнакомка, я помогу тебе родить американского гражданина, хоть это и обойдется мне в тысяч семь, если без осложнений — дай бог, чтобы без осложнений! А так как это не приблизит тебя к американскому граждан-

ству ни на йоту, я женюсь на тебе, уйдя от моей нынешней семьи, потому что люблю тебя, как собственную дочь, либо как дочь любимой женщины, либо как саму тебя. А прозу писать больше не буду — давно хотел бросить, никчемное занятие. И пить брошу — сегодня последний раз.

Это действительно был его последний запой — из него он уже не вышел. Он заснул прямо на кухне, уронив голову на стол, а когда проснулся, ни девушки, ни ее чемоданчика не было. Это было похоже на сон, тем более что поиски, в которых я ему помогал, оказались безрезультатными. Девушка с шестимесячным животом и небольшим чемоданчиком исчезла бесследно, как будто ее никогда и не было.

А была ли она на самом деле? Чем больше он пил, тем сильнее сомневался в ее существовании. Швейцар Руди качал головой и, скалясь своей белозубой на иссиня-черном лице, говорил, что в доме шестьсот квартир и упомянуть всех посетителей он не в состоянии — и негр беспомощно разводил руками. Саше становилось все хуже, и он склонялся к мысли, что видение беременной девушки было началом белой горячки и сопутствующих ей галлюцинаций, которые мучили его теперь непрерывно. Он тосковал и пил, надеясь вызвать прекрасное видение снова, но беременная девушка ему больше в галлюцинациях не являлась, а все какие-то невыносимые упыри и уроды. А потом он и вовсе перестал кого-либо узнавать, но время от времени произносил в бреду ее имя — Анечка.

Я тоже склонен был считать описанную Сашей Баламутом в его последней заметке встречу небывшей, но художественным вымыслом, в который он сам поверил, либо действительно плодом уже больного воображения. Что-то вроде шизофренического раздвоения личности: беременная девушка олицетворяла его растревоженную совесть либо страх перед наступающей смертью — я не силен во всех этих фрейдистских штучках, говорю наугад. А потом я и вовсе забыл о ней думать за событиями, которые последовали: смерть Саши Баламута, панихида, похороны. Пришло много телеграмм из Советского Союза, в том числе от редактора суперрадикального журнала: он выражал глубокое сочувствие семье и просил прислать ему "Сашин гардероб", так как был одного роста с покойным.

Мы хоронили Сашу в ненастный день, американский дождь лил без передышки, все стояли, раскрыв зонты, казалось, что и покойник не выдержит и раскроет свой. "Его

призрак кусает сейчас себе локти'', — сказал его коллега по здешней газете, где Саша подхалтуривал. Я трусовато обернулся — настолько точно это было сказано. Слава богу, призрак невидим: по крайней мере, его, кусающий себе локти, — мне, который единственный знает истинную причину его смерти. Однако обернувшись в поисках призрака, я заметил высокую беременную девушку с чемоданчиком в руке — она стояла в стороне и одна среди нас была без зонта.

Она промокла до нитки. Я подошел к ней и предложил свой зонт, сказав, что знаю ее. Разговор не клеился, а похоронную церемонию из-за ливня пришлось свернуть. Мне было жаль с ней расставаться, я спросил у нее номер телефона. Она сказала, что телефона у нее здесь нет, но она может дать московский, так как сегодня уже улетает. Не знаю зачем, но я записал ее московский телефон. Вот он: 151-43-93.

**Нью-Йорк
1990**

СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ

Закрыв глаза, я выпил первым яд.

Д.Бобышев

Я вовсе не уверен, что мне удастся этот рассказ, но и другого выхода как сесть за него у меня нет, так как лучший из нас рассказчик умер этой весной в Париже, а два других члена нашей ложи слишком пристрастны, чтобы рассказать о том, что нас разбросало в разные стороны, а ведь как неразлучны были! По идее, я должен был дать слово каждому, включая покойника, но для этого надо обладать талантом прозаика, я же всего лишь поэт, а сюжет явно не стихотворный. Иногда я думаю, что виной всему жилищные условия в нашей столице, куда мы попали почти одновременно, но на разных, что ли, основаниях. Больше всех повезло тому из нас, кому больше всех не везло прежде и не повезло после — сразу по освобождении Тимур вместе с денежной компенсацией получил комнату в коммуналке на Беговой — место наших регулярных, по четвергам, сборищ, даже после того как Тимур привел туда свою вторую жену (первую, лагерную, он оставил в Алма-Ате, где отбывал ссылку). А спустя еще полгода приютил в ней Кириллу, которому совершенно некуда было деться в Москве. С этого, собственно, все и началось, но не сразу, а обнаружилось еще позднее.

Теснота нашего советского общежития — питательная среда для такого рода конфликтов, а здесь тем более не любовный треугольник, а по крайней мере пятиугольник: на более просторных квадратных метрах этот сюжет заглох бы в зародыше, если бы и возник. Мы с Саулом жи-

© Vladimir Solovyov, 1991.

Все события и действующие лица, описанные в рассказе, — вымышленные, и любое сходство с реально существующими людьми — чисто случайное.

ли тогда в общежитии Литинститута на Добролюбова, пока ему не повезло жениться на москвичке, ко мне тогда подселили моего земляка — ленинградского критика Владимира Соловьева с его скандальным паблисити, неуживчивым характером и праздным умением по любой книге безошибочно отгадывать, кто ее автор — еврей или нееврей. Никакого отношения к этому сюжету он не имеет, у нас с ним был другой сюжет, как-нибудь — будет время — расскажу.

Наш квартет был маленьким интернационалом, я один был представителем большинства, а потому в меньшинстве: русский нацмен. Тимур был таджик, Саул — караим, Кирилл, которого мы звали Мефодием, — болгарин, но с примесью — надо ли объяснять какой? А главное, мы были провинциалы и в лучших бальзаковских традициях приехали завоевывать столицу, хотя иного оружия, кроме литературы, у нас не было, да оно нам и не нужно было: литература в то время заменяла все остальные функции общества — так, по крайней мере, казалось. А вот чего у нас не было, так это богов, хотя живы еще были Ахматова с Пастернаком, вокруг которых роились ленинградцы и москвичи. Мы над этой кумирней только посмеивались, потому что сами ходили в богах и признавали первым среди равных нашего удачливого неудачника — Тимур был нашим учителем, вожатым и гуру, и вовсе не потому, что несколькими годами старше. Два прозаика, один поэт и один никто — этот никто и стал нашим учителем, потому что был самым свободным из нас. В литературе он был неудачник — потому и никто. О жизни я сейчас не говорю, хоть он и опередил всех и ушел из нее первым, но здесь начинается какой-то иной счет, да и неизвестно, что нам еще предстоит, и где здесь удача, а где неудача — кто знает?

Нельзя сказать, что Тимур был бездельник, хоть и гедонист, что так понятно после его двенадцатилетних мытарств и в предвидении его мучительной смерти! Скорее, уж он был недостаточно честолобив либо излишне бескорыстен — признаться, не очень уверен, какая именно характеристика ему подходит больше. Выйдя на волю сравнительно молодым — в двадцать восемь, а посадили в шестнадцать! — он услаждал себя тем, что было у нас с ранней юности, а у него появилось только сейчас: свободой, независимостью, женщинами, друзьями, отдельной комнатой — и славой. Да, да, славой, но — догутенберговой, изустной, фольклорной: он был великий сказитель, мы знали его байки наизусть, и когда появлялся новый слушатель, не уставали дивиться его устным новеллам

каждый раз заново, а заодно и реакцией на них новичка. Я и своего нового соседа привел как-то к Тимуру, заранее предвкушая его реакцию — и не ошибся! Мы могли слушать его сказы до бесконечности, до умопомрачения, как любимую пластинку, и когда Тимур что-нибудь забывал или менял какую-нибудь деталь, мы подсказывали либо поправляли. А может быть, он ничего не забывал, а только делал вид, что забыл, и ждал нашей подсказки, и это было частью его тщательно подготовленного номера? Дошло до того, что мы уже просто заказывали ему рассказы, когда появлялись новые слушатели:

“Давай про лагерных б...!”

“Нет, лучше, как ты читал зэкам Маяковского о советском паспорте!”

Тимур садился прямо на пол, скрестив по-восточному ноги, в неизменной своей тубетейке, похожий скорее на какого-нибудь бая, чем на писателя, а мы располагались вокруг и как завороженные слушали его жуткие и невероятные смешные истории. Репертуар его был не так чтобы очень велик, и постепенно он расширял тематику, от лагерной жизни его потянуло на среднеазиатское детство — помню историю про то, как гордый отец приучал его скакать на коне. Тимуру всего семь лет было, а конь без седла, вот он и стер мошонку до крови, но — праздник, гости, отцовская гордость, и Тимур терпел до конца. Он даже Сталина помнил — как тот держал его на коленях в каком-то правительственном санатории, а отец с Кагановичем о чем-то спорили. “Сталин меня тоже запомнил, — говорил Тимур. — Отца с матерью расстрелял, а потом три года ждал, пока мне шестнадцать исполнится. И тогда только арестовал. Закон есть закон, несовершеннолетних сажать нельзя, а Сталин законник был, буквоед...”

Такой юмор был уже за пределами моего понимания, я глядел на жирное, с заплывшими глазами, доброе восточное лицо Тимура и удивлялся, что у него нет горечи, нет обиды за вычеркнутые из его жизни двенадцать лет. Он догадывался о моих мыслях, подмигивал мне и повторял: “Не горюй — будущее всегда впереди...” Забыл сказать — я был самым младшим, а потому боготворил Тимура. Наше будущее и в самом деле было впереди, но не его — жизни ему тогда оставалось всего семь с половиной лет.

Вы спросите, почему я не пытаюсь пересказать здесь одну из Тимуровых лагерных баек, а ограничиваюсь впечатлениями слушателей? И пробовать бесполезно, коли самому Тимуру так и не удалось перенести свои истории на бумагу, а ведь он пытался! Тогда-то, думаю, и перего-

рело его честолюбие — если только оно у него имелось, — когда дошло до него, что граница между устным и письменным жанром, по крайней мере для него, непроходима. Он стал часто ссылаться в это время на Сократа и Иисуса, но не было с ним рядом ни Платона, ни Иоанна Богослова, ни на худой конец Эккермана, и эта моя попытка тщетна. Так и не останется ничего на бумаге от рассказов Тимура, и вместе с нами, его слушателями, он умрет повторно и окончательно. Я же хочу рассказать, что с нами стряслось; а уж читателю придется принять на веру, каким гениальным и бескорыстным был лучший из нас, наш друг и учитель. Все, что от него осталось, кроме нашей памяти о нем, — эстрадные песенки, детские книжки, публицистика, исторический роман — даже отдаленного не дает о нем представления, как будто и не он писал.

Единственное исключение — “Комментарий сына к делу отца”, который он сочинил сразу же по возвращении в Москву, а когда посмертно книга была напечатана, то прошла незамеченной, потому что к тому времени вся эта антисталинская литература читателю обрыдла. А появившись вовремя — произвела бы фурор. В этой книге двойной сюжет — дело отца и расследование сына, которое Тимур начал с попытки обелить отца от гнусных наветов (тот проходил одним из обвиняемых на знаменитом процессе Бухарина—Рыкова), а кончил, покопавшись в архивах и разобравшись что к чему, личным обвинением отцу: до того как стать жертвой, у себя в Средней Азии сам был палачом и верным сталинским сатрапом. Мы поражались мужеству Тимура, но либералы, которым довелось прочесть рукопись, крепко осудили его одинокую и безжалостную позицию. Тогда я впервые понял, что нет ничего отвратительнее русского либерализма — разве что русский национализм. Я и сейчас так думаю.

Мы были литературными побратимами, наш союз носил откровенно цеховой характер, не было для нас более увлекательной темы, чем рассуждать о книгах и об авторах. Сплетни, что мы гомики, не имели под собой никаких оснований — разве что один из нас, но он увлекался этим на стороне, за пределами нашей профессиональной корпорации: как говорится, его дело. Сплетни эти прекратились, как только женился Тимур, а за ним вскоре и Саул. Я даже думаю, что, ни поторопись Тимур со своей женитьбой, я бы еще долго жил в одной комнате с Саулом на улице Добролюбова. Да и кто, кроме Учителя, решился бы нарушить негласный устав нашего братства.

Когда он познакомил нас с этой быстроглазой деви-

цей, мы сначала растерялись и встревожились, однако очень скоро стало ясно, что она не нарушит, а, скорее, скрасит наш мужской союз. По сути, она стала нашей общей женой — говорю, естественно, не о постельных отношениях: обшивала нас, готовила, мы все стали ухоженнее и приличнее, а так не очень обращали внимание на эту сторону жизни — одевались кто во что горазд и ели все, что придется. Она была наша сестра, заботливая, нежная и ненавязчивая, смягчая не только наш быт, но и наши манеры своим женским присутствием. Звали ее Наташа, была она учительница русской литературы, так что могла на равных принимать участие в разговорах и что-то такое вякала — с уклоном в теорию, но достаточно поверхностно, чтобы никого не утомлять. Она переехала к Тимуру, потому что привести в квартиру родителей сразу четырех мужиков не решилась. А комната у Тимура была огромная, метров в пятьдесят и совершенно круглая — потому и досталась ему, что никто другой не брал: как так без углов? Косное все-таки сознание у москвичей!

Конечно, мы о ней сплетничали понемногу. Как-то, возвращаясь в общежитие, я спросил у Саула, как ему Наташа? Саул удивился:

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, как женщина она тебе нравится?

— Я на нее как на женщину не смотрю, — сказал Саул, устыдив меня, потому что я как раз нет-нет да ловил себя на том, что смотрю на нее как на женщину, а не как на жену друга. Да и с Саулом не все так просто, как я потом понял — это была не мораль, а табу: он запретил себе так смотреть на жену друга. И чтобы это табу соблюсти, потропился жениться сразу же вслед за Тимуром. И жену выбрал по имени — ее тоже звали Наташей.

А разве не есть высшее доказательство дружбы — одобрить безупречный вкус друга, влюбившись в его жену? Если нам близок друг, то почему не его жена? И надо ли подавлять такое естественное желание либо дать ему волю, презрев собственнические представления мужа о жене? Почему она должна принадлежать ему одному — разве это по-дружески? И уж если ее делить, то лучше всего, конечно, среди друзей, то есть среди своих. И с кем еще, как не с женами друзей! Почему мы можем разговаривать с ней, а спать не должны? Мы завязли в предрассудках, в этом вся беда.

Тогда я, конечно, еще так не думал, а поймав себя на запретном желании, ужаснулся его аморализму. Ладно бы жена друга, но Наташа была женой друга-учителя, и моя страсть к ней была перебросом моей любви к учи-

телю, которой я тоже побоялся дать развиваться, подозревая у себя латентную форму модного извращения. Шагу было не ступить, жил среди сплошных запретов, о чем сейчас жалею. Вот почему я так поразился прыти нашего побратима, который говорил впоследствии, что подсказку получил от самого Учителя, когда тот недолго ходил в холостяках, приехав в Москву из Алма-Аты. Помню его рассказ — правда, там шла речь не о жене, а о малолетней дочке, которая входила в возраст, и Тимур в запретных своих мечтах боялся, что пропустил уже время. Дочь — не жена, объяснял нам временный холостяк Тимур, который даже предполагал тогда, что его местный друг — а было это все в той же Алма-Ате — ничего бы не имел против и оказался прав.

— Но сколько мучительных ночей, сколько недель и месяцев понадобилось мне, чтобы снять этот запрет! — возводил руки наш Учитель. — Скажу вам больше — отец обижался за дочь, видя мое равнодушие. А вы думаете, влюбленный муж не обижается, если вы не замечаете прелестей его жены? В том и секрет, что он хочет того, в чем себе не признается — поделиться своей женой, похвастать ею, одолжить гостю или другу на ночь, чтобы тот убедился, каким сокровищем он обладает. Вот почему я говорю, что какой-нибудь чукча, предлагая гостю жену, нравственно и человечески стоит выше нас, потому что соответствует себе, а мы — нет.

Я не хочу, чтобы у читателя создалось неверное представление о Тимуре — менее всего наш Учитель был дидактичен, а потому всегда уводил свой рассказ от морали в иронию. Этот у него кончался так:

— А нам какво? Что жена, что дочь — все едино, чистая мука смотреть, как они проходят мимо и кружат вокруг нас и кружат, и продолжать как ни в чем не бывало болтать с их мужьями-отцами о политике, о литературе, да о тех же, черт подери, бабах, когда они совсем рядом, доступны и то же самое прокручивают в своем беспутном мозгу, вот б...!

И помню, как потрясенный его цинизмом Саул сказал ему:

— Вот погоди, женишься — по другому запоешь.

В этот же день Тимур познакомил нас со своей Наташей. Ну могли ли мы после такого напутствия относиться к ней спокойно? Все, включая Саула!

Саул, несомненно, был самый талантливый из нас и самый трудолюбивый, и формула Эдисона подошла бы к нему, если в ней изменить цифры: гений Саула был гармоничным и состоял на 50 процентов из вдохновения и на

50 процентов из потения. Мы долго жили в одной комнате, при мне он задумал и начал писать пародийный эпос своего переметчивого племени, который он никогда, конечно, не кончит — главный недостаток его книги, которая зато прекрасна каждым отдельным своим куском, каждым абзацем.

Одному Богу известно, кто они на самом деле, эти его загадочные караимы: отуреченные евреи или иудаизированные турки? Немцы после долгих богословских споров с их муфтиями-раввинами, а на самом деле газзанами, как объяснил мне Саул, в конце концов поверили, что караимы — потомки древних хазар, и оставили их в покое. Но спустя всего несколько лет, когда Сталин прогнал крымских татар из Крыма, караимам удалось доказать нечто совершенно противоположное, а именно — полную свою непричастность к тюркам-мусульманам ввиду неоспоримого своего иудаизма.

Вслед за Гитлером отступил и Сталин; хотя свой иудаизм они отстаивали как раз накануне его борьбы с космополитами, которая их не затронула только потому, что среди них не было писателей: Саул — первый. Конечно, проживи Сталин лишние полгода и осуществи свой план депортации евреев на Дальний Восток, караимам, возможно, и не удалось бы избежать судьбы нации, к которой они то примыкали, а то решительно отмежевывались. Саул, правда, считает, что отверглись бы и на этот раз. Нет нужды подробно на этом останавливаться, так как Саул сам очень смешно написал об этих двойных претензиях своих соплеменников — то быть евреями, то не быть евреями.

— Пора тебе наконец определиться: кто ты — еврей или нееврей? — говорил ему Тимур.

— Мы — чтецы, — отвечал Саул, мотая своей бычьей головой.

— Что значит — вы чтецы? Мы все — чтецы, за исключением писцов. Мир делится на чтецов и писцов, читателей и писателей, независимо от национальной принадлежности.

— Караимы — это наш этноним, а в переводе значит "чтецы".

— В переводе с какого?

— В переводе с древнееврейского.

— Выходит, вы все-таки евреи!

— Нет, мы не евреи, потому что мы не признаем устных толкований. Ничего, кроме письменного предания, то есть Торы. Талмуд для нас такая же книга, как "Анна Ка-

ренина" либо "Критика чистого разума", не больше. Мы к евреям всегда относились отрицательно.

— А они к вам?

— Тоже. Они считают нас сектантами.

— Милые ссорятся — только любят, — вставлял я.

— Ладно, — уступал Тимур, понимая, что теологический спор зашел в тупик. — Возьмем другую сторону — обряды, обычаи. На каком кладбище вы хороните своих мертвецов — на мусульманском, еврейском или православном?

— На еврейском.

Здесь уже не выдерживал Кирилл — он терпеть не мог такие абстрактные споры:

— Все! Вы — евреи, и дело с концом! Мало ли что вы в жизни не поделили, зато в смерти вы объединяетесь со своими.

Саул возражал:

— Это не совсем так. Хоть мы и хороним на еврейском кладбище, но на отдельном участке. А главное, мы кладем покойников не с запада на восток, как евреи, а с севера на юг.

— Это, конечно, весьма существенный нюанс — куда головой лежит покойник, — соглашался Тимур и от богословия и этнографии переходил к языкознанию. — А на каком языке вы говорите?

— Язык наш тюркского происхождения, но буквы еврейские.

— Ну, знаешь, — говорил Тимур и разводил беспомощно руками.

В конце концов я решил прибегнуть к графологическому анализу и, когда ко мне подселили Соловьева, дал ему только что написанный рассказ Саула на экспертизу, но Соловьев по стилю легко узнал, что это Саул, и сказал, что тот слишком оригинален как творческая личность: индивидуальное заслоняет в нем родовое. В конце концов Саул стал утверждать, что тюркский вариант иудаизма у караимов наиболее близок к христианству григорианского толка у армян. Он же, правда, недавно поведал мне с грустью, но немного и с лукавством, что тот самый религиозный лидер, который в ученом диспуте неопровержимо доказал немцам, что караимы не евреи, ведет сейчас тайные переговоры с главным раввином Иерусалима на предмет вывода своего племени из долголетнего рабства на историческую прародину, утверждая, что караимы и есть потерянное, а теперь найденное колено Израилево.

— И ты уедешь? — спросил я.

— Ну, вот еще! Чем мне здесь плохо? Да у меня к тому же приглашение от Баварской Академии на всю семью.

Если Саул уедет, я останусь здесь совсем один.

Был ли и он влюблен в Наташу? Может быть, отчасти потому я и сел за этот рассказ, чтобы в процессе его писания выяснить то, что не дается мне умственной суходрочкой. Когда Наташа ушла от Тимура, я написал по этому поводу целый стихотворный цикл, но убедился, что не продвинулся ни на йоту в понимании того, что с нами произошло. Тем более я со своей рифмой не поспевал за событиями: спустя месяца полтора новая беда стряслась — Саул разругался с Кириллом, пытался зарезать свою жену инкрустированным кавказским ножом и угодил в психушку. И сразу же вслед за этим началась травля Кирилла за то, что он опубликовал "Московские приключения Дон Кихота" за границей. Я забегаю вперед, а теперь по порядку.

Не хочу упрощать, но тогда, в конце пятидесятых — начале шестидесятых, возвращающиеся к жизни бывшие политзаключенные были в моде у женщин, а чуть позднее их сменили опальные писатели и вообще диссиденты. Во всяком случае, фразы типа "Ты знаешь, у меня роман с Окуджавой" либо "А я выхожу замуж за Сахарова" были в ходу у женщин нашего круга, и здесь, конечно, не одно только женское честолубие, но и — "Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним". Инициатива всех этих романов либо романов-браков принадлежала, естественно, женщинам. Наташа была именно из таких инициативных — прошу прощения за грубость, это она подцепила Тимурз, а потом подменила его другим, более, что ли, перспективным. Говорю это, имея на то посторонние причины? Пусть так, но как раз к Наташе я относился хорошо. В какой-то момент мы перестали обращать внимание на ее недостатки, сочтя их неизбежными женскими дефектами. Обаяние молодости, сексуальные флюиды, общая возбужденность и скрытое соперничество застилали нам глаза на истину.

Вот почему остерегаюсь описывать — это будет уже не та Наташа, которая притворялась нашей сестрой, а мы ее братьями. На самом деле какой-то братской, бескорыстной, несобственнической любовью ее любил только один человек — Тимур, ее муж.

Между прочим, первым стал ее критиковать Кирилл — естественно, заглазно.

— Ты заметил, какие у нее передние клыки? — сказал он мне как-то, еще до того, как поселился у Тимура. —

Слегка внутрь загнуты, как у хищного зверя. Не дай бог такой на зуб попасться.

Как только мы оставались одни, он обязательно говорил какую-то гадость про Наташу — у него это стало чем-то вроде навязчивой идеи. Даже странно, какие иногда извращенные формы принимает любовь.

Тогда я, конечно, ничего не понимал, а только не переставал удивляться Кирилловым наскокам на Наташу, которые нельзя сказать, что были несправедливы по сути, но не было, как мне казалось тогда, оснований возобновлять их через каждое слово. Я заподозрил было, что Кирилл ревнует, и прямо сказал об этом. Кирилл рассердился, но ответил странно:

— Кого — к кому?

Мне это казалось само собой разумеющимся — ревновать можно было только Тимура.

Единственное объяснение, которое тогда пришло мне в голову, — общая взвинченность Кирилла в это время: в связи с его бездомностью.

Уже больше года прошло, как он вернулся из армии, успел опубликовать в журнале свою солдатскую повесть "Промеж неба на земле", которая оказалась в центре газетных споров, а жить ему было негде. Прописан был у своей мамы в Суздале и там большей частью ночевал, но каждый день приезжал в Москву, а по пути, в поезде, писал свою следующую книгу, которая принесет ему всемирную славу, — "Московские приключения Дон Кихота". Тимур принимал в нем живейшее участие, обучал литературным навыкам и приемам, ночи напролет просиживал над его рукописями, был его редактором, а по сути — соавтором. На время малорослый, кряжистый и хитроватый, этот паренек стал его любимым учеником. Почему? Как и многие интеллигенты, Тимур по натуре был народником, интеллигентством своим тяготился и тяготел к настоящему народу, типичным представителем которого считал Кирилла. Саул было взбунтовался, напомнив, что он тоже из народа.

— Весь вопрос, из какого, — наставительно сказал Тимур. — Если бы ты был из того же народа, что и Кирилл, цены бы тебе не было! Вот тогда бы ты и мог, наравне с ним, претендовать на статус наибольшего благоприятствования. Но ведь ты, даже если не еврей, все равно караим!

Мы смеялись, Саул вместе с нами.

Наши отношения омрачала только растущая вражда между Наташей и Кириллом — Наташе как раз не нравилось то, что выпячивал Тимур: что Кирилл из народа. Еще

ей было не по нраву, что Кирилл любил поддаться, за ним это и в самом деле водилось. Но больше всего ей не нравилось, что она не нравилась Кириллу. Вот Тимур и решил убить сразу двух зайцев — искоренить вражду между близкими ему людьми и облегчить жилищную проблему будущему Нобелевскому лауреату (до сих пор не знаю, шутил он или искренне верил). Так в огромной комнате Тимура и Наташи, которую мы называли "ротондой", появилась ширма в несуществующем углу, а за ширмой — раскладушка, этажерка, школьная парта и Кирилл. Парту притащили Наташины ученики, и за ней Кирилл дописал своего "Дон Кихота". Не без помощи Тимура, хотя Наташа впоследствии и претендовала на соавторство. Но это свойство всех литературных жен — им мало быть любовницами своих мужей, они еще хотят быть их музами. Тимур — до своей женитьбы — еще лучше говорил про писательских жен: что они всю литературу — вместе с авторами — норовят сквозь нутро пропустить (это, конечно, эвфемизм, оригинал звучал непристойно).

Ума не приложу, когда они успели сойтись! Да и никто не подозревал — ведь на людях, то есть при нас, они продолжали друг друга ненавидеть. Теперь я думаю, что это не было притворством — они и в самом деле ненавидели друг друга даже после того, как стали любовниками.

Дело в том, что любовниками они стали не по доброй воле, а по злобе — один комплексуя, а другая беря реванш.

Конечно же, Кирилл был в нашей компании немного чужаком. И не только потому, что пристал к ней последним. Саул прозвал его "философом из ремеслухи", но вообще-то никто его у нас не третировал, а у Тимура он быстро сделался любимчиком — Учитель сделал на него ставку, хотя, как я уже говорил, настоящим самородком был Саул: увы, не из того народа. А у Кирилла талант был переимчивый — он легко схватывал уроки литературного ремесла, которые давал ему Тимур, и мгновенно прилагал его к тому жизненному материалу, который получил из первых рук, рано осиротев, пройдя сквозь ремеслуху, проработав на заводе и отслужив в армии. Ни у кого из нас такого опыта не было, а лагерный опыт Тимура был в то время не ко двору — может быть, отчасти потому и не ложились на бумагу его гениальные устные байки? Однако именно из-за этого своего плебейского прошлого Кирилл и комплексовал, оказавшись в нашей несколько снобистской среде. Наташу возненавидел с первого взгляда — как утверждал, за интеллектуальное высокомерие.

По образовательному цензу она превосходила всех

нас, так как училась в заочной аспирантуре и через год-другой должна была защитить диссертацию о переводах Хемингуэя на русский язык. Хуже всего с образованием обстояло у Кирилла — он не только не учил диалектику по Гегелю, но и не подозревал до недавнего времени о ее существовании, хотя, пытаясь соответствовать своим новым друзьям, и пристрастился к иноязычным словам, которыми козырял часто не к месту, путая метафору с метаморфозой, а мизантропа с филантропом. Его образование ограничилось ремеслухой, даже Тимур преуспел в этом отношении больше, ухитрившись заочно окончить в Алма-Ате педагогический институт. Мы с Саулом учились в Литинституте, а до этого окончили: он — филфак в Симферополе, я — Горный институт в Ленинграде. Короче, Кирилл, который, по словам Тимура, был необработанный алмаз, стал злоупотреблять иностранными словами вскоре после того, как Тимур женился. Наташа за это едко его высмеивала. "Самоутверждается за мой счет", — пояснял Кирилл.

Какие-то основания для этого были: как и Кирилл, Наташа немного комплексовала — единственная среди нас, она ничего не писала. Тимур попытался было пристроить ее к литературной критике, и она даже опубликовала несколько рецензий, но конкуренции не выдерживала даже среди критикесс, не говоря уже о критиках мужеского пола. Как-то ей недостаточно было быть просто женщиной, явно или тайно обожаемой всеми нами. Как женщина она была у нас вне конкуренции — по той простой причине, что рядом других не было и не предвиделось. Жена Саула не в счет — умная, красивая, но совершенно чужая нам, врач-гинеколог по профессии; он ее редко приводил, потому что мы при ней как-то конфузились, а ее шутки и вовсе ошарашивали нас своим трезвым цинизмом. Про какую-то излишне кокетливую особу она, к примеру, сказала: "Можно подумать, что у нее между ног нечто иное, чем у остальных", и хоть это было остроумно, но как-то уж слишком грубо. Да и ей наша болтовня была; похоже, скучновата — так что Наташе повезло: она не успела ее возненавидеть. А Саула я отчасти понять могу — я бы, наверное, тоже не выдержал. Хотя у Саула были дополнительные, а может быть, даже главные причины. Все опять-таки упиралось в Кирилла.

Пора вывести на сцену еще одного героя — незримого, коллективного, вездесущего. Без него бы весь этот сюжет не состоялся — Наташане ушла бы от Тимура, Саул не попал бы в психушку, Кирилл не стал бы вероят-

ным кандидатом на Нобелевку. Да и моя карьера сложилась бы совсем иначе.

Итак, Наташа уже верховодила среди нас, пользуясь своими жеңскими чарами, но прикрывая их идеологическим флером. Тимур продолжал пестовать Кирилла, который кончал за партой своего "Дон Кихота", а на жизненной поверхности ушел в глухую оборону, защищаясь от участвовавших нападений на него Наташи. У Саула взяли в "Юности" первый том его караимского эпоса с жутко смешной главой про Сталина, который пытается понять, что же это за племя и как ему с ним поступить. А у меня в "Совписе" поставили в план будущего года мой первый сборник стихов. Все были при деле, никаких туч на горизонте. В это время и исчез Кирилл. Вышел утром из квартиры на Беговой, а обратно не явился. В Суздале его тоже не оказалось — обеспокоенная мамаша обратилась в милицию, был объявлен всесоюзный розыск. Из нас больше всех нервничала Наташа, тогда мы думали — из-за чувства вины перед Кириллом. В последний вечер, накануне исчезновения, она над ним как-то особенно глумилась.

Появился он так же неожиданно, как исчез, — спустя полтора месяца. Обросший, молчаливый, без объяснений — и забился в свой угол за ширмой, который на самом деле был сегмент, а не угол. А через два дня во всем признался Тимуру. Учитель нас немедленно собрал. Наташа тоже присутствовала.

Тимур напомнил о нашей изначальной клятве — ничего друг от друга не скрывать, интересы нашего братства превыше личных (для него это так и было, для него одного). Он спросил, есть ли у нас в душе или на памяти хоть что-то, что мы скрываем. Мы молчали. Тогда он стал спрашивать каждого по отдельности, и каждый ответил, что есть.

— Меня не интересуют ваши сердечные тайны. Вы знаете, что я имею в виду. С кого начнем? — спросил он и, выждав секунду-другую:

— С меня, — и рассказал нам о вызове в КГБ.

Дело в том, что трое из нас — Тимур, Саул и Кирилл — подписали так называемое "шахматное" письмо в защиту политзаключенных, и вот теперь всех 64 подписантов стали разными способами и в разных организациях шантажировать. Я оказался не у дел, чему поначалу огорчился, так как меня просто не сочли достаточно известным, чтобы предложить подписать это злосчастное письмо: подписи под ним были своего рода доской почета нашей отечественной литературы. Но в КГБ этого не знали и решили, что я смалодушничал плюс, конечно, что я рус-

ский, в то время как среди подписантов было, как всегда, много евреев. Короче, меня единственного вызвали в гебуху, чтобы морально поддержать, и предложили более тесное сотрудничество, а когда я отказался, пригрозили остановить книгу стихов. Но я понимал, что со мной они блефуют — слишком заняты теми, кто подписал письмо, а не теми, кто его не подписывал. Между прочим, то, что мне не дали его подписать, — чистая случайность, так как к тому времени уже был опубликован в "Новом мире" мой цикл "Похвала тирану", который вызвал такую полемику в нашей обычно бесполемичной печати. Вообще, они грубо работают и мало что знают — меня удивило не их предложение, а их предположение, что я могу стать стукачом в нашем литературном квартете.

Тимуру же этого не предложили.

На душе в эти дни у меня было прескверно.

Почему не поделился с Учителем? Да потому что с меня взяли расписку о неразглашении! Как выяснилось, с остальных тоже — вот мы и молчали.

От Тимура потребовали, чтобы он снял свою подпись с письма 64-х. Тимур обещал подумать.

Саулу сказали, что его караимский эпос будет напечатан в журнале — пусть немедленно откажется от издания в "Посеве".

Хуже всего — с Кириллом, у которого не было московской прописки, — угрожали насильно выслать и навсегда запретить въезд в столицу.

Как и мне, ему напомнили, что его занесло в чужую компанию, — хоть и не русский, а все же славянин (про его осьмушку они не знали — еще одно доказательство их невежества и непрофессионализма).

— Так и сказали — ты же среди них белая ворона. И про то, что все меня презирают, как недоучку...

Когда он это выпалил, я взглянул на Наташу.

— А ты им что? — спросил Учитель.

— Послал подальше.

— Так прямо и послал?

— А как еще? Видано ли, чтобы человек сначала подписал письмо, а потом снимал свою подпись! Да что мне, выскрести ее, что ли? Что написано пером, не вырубишь топором. Я им все это спокойненько выложил, а они продолжали давить. Ну, я их и послал.

— А они? — спросил Саул.

— Почему я знаю. Послал и ушел. А так как они угрожали, решил скрыться — за полтора месяца всю Русь исколесил. По пути роман придумал.

Мы смотрели на Кирилла с восхищением и завистью.

Я — уж точно. Да и Саул, думаю. Тимур несколько раз от удовольствия облизнулся. Была у него такая привычка — облизываться от удовольствия. Вот, мол, не зря я этого увальня пестовал, и Тимур несколько раз многозначительно поглядывал на Наташу — значит, помимо прилюдной травли Кирилла Наташа еще, возможно, наговаривала на него отдельно Тимуру.

В этот вечер она молчала как рыба.

А на следующий день позвонили из Склифосовского и сообщили, что к ним в отделение доставлен Кирилл, сбитый на Ленинградском проспекте. Машина умчалась, шито-крыто, ничего не докажешь, но мы понимали, что это, скорее всего, месть Кириллу, а нам предупреждение. В эти же дни был смертельно ранен Костя Богатырев, когда вышел из лифта с ключом от своей квартиры. Первым капитулировал Саул, ссылаясь на беременность жены: оказался на редкость хорошим семьянином. В "Литературке" опубликовали его письмо в "Посев" с просьбой не печатать его книгу. Потом Тимур снял свою подпись, и никто его за это осудить не посмел — он свою норму выполнил, двенадцать лет отбарабанил. Не стану гадать, как бы поступил я на их месте, но в моей ситуации отступать было некуда, да меня больше и не беспокоили. Даже предложили как неподписанту пойти в "Дружбу народов" редактором в отдел поэзии, и я согласился, за что сразу же был осужден либералами, а кое-кем и заподозрен: подозреваемые всегда подозрительны. Денно и ночью дежурили мы у постели Кирилла, поправлялся он медленно — были сломаны два ребра и левая нога, но самое опасное — поврежденное ребро насквозь прошло легкое. Как раз тогда мы узнали, что на Западе вышел его "Дон Кихот" — на русском, а готовилось еще и немецкое издание. Западное радио трубило о нем как о главном диссиденте среди писателей, к тому же жестоко пострадавшем за правду.

В его книге тоже была глава о Сталине — Дон Кихота арестовывают в Москве и привозят в Кремль на очную ставку со Сталиным. Впоследствии именно эта глава оказалась в центре внимания на Западе, хотя сталинский кусок у Саула куда интереснее, но цензура в последний момент вымарала его из новомировской публикации, да и вообще здорово потрудились над книгой. По слабости, Саул на все это пошел — так ему хотелось напечатать свой эпос у себя в стране. Тимур его всячески в этом поддерживал.

— Надо уметь жертвовать частью, чтобы сохранить все остальное.

Вот и получилось, что Кириллов "Дон Кихот" вызвал скандал и принес ему всемирную славу, а иронический сказ про караимов, искромсанный и кастрированный, прошел, считай, незамеченным. Выйдя из больницы, Кирилл пошел на дальнейшую конфронтацию с Советской властью, делал заявления в защиту Сахарова, Солженицына, даже крымских татар. Последнее он предложил подписать Саулу, но Саул отказался, сославшись на то, что были случаи, когда татары выдавали караимов немцам под видом евреев. А потом Саул попал в психушку и на некоторое время отключился от нашей реальности. Я бы даже сказал, что сделал он это если не с удовольствием, то с несомненным облегчением. Он явно запутался в жизни, что-то в нем надломилось. И вся эта история с Саулом случилась сразу же после того, как Кирилл увел Наташу.

Из Наташи вышла бы замечательная сиделка, идеальная сестра милосердия. Кирилла выходила она. Вся преобразилась — ничего от прежней назидательной, насмешливой, честолюбивой женщины, полная самоотдача, все свободное время проводила у постели Кирилла. Но как только дело пошло на поправку, к Наташе стал возвращаться ее прежний апломб, а когда Кирилла привезли домой, она возобновила свои атаки с удвоенной силой, невзирая на его хромоту и общую слабость, была беспощадна, ехидна, насмешлива — что с ней творилось, одному богу известно. И так продолжалось до самого их ухода от Тимура, которому все мы очень сочувствовали.

Учитель, однако, повел себя странно. Я перестал вообще что-либо понимать.

— Если бы ты знал, как они страдают из-за всего этого, — сказал он мне спустя месяц после их ухода.

И еще через некоторое время:

— Ведь им совсем негде жить — ютятся по углам у своих новых знакомых, диссидентов.

Ни дать ни взять, исусик какой-то. Я рассердился — за него тут переживаешь, стихи вот сочинил по случаю, Саул — тот вообще на этой почве свихнулся, а Тимур, вместо того чтобы самому страдать, за них переживает!

— Ты бы им еще свою комнату предложил! — сказал я ему.

— Уже предлагал, — сказал Тимур. — Отказались.

— Да, граф Монте-Кристо из тебя никакой.

— Самый примитивный комплекс — это комплекс Монте-Кристо. Я уже не говорю о собственнических инстинктах, на которых строится убогая советская семья. Любить надо не ради себя, а ради того, кого любишь.

Я пропустил мимо ушей эту плоскую сентенцию.

— А ты ее все еще любишь? — спросил.

— А почему я должен перестать ее любить? И она меня любит. О чем мы говорим — о любви или о принадлежности? Я ее люблю, но я и Кирилл люблю, и тебя с Саулом, и не могу сказать, что ее люблю больше вас. Это было бы несправедливо. А что такое ревность, вообще не понимаю, потому что отрицаю право собственности мужа на жену. Измена — это мужской миф. Чего я боялся бы, так это предательства. Такого не произошло — ни со стороны Наташи, ни со стороны Кирилла.

Другие члены нашего братства были не столь бескорыстны.

Как-то я зашел на очередное пристанище Кирилла и Наташи. Кирилл стал еще угрюмее. Я не сразу понял, в чем дело. Но потом Наташа проговорила — может быть, сознательно, чтобы вовлечь меня в семейную дискуссию. Оказалось, она дважды в неделю навещает покинутого мужа:

— Обед готовлю, стираю, глажу — он же без меня совсем неухоженный. Болтаем...

— О чем? — довольно резко вмешался Кирилл.

— Тебе-то что?

— Ты его нарочно дразнишь? — спросил я Наташу.

Наташа рассмеялась:

— Кого из них?

— Ну, Тимура не раздражай, как ни старайся, — сказал я, припомнив наш с ним разговор о комплексе Монте-Кристо, о семейной собственности и всепрощающей любви.

— Зато этот всегда начеку — ревнив за двоих.

— А есть основания?

— Конечно! Ведь Кирилл у нас собственник.

И тут я понял, что ревновать можно только жену — к любовнику. Не наоборот! Где это видано, чтобы любовник ревновал к мужу? Вот Кирилл и ревновал теперь ее к Тимуру, превратившись из любовника в мужа. А, может быть, и Тимур избавился от ревности, став бобылем?

Потом я узнал дополнительную причину для Кирилловой тревоги — Наташа была беременна, а от кого — сама не знала. Ее это и не очень заботило — какая разница, главное отдать долг природе, не все ли равно, чей ребенок? Так или приблизительно так она рассуждала. А Кирилл со страхом ждал родов. Родился мальчик, как две капли воды похожий на Наташу, ни на кого больше — из таких, говорят, вырастают самые счастливые мужчины.

Кирилл успокаивал себя тем, что восточная кровь

обычно перетягивает — а ничего восточного в ребенке действительно не было.

Самым ревнивым оказался, однако, не Кирилл, а Саул, хоть это и была замещенная ревность.

Я до сих пор не очень понимаю, что произошло в его мозгу, почему он, когда Наташа ушла к Кириллу, приревновал заодно к нему и собственную жену — с Кириллом насмерть разругался, а жену чуть не зарезал?

Уход Наташи от Тимура взволновал Саула чрезвычайно. В таком состоянии я его еще никогда не видел.

Я попытался рационализировать его гнев:

— Кого из них ты больше осуждаешь?

— Обоих! Поэтому мне и не нравятся эти твои стихи.

В моем цикле я писал об измене другу, а не мужу.

— Променяла ангела на ловчака! У него же ничего своего! Чужая жена, чужая квартира, чужой сюжет. Кому нужен еще один Дон Кихот? Все с чужой подсказки!

— А мы не с чужой подсказки?

— О чем ты?

— Он же наш Учитель. Научил нас технике сюжета, выбрал за нас женщину... Ты разве не был влюблен в Наташу?

— Был, не был — какое это имеет значение! Хочешь знать, она ко мне тоже пристраивалась, как-то позвонила и молчит, сказать нечего, я ее и отшил. Уже тогда заподозрил, что Тимура она любит меньше, чем мы, надоел он ей, новенького захотелось...

— Как ты все, однако, огрубляешь!

— А ты все тонкостей хочешь! Поэт...

— Слушай, а ты случаем не ревнуешь к Кириллу?

— Наташу?

— В том числе и Наташу. Тимура, Наташу, русскую литературу...

Почему-то именно последнее особенно разозлило Саула. А на следующий день Тимур мне сообщил, что Саула забрали в психушку.

Не думаю, что между его женой и Кириллом что-нибудь было, хотя она баба не промах, да только слишком в отличие от Наташи трезвая, чтобы увлечься мужчиной по принципу его политического поведения. Иной у нее подход к этому делу, даром что врач-гинеколог. Да и не она меня во всей этой истории занимает.

А вот чего я не исключаю, так это авансы, которые Наташа делала Саулу. Все-таки он самый из нас талантливый, а Наташа знала толк в литературе, этого у нее не отнимешь. Есть люди, прямо-таки излучающие талант, чистая эманация дара Господня, тот же Бродский напри-

мер — женщины на нем так и висли. Талант — это ярко выраженное мужское начало, даже когда речь идет о женщине: Комиссаржевская, Ахматова, Цветаева. Не надо мне только говорить о латентном гомосексуализме, это примитивное объяснение. Да я и не вижу ничего предосудительного в предпочтении однополых партнеров. А если единственная женщина, которую ты любишь, уже занята либо не отвечает взаимностью?

Не могу с уверенностью сказать, почему Наташа ушла к Кириллу. Может быть, будучи по скрытой своей натуре сестрой милосердия, она его, как и Тимура, полюбила за муки, когда увидела, что Кирилловы муки превышают Тимуровы в том смысле, что синхронны, в то время как у Тимура все уже в прошлом? Это мое предположение подтверждает и ее дальнейшее поведение — не только визиты к брошенному мужу, но и позже, когда у Тимура обнаружили злокачественную опухоль в мозгу. С другой стороны, однако, Кирилл был единственным из нас, кто в трудных условиях повел себя по-мужски, хотя с ним в гребухе менее всего церемонились: и их послал подальше, и книгу за границей напечатал, а после того как его машина сбила, пошел на них в лобовую атаку и уже не отступал, пока его не вытурили из страны. Когда Тимур ей наскучил своей ангелической бесполостью и отсутствием писательского честолюбия, она потянулась было к самому из нас талантливому, то есть по этим параметрам — к самому мужчине, а, нарвавшись на Саулов отказ, выбрала мужчину по иным критериям. Одна гипотеза не противоречит другой. Скорее всего, и то и другое — жалость и уважение. И еще — удивление. Да и никто из нас не ожидал от Кирилла такой стойкости. Что бы там Саул о нем ни говорил — будто Кирилл добирается на периферии, потому что ему таланта не хватает.

У Саула тоже одно наложилось на другое. Кирилл сделал то, на что Саул не решился, — и Наташу из-под носа увел, и роман за границей напечатал. То есть проявился в отличие от Саула как настоящий мужчина. Здесь, думаю, и выиграло в нем собственническое чувство, и все сосредоточилось на ревности к жене. В его темном восточном мозгу — как он ни был индивидуально талантлив, а гены есть гены — произошло короткое замыкание: коли Кирилл украл у него любимую женщину и литературный успех, то теперь под угрозой семейное счастье, которого у Саула на самом деле не было. Наверно, его жена давала основания для ревности, а уж Кирилл просто оказался под рукой, олицетворяя собой все мировое зло, которое вдруг ни с того ни с сего обрушилось на Саула. Он скек-

совал, отступил, проиграл и теперь все свои комплексы обрушил на жену, которая чудом спаслась от сувенирного грузинского кинжала, подаренного почитателями и неопасно висевшего на стене в кабинете Саула. В психушке он пролежал недолго, вернулся образумившийся, но побочный эффект его вспышки был тот, что жена вынуждена была сделать аборт, опасаясь, что ребенок родится дефективный.

Мне осталось досказать немного, и я прошу прощения за повторы, потому что нарушал хронологию и забежал вперед. Но я ведь не профессиональный прозаик и притворяться в начале, что не знаю, что будет в конце, было бы не к лицу. Я не только не прозаик, но и не рассказчик, ибо принадлежу к породе слушателей. Этот рассказ и есть результат моего подслушивания биений чужих сердец. Хотя настоящим сердцеведом был среди нас Тимур — в том смысле, что знал сердечные секреты, но был слишком бескорыстен, чтобы воспользоваться этим своим сокровенным знанием в литературе. Вполне возможно, его бескорыстие было вынужденное — по натуре он писателем не был. Но если мы вышли в писатели, то исключительно благодаря ему.

Несмотря на размеры — он был даже не толстый, а жирный, несмотря на по-восточному изысканный флирт с жизнью, — любил вкусно поесть, выпить, ухаживать за женщинами и беседовать с друзьями, и всегда плотоядно облизывался от удовольствия либо предвкушая его, Тимур все-таки был человеком воздуха, не от мира сего, святым, хотя до конца мы это осознали, только когда он умер. Умирал он тяжело, Наташа устроила его в лучшую онкологическую лечебницу в Париже, где они жили с Кириллом после отъезда из Москвы. Наташа была при нем неотлучно, но ни ее присутствие, ни тамошние медицинские светила помочь ему уже ничем не могли. Вот я и говорю — кто знает, может быть, назначение Наташи на земле быть сестрой милосердия?

С Кириллом они расстались. Он пережил на шведке русского происхождения и переехал в Стокгольм, где ждет Нобелевской премии, будучи одним из 128 официальных претендентов на нее. Другим претендентом является Саул, который ждет ее в Москве, и, как мне кажется, шансы у него даже повыше — он символ гласности, ее живой результат, ибо весь его, теперь уже семитомный, эпос о караимском народе вышел полным изданием, включая запрещенную прежде главу о Сталине, где этот великий языковед на основании структурного анализа караимского наречия решает судьбу этого, возможно, по-

терянного, но благодаря Саулу вновь найденного колена Израилева. Еще одна причина моей ставки на Саула — у них там в Стокгольме очень любят писателей, которые родом из малых наций и про эти нации в своих книгах рассказывают.

Вообще, я думаю, нет больше в мире ни одной страны, в которой столько писателей надеялись бы получить эту злосчастную премию. Помню, в каком нервном шоке были Евтушенко, Вознесенский и Кушнер в день, когда было объявлено о присуждении ее Бродскому. Один из них даже выразился тогда в том смысле, что Бродский перекрыл им на Западе кислородные пути питания. А мой приятель прозаик Х. — не называю имени, и так каждому ясно, о ком речь! Четыре раза в жизни он был близок к самоубийству, а кончалось тем, что в стельку напивался — в дни, когда Нобелевку присуждали тому же Бродскому, либо Солженицыну и Шолохову, даже Пастернаку, хотя тогда ему был всего двадцать один год и он успел написать только несколько рассказов, а опубликовал два.

Что касается меня, то я средней руки русский поэт, без особых претензий. К тому же после той истории с КГБ, на которой Саул сломался, а Кирилл окреп, в силу чистой случайности — моего имени не оказалось среди подписантов — началась моя административная карьера, и сейчас я больше известен как редактор прогрессивного журнала, чем как поэт. Да у меня на стихи теперь и времени нет, все идет на журнал.

Я не так честолюбив, как Кирилл, не так талантлив, как Саул, и в отличие от Тимура не слишком добр. Если кому и завидую, то мертвецу, а это самая безнадежная зависть. Он унес с собой в могилу не только гениальные изустные рассказы, но и тайное свое сердцеведение: он один знал нас всех, а мы его так и не узнали и бьемся сейчас над загадкой. Он открыл нам законы литературы и законы любви, он выбрал за нас женщину, которая к нему вернулась, когда он уже был на смертном одре. Пора признаться — я был безумно влюблен в Наташу, и моя любовь не ослабла с годами. И свой тогдашний цикл я сочинил вовсе не из чувства поправленной справедливости, а из чистой ревности. К Учителю я не решался ревновать — как можно ревновать к святому? — но когда она ушла с Кириллом, мир встал на дыбы, все сместилось к чертовой матери, я потерял почву под ногами. Тогда я и стал искать утехи в мужских компаниях, ибо нет больше на свете женщины, подобной Наташе. Я ее не описываю здесь, потому что совершенно бесполезно. Кто догадывается, о ком пишу,

поймет с полуслова. Я и затеял этот рассказ ради нее одной.

В этой истории я — третий лишний. Точнее — пятый лишний. Это история четырех сердец, мое билось отдельно от остальных, я оказался посторонним — то ли по нерешительности, то ли по молодости, то ли по эмоциональной скаредности. Все четверо расходовались до конца, даже Саул чуть жену не прирезал — я один был эконо и остался ни с чем. Потому мне и выпало рассказать эту историю, что я в ней не участвовал. Моя роль слушателя, наблюдателя, теперь рассказчика, а не участника. А сколько всего проносилось в моем воображении! Им и ограничилось...

Последний раз видел Наташу на кладбище, когда хоронили Тимура. Она привезла его прах из Парижа, осунулась, постарела, но была красивой, родной и желанной, как прежде. С ней рядом стоял маленький парижанин, не похожий ни на одного из предполагаемых отцов, но только на Наташу — и слава богу! Все, кто был на кладбище, принимали ее за вдову, а я так и не разобрался, каков ее теперь статус по отношению к покойнику, с которым она давно была в разводе. Кирилл на похороны не приехал — отмечаю это как хроникер, а не в осуждение. Она уезжала в Париж на следующий день, я подошел к ней поздороваться и попрощаться. Глаза у нее были сухие. Никто на этих похоронах не плакал, за исключением Саула — он рыдал в голос, безутешно, как дитя.

Нью-Йорк
1991

Виктор Ерофеев —
Владимир Соловьев

КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДИАСПОРЫ?

В.ЕРОФЕЕВ. Летом прошлого года на международной набоковской конференции в Москве Владимир Соловьев (США) сделал доклад "Три жизни Владимира Набокова". Выходит, вы вернулись в Москву тем же, кем уехали 14 лет назад, — литературным критиком. Это несколько странно, потому что за эти годы вышло несколько ваших книг — и среди них нет ни одной литературоведческой. Три романа, два политологических исследования, не говоря уже о множестве политических статей в американской прессе. Доклад на набоковской конференции — рецидив?

В.СОЛОВЬЕВ. Скорее, повод для приезда в Советский Союз. Как состоявшийся тем же летом в Вермонте пастернаковский симпозиум — повод для приезда в США моих друзей Юнны Мориц и Фазила Искандера. С моего отъезда в Америку я и в самом деле не занимался критикой, которая была моей литературной профессией, пока я жил в Москве и Ленинграде. На то были разные причины. Субъективная: исчерпанность жанра — ведь я опубликовал в советской периодике сотни статей и рецензий! Объективная: с каждым годом текущей критикой в Советском Союзе было заниматься все труднее и труднее — этого нельзя критиковать, потому что он официальный писатель, а этого, наоборот, потому что он опальный. Союз писателей превратился в секту неприкасаемых. В тоталитарной стране любой критик персона нон грата — даже литературный! В автобиографическом "Романе с эпиграфами" у меня есть глава "Апология критики, или Прощание с любимым ремеслом". Так вот, спустя 14 лет после прощания — "Роман с эпиграфами" написан еще в Советском Союзе — произошел ностальгический возврат к брошенной профессии, к оставленному жанру: с прошлого года я регулярно пишу критические эссе, которые

передаются по радио "Свобода", а печатаются в зарубежной русскоязычной и советской прессе, где я повторно дебютировал статьей о семейной хронике отца и сына Тарковских в журнале "Искусство кино". А последняя моя критическая статья здесь — "Апофеоз одиночества" — написана в форме юбилейного адреса Иосифу Бродскому в связи с его 50-летием и опубликована в нью-йоркской газете "Новое русское слово". Кстати, старейшей русской газете в мире.

— Но Бродский же и герой вашего "Романа с эпиграфами"...

— Один из героев.

— Пусть один из героев, я сейчас о другом. "Роман с эпиграфами" написан полтора десятка лет назад в Москве, посвящен Ленинграду и только в этом году издан в Нью-Йорке. Даже отдельные главы, печатавшиеся в периодике, вызвали острую полемику. А уж тем более весь роман — боюсь, литературного скандала в связи с ним не избежать. Ведь это роман с живыми героями — Бродский, Кушнер, Евтушенко, Томас Венцлов, агенты КГБ, сам автор наконец. Естественный вопрос — почему вы не решались напечатать этот роман в течение пятнадцати лет, а сейчас вдруг взяли да отважились?

— Это не один, а два вопроса. На первый ответить легче, чем на второй. Я не издал этот роман вовремя, потому что считал не только его публикацию, но и, если хотите, само его сочинение преждевременным, а публикацию — так и опасной, ввиду его бесстыдного автобиографизма, укромности признаний и сокровенности мыслей. Политическая погода на русском дворе стояла тогда студеная, а герои "Романа с эпиграфами" — даже те, что помечены только именами либо инициалами, без фамилий, легко разгадываемы, а потому были уязвимы. Я подчеркиваю: были.

— Вы хотите сказать, что гласность повлияла не только на русскую литературу в пределах СССР, но и за его пределами?

— Несомненно. Ведь безопасность нынешней публикации "Романа с эпиграфами" для тех его героев, кто живет в СССР, — это ее условие, а не причина, которая состоит в том, что именно сейчас, в эпоху так называемой гласности, и началось соревнование двух русских литератур. Я говорю не об эмигрантской и советской — ведь были писатели, у которых эмигрировали их книги, а сами они продолжали жить в своей стране: тот же Фазиль Искандер, к примеру, либо ваш однофамилец Венедикт Ерофеев. Я говорю о литературе разрешенной и литературе свободной. В конце концов, и "Роман с эпиграфами"

написан в Москве. Когда я его писал, мною двигало в том числе желание восстановить поправленную справедливость: страницы, посвященные Бродскому, написаны не о всемирно известном писателе, но о литературном отщепенце.

— Отсюда авторский напор, необходимость в котором теперь отпала?

— Верно — Нобелевская премия досталась не официальному советскому писателю, все равно кому, но — рыжему изгнаннику. Не в первый раз: за исключением Шолохова, три других русских лауреата также находились за пределами советской литературы: Бунин жил во Франции, Солженицын живет в Вермонте, а Пастернака советская пропаганда обзывала "внутренним эмигрантом". Вполне справедливо, кстати, только это следует поставить ему не в упрек, а в заслугу. Так вот, как это ни парадоксально прозвучит, но именно гласность, уничтожив границу между литературой разрешенной и литературой свободной, положила не конец их соревнованию, а начало. "Роман с эпиграфами" может принять участие в этом соревновании, по крайней мере, на равных. Ведь это соревнование не групп, а индивидуальностей.

— Так или иначе, вы устроили своему роману проверку временем длиной в 15 лет. Вы уверены, что "Роман с эпиграфами" выдерживает это испытание?

— Помните, что говорил Уильям Блейк? Вечность влюблена в произведение времени! А о том, что мой роман не устарел, свидетельствует полемика, которая разгорелась вокруг напечатанных из него глав, и сейчас, когда "Роман с эпиграфами" издан целиком, пошла по второму кругу. Главная претензия, как я понял, даже не к самому роману, а к факту его публикации: мне отказывают в праве на собственное мнение, которое я не должен иметь, а коли уж имею — не должен нигде высказывать. Подразумевается, по-видимому, что если я продержал свой роман пятнадцать лет в столе, то почему бы ему не застрять там навечно? Я знаю людей, которые предпринимали усилия, чтобы публикацию "Романа с эпиграфами" отменить — будь на то их воля, они бы его и вовсе уничтожили. А может быть, и в самом деле надо было дожидаться смерти всех его героев, включая автобиографического, и опубликовать роман посмертно? Одно могу сказать со всей определенностью — затолкнуть его обратно в чернильницу я уже не смогу. А потому и в моем архиве ему больше не место.

Кстати, дважды, не сговариваясь, английский и русский наборщики опубликованных в периодике глав из "Романа с эпиграфами" слово "эпиграфы" заменили на "эпитафии" — я вовремя заметил ошибку и исправил ее:

менее всего я хотел бы, чтобы "Роман с эпиграфами" превратился в "Роман с эпитафиями". Потому хотя бы, что заинтересован в его прежних героях в качестве будущих читателей, и, предвидя бунт персонажей, всячески бы его приветствовал.

Это как у Пиранделло — "Шестеро персонажей в поисках автора". А вы не боитесь, что ваши герои вызовут вас на дуэль либо начнут против вас судебное преследование? И не только герои, но и их поклонники — они наверняка обидятся за своих кумиров. Скажем, поклонники Александра Кушнера, которому противопоставлен в "Романе с эпиграфами" Иосиф Бродский. Или литературный скандал входит в ваш замысел?

— Когда я писал роман, менее всего я думал о скандале. Мне казалось, что настал момент истины, и я должен выложиться весь, какой я есть. Хотя литературного скандала я не боюсь — в конце концов, такие скандалы в контексте литературы. Примеров множество: скажем, "Бесы". В одном месте я характеризую "Роман с эпиграфами" как "производственный роман о двух поэтах и одном критике". В другом упоминаю название знаменитой книги Анатолия Мариенгофа для определения собственного жанра: "роман без вранья" — без вранья, и тем не менее роман! С ссылкой на Мандельштама скажу, что работал не над воспроизведением, а над устранением реальности.

Время сгладило былые конфликты — готовя "Роман с эпиграфами" к изданию, я сам перечел его вчуже, даже его автобиографический герой показался мне странным, я не всегда узнавал в нем себя. Как тогда, так и теперь я не думаю, что прав всегда авторский персонаж, а не его оппоненты, а потому старался не злоупотреблять правом мемуариста быть положительным героем собственных воспоминаний. Наоборот, изображая себя, я хотел вывести на литературную сцену скорее антигероя, чем героя. "Роман с эпиграфами" был написан "враждебным словом отрицания", с преувеличенным чувством собственной вины, с болезненным ощущением своего еврейства — скорее, как синонима изгойства и отверженности, в цветаевском смысле, а не как национальной принадлежности. Вообще, главный герой этого романа — он же автор — не Владимир Исаакович Соловьев, а Владимир Исаакович Страх. Ощущение страха и бессилия перед КГБ проходит сквозь весь роман, однако само его написание есть преодоление этого страха. В интервью, которое я дал в Москве Дэвиду Шиплеру и которое было опубликовано весной 1977 года в "Нью-Йорк таймс", я так объяснил происшедшую со мной в процессе писания "Романа с эпиграфами" перемену: "У каждого человека есть своя

норма, своя квота страха. Как долго человек ни спит, он все равно должен рано или поздно проснуться. У меня была своя квота страха, и я ее использовал до конца”.

— *Свой ленинградский страх вы изжили уже в Москве. Может быть, это связано также с переменой места? Ведь даже в самые глухие годы — я имею в виду закатную пору брежневского правления — здесь были иностранные корреспонденты, а в Ленинграде в случае чего и обратиться было не к кому — не докричишься. Кому бы вы там сообщили о том, что вы использовали свою квоту страха?*

— Вы правы — некому! Если бы не переезд в Москву. — хотя точнее это назвать бегством из Ленинграда — никакого “Романа с эпиграфами” я бы не написал, а уж тем более не вступил бы на опасную в то время стезю политической деятельности.

— *Вместе с вашей женой и будущим соавтором написанных уже в Америке политологических исследований вы порвали с официальной литературой, открыто выступили против антисемитизма и цензуры и, наконец, образовали первое в советской истории независимое информационное агентство “Соловьев-Клепикова-Пресс”, чьи бюллетени широко печатались в западной прессе. Почему этот диссидентский период оказался таким коротким — через полгода вы были уже в Нью-Йорке?*

— Я вообще из породы спринтеров, что, скорее всего, нас и спасло. Когда начались анонимные телефонные звонки и прямые угрозы, мы предпочли уехать. Выбор у нас был не так чтобы очень велик — насильственный выезд на Восток либо добровольный на Запад. Мы выбрали последний, о чем я ни разу еще не пожалел.

— *Почему, будучи писателем с явным политическим уклоном и написав свою очень политизированную автобиографию в форме “Романа с эпиграфами”, вы не сочинили ничего подобного о московском периоде? По причине его кратковременности?*

— Нет. Просто я убежден, что путь прямой конфронтации с властью литературно менее плодотворен, он дал бы менее разветвленный, более однозначный и примитивный сюжет, пожелай я его втиснуть в романические рамки. Вот почему ленинградский роман мной написан, а московский нет. Политика не обязательна для литературы, но и не противопоказана ей. Что противопоказано, так это “прямоговорение”, если воспользоваться словечком Шкловского. А это был именно период прямоговорения — я имею в виду нашу жизнь в Москве: после вынужденного молчания и игры в молчанку в Ленинграде. Это

было важно для самоутверждения и бесплодно для литературы.

— А как же ваш другой роман, изданный за полгода до "Романа с эпиграфами", хотя написанный, судя по всему, недавно — "Операция МАВЗОЛЕЙ"? Он густо замешан на политике, политика — его тема, сюжет и цель написания. По сути, это футурологическая книга, тип антиутопии, вы и подзаголовок ему дали — "роман из недалекого будущего". И разве ваш прогноз относительно российского будущего — сначала хаос, а потом диктатура как способ его преодоления, — разве это не является прямоговорением? Продолжаете ли вы, кстати, верить в свой прогноз?

— Знаете, можно посидеть в ресторане и основательно, с удовольствием поесть, а заодно поболтать с друзьями, а можно наскоро где-нибудь подкрепиться. По-русски так и говорят — **забегаловка**, да и французы употребляют русское слово — **быстро**, то есть "быстро", а здесь у нас в ходу словосочетание *fast food*, что значит "быстрая еда". По-видимому, и в литературе можно говорить о "быстрой еде" — быстро приготовленной и быстро съеденной. Когда с нами заключили договор на биографию Андропова и выплатили шестизначный аванс, условие было, чтобы мы представили рукопись на английском языке через два месяца. Это было жесткое условие, но мы его выполнили, и книга появилась еще при жизни нашего героя, несмотря на всю краткость его политического царствования. Так же быстро была написана и следующая книга — политический портрет Кремля после смерти Андропова. Так вот, антиутопия "Операция МАВЗОЛЕЙ" возникла на инерции политологии, но в ином, романном жанре, точнее — на скрещении разных жанров, в которых я работаю: романа, политического эссе, футурологического исследования. А с футурологией вообще надо поторапливаться — как известно, ничто так быстро не устаревает, как предсказания. Хотя, предсказывая хаос, анархию и безвластие, думаю, я не ошибся. Что касается диктатуры, то это, конечно, ложный выход — так сказать, соблазн порядка и сильной руки, который очень трудно преодолеть в отчаянной ситуации. Поэтому "Операцию МАВЗОЛЕЙ" можно рассматривать и как роман-предупреждение — предупреждение о возможности в том числе и такого исхода. Но это, если рассматривать роман меркантильно, а скорее, это все-таки роман-провокация. Этот роман и в самом деле содержит много прямоговорения, но тем не менее он многоплановый — не забудьте,

* Две главы из этого романа опубликованы в газете "Совершенно секретно" № 9, 1990.

что это политический детектив, и начинается он с похищения трупa Ленина из его мавзолея: как впоследствии оказывается, для того, чтобы выяснить настоящую причину его смерти...

— *Вы верите в выдвинутую вами гипотезу о насильственной смерти Ленина?*

— Это не моя гипотеза. Первым ее высказал Троцкий, сославшись на странное сообщение Сталина на заседании Политбюро о том, что будто бы Ленин просил у него яд. Потом эту гипотезу мусолили — принимали либо отвергали — западные биографы Ленина, пока лучший из них — Роберт Пейн — не подвел под нее научную базу и не посвятил ей в своей биографии Ленина целую главу, которую так и обозначил: "Убийство Владимира Ленина". Я мало что внес нового в обоснование этой гипотезы — разве что ряд логических положений. Ведь если бы Ленин протянул хотя бы еще полгода, на политической карьере Сталина был бы поставлен крест — другими словами, вопрос стоял кто кого. Я уже не говорю о том, что политическое убийство, самозванство и узурпация власти вполне в русских традициях. Мне как романисту эта гипотеза была важна, чтобы устремить сюжет из прошлого в будущее, минуя настоящее. Что касается меня лично, то "да": я не сомневаюсь, что Сталин убил Ленина.

— *Полтора десятилетия жизни в Советском Союзе вы отдали литературной критике и литературоведению, потом лет десять занимались в Америке политологией, сейчас меньше чем за год вышло два ваших романа и на очереди, как я слышал, третий. Меня интересует, кем себя считает сам Владимир Соловьев — политологом? журналистом? литературоведом? романистом?*

— То есть кем по преимуществу? Говоря честно, будучи в литературе многостаночником, я не сторонник академического разделения жанров, а тем более — их иерархии. Согласитесь, можно написать роман-притчу, как Кафка или Искандер ("Кролики и удавы"), или роман-эссе, как Гессе, Музиль и Томас Манн, литературоведческий роман, как Тынянов, мемуарный роман, как Пруст и Мариенгоф, и, наконец, политический роман, как Достоевский ("Бесы"), Платонов и ранний Эренбург. Здесь иногда говорят, что мои политические эссе слишком литературны — много цитат и метафор, а литературные — излишне политизированы. О моих романах и говорить нечего — они все возникли на жанровых перекрестках. Будто существуют какие-то правила! Книга получается либо не получается — и все тут! К тому же с ней во времени происходят удивительные метаморфозы. Время, например, изменило самый жанр "Романа с эпиграфами" —

исповедь превратилась в воспоминания, личный дневник приобрел эвристическую ценность и стал историческим документом, оставшись романом, как и был задуман, так как его герои изъяты из жизни и перенесены в текст, в двухмерную плоскость книжной страницы. Вот почему все реалии романа — даже те, чьи имена совпадают с настоящими либо отгадываемы — есть уплотнение и материализация авторских двойников, вычленение из авторского персонажа различных сторон его одновременно компромиссного и сопротивленного существования. Прежде всего это попытка автопортрета. Любили же писать автопортреты Рембрандт, Ван Гог...

— Судя по увлечению, с которым вы говорите о прозе, это ваше излюбленное занятие?

— Несомненно! А самое трудоемкое, ответственное и неблагодарное — критика. Самое прибыльное — политология.

— *Ваша политология адресована главным образом зарубежному читателю, в то время как все остальное по преимуществу русскому. Поэтому жанровые переходы означают у вас одновременно и изменение читательской аудитории. Уехав из Советского Союза, вы расстались с русским читателем, сделав основной упор на западном. Ваша сегодняшняя тяга к русскому читателю объясняется разочарованием в западном либо изменением политической ситуации в нашей стране?*

— Я бы объединил это и определил как тоску по читателю, а сейчас появилась возможность ее утешить благодаря неожиданно открывшемуся для эмигрантского писателя читательскому рынку его исторической родины, то есть России. Кстати, здесь сейчас публикуются не только мои критические упражнения, но и наши с Леной политические исследования. Сначала появилась пиратская, без нашего ведома изданная брошюра "Михаил Горбачев: путь наверх" и широко продавалась на улицах Москвы, Ленинграда и других городов — можно сказать, бестселлер самиздата. Потом с нами заключили официальный договор на издание в самое ближайшее время обеих наших кремлевских книг и отвалили кучу денег в качестве аванса — к сожалению, в рублях, которые не имеют хождения в стране, где мы проживаем. А сейчас дошла наконец очередь и до прозы. Ситуация беспрецедентная на фоне истории русской литературы, которая — так уж сложилась ее судьба! — вот уже три четверти века существует по обе стороны государственной границы СССР. Там и здесь — два места ее обитания, ее двойная прописка. Там — если судить отсюда, из эмиграции, — сузилось до двух литературных пятачков Москвы и Ленинграда, с

редкими все-таки вспышками провинциальных талантов, **здесь** — утратило периметр, расползлось по земному шару, русский писатель стал гражданином вселенной. Диаспора на то и диаспора, то есть бесконечность, центр которой повсюду, а пределы нигде, как сказал Николай Кузанский. Литературная диаспора полицентрична и беспредельна: **мы** потеряли почву под ногами, зато обрели свободу, в безбрежности которой оказались затеряны, — одиночество свободы, вынужденный апофеоз беспочвенности. Из мира, где нам было тесно, мы очутились в мире, где нас как бы нет. В отличие от нас **вы** обрели точку опоры в тесных пределах литературной неволи.

Географическая родина и литературная диаспора — сходство и различие, тождество и противопоставление. Не только литература, но даже язык, который, казалось, должен объединять и примирять, раздвоился, как “жало мудрая змеи”: с одной стороны, язык-раб с его Эзоповой феней, а с другой — язык-вольноотпущенник. Оказалось, что писать можно на обоих. Там Булгаков — **здесь** Набоков, там Мандельштам — **здесь** Ходасевич, там Флоренский — **здесь** Шестов, там Высоцкий, Искандер — **здесь** Бродский и Солженицын.

— Сейчас вы рассуждаете уже не как практик, а как теоретик литературы — Соловьев-критик, а не Соловьев-прозаик. А вам не кажется, что вы несколько искусственно объединяете семь десятилетий, действительно, раздвоенного, шизофренического существования русской литературы? Но есть все-таки некоторая разница между бесконечной сталинской ночью и серыми брежневскими сумерками...

— Кто же спорит? Рассуждая, мы всегда обобщаем и упрощаем, помещаем для удобства между собой и реальностью схему, на которую и переносим всю тяжесть наших раздумий. Не только там, у вас, но и здесь, в русской диаспоре, одно время не совпадает с другим. Эмигранты первой послереволюционной волны сидели на чемоданах, уверенные, что большевики долго не продержатся, а вот мы уезжали навсегда, не надеясь ни на какие перемены у себя на родине. Разве не урок фаталистам-детерминистам? Тем пришлось распаковывать чемоданы, зато наше “навсегда” продлилось полтора, от силы — два десятилетия. Подул ветер гласности, пограничную дамбу смыло, как будто ее и не было, — две русские литературы стремглав пошли на сближение, ничьи lamentации, вздохи и окрики уже не помогут. И разве не естественно желание вынужденных уехать литераторов возвратиться в покинутый языковой материк, к читателю, которого они были лишены и который составляет четвертое измерение

русской литературы, будь этот читатель кто угодно — обыватель, соглядатай или профессионал?

О, этот читатель, голодный, жадный, остроглазый, схватывающий с полуслова, мгновенно откликающийся на полунамек, ловко и тщательно расшифровывающий тот самый Эзопов язык, благодаря которому раб может говорить свободно, оставаясь в цепях или на цепи! Ценность произнесенного слова определяется в России не только — и, увы, не столько! — его себестоимостью, но прежде всего тем эхом, которое оно называет. Ценность слова в мире, где оно совсем еще недавно было запрещено и даже наказуемо, остается до сих пор, пусть по инерции либо по привычке, несравненно выше, чем здесь, где оно не первое столетие позволено. Запретный плод сладок, даже если он уже разрешен. Не обязательно плод — скажем, сочащийся окорок для правоверного мусульманина или ортодоксального еврея. Тоталитарное общество — это древний амфитеатр с великолепной акустикой, где даже молчание воспринимается как выступление. Недаром именно создатели амфитеатра первыми обнаружили ценность и весомость не только сказанного, но и не-сказанного слова: *cum tacent, clamant* — молчанием говорят. Причем сказал это — разве не парадокс? — лучший тогдашний говорун Цицерон. Конечно, с эрозией в России тоталитаризма его литературный амфитеатр тоже постепенно разрушается, слово неизбежно падет там в цене, я уж не говорю о молчании. Но на наш век, надеюсь, хватит — ведь даже полуразрушенный амфитеатр сохраняет прежнюю акустику. Вот почему писателя русской диаспоры так тянет в литературные Пенаты, вот почему "большая земля" притягивает к себе блуждающие звезды и млечную пыль литературного рассеяния.

Рассказы "Призрак, кусающий себе локти", "Сердца четырех", а также беседа с В.Ерофеевым включены автором в его новую книгу, которая выйдет в издательстве "Культура".

ЭКСПЕРТИЗА

Леонид Жуховицкий

ЗАПИСКИ ШПИОНА

Я — шпион. Хожу по Америке и стараюсь вывести самый главный ее секрет. Трудно, но уж очень хочется.

Много лет я мечтал повидать великую заокеанскую страну, вторую сверхдержаву, — хотя бы для того, чтобы сравнить ее с первой. Увы, не получалось: чужие звали, да свои не пускали. А в этом году редкостно повезло — в январе пригласили на одну конференцию, в апреле на другую.

Каждый открывает Америку по-своему, ибо каждого интересует свое. Меня интересовал вопрос, который мучает миллионы и миллионы моих соотечественников. А именно: почему мы живем плохо, а они хорошо?

Америка страна открытая, все ее секреты буквально валяются на асфальте, нагибайся и бери. Вот только текст прочесть трудновато: самые простые вещи ставят в тупик.

Вот, например, вопрос, который терзает меня до сих пор. В большом нью-йоркском магазине пачка из шести пар прекрасных толстых спортивных носков стоит четыре доллара. То есть пара — семьдесят пять центов. А месячный заработок рабочего, производящего эти носки, — две тысячи долларов. Носки — это хлопок и синтетика, это амортизация оборудования, транспорт, торговая наценка, которая здесь очень высока, ибо при американском изобилии продать что-либо весьма не просто, это реклама, налог, наконец, прибыль предпринимателя. Сколько же жалких центов остается рабочему с каждой пары за его труд? И как при таком мизере он, тем не менее, выколачивает свои две тысячи полновесных долларов, годных к употреблению в любой обитаемой точке Земли?

Но и американцы понимают у нас далеко не все. Мой друг Леня Загальский, отличный журналист, стажировавшийся в Стенфордском университете, ни разу не сумел объяснить здешним собеседникам одну из популярных статей нашего Уголовного кодекса: ну не могут, никак не могут они уразуметь, что такое "сокрытие товара от продажи"!

Чтобы разгадать секреты чужой страны, надо очень внимательно смотреть по сторонам и замечать все необычное. Стараюсь. Тем более что материала много. Здесь даже обычное необычно.

* * *

Уходя из дому, моя хозяйка Барбара не запирает дверь.

Всю жизнь я читал про Америку: всевластие мафии, разгул преступности, вечерами по улице не пройти. А здесь, в Пало Альто, пригороде Сан-Франциско, Барбара не запирает дверь. Хотя на этажерке у входа валяются несколько фотоаппаратов и дорогушая кинокамера, а компьютер в кабинете мужа отнюдь не прикован к стене.

— Барбара, а дверь?

Это я проявляю похвальную бдительность.

Она лишь беззаботно улыбается:

— О, это не имеет значения. Я знаю всех соседей, и они знают меня.

А в центре городка, у супермаркета, она оставляет машину, даже не подняв бокового стекла.

Конечно, в больших городах, где полно приезжих, где перепутаны языки и обычаи, случается всякое. Но в американской провинции, в небольших городках практически не воруют.

А ведь нация складывалась отнюдь не из добродетельных и законопослушных. Кто прежде всего стремился из обжитой Европы в далекую дикую страну? Естественно, те, кого не слишком-то жаловали на родине. Авантюристы, преступники, нарушители традиций и норм, безработные, люмпены — искатели скорой удачи и легких денег. Ну а кем пополняется Америка нынче? Прямо скажем, эмигрантов далеко не всегда составляет элита...

По прямой логике, именно криминальный элемент должен бы задавать тон в стране переселенцев.

Как сказала бы моя любимая дочь, вопрос на засыпку: почему, тем не менее, американцы не воруют? Или, во всяком случае, воруют куда меньше, чем могли бы. И — куда меньше, чем мы. Почему?

* * *

В рядовом американском универсаме — у них это называется супермаркетом — есть практически все, кроме разве что черной икры. По огромному ангару ходишь, как по музею пищи. Разных колбас столько, что для них нужен бы особый словарь. Тележку с продуктами выкатываешь на улицу и оставляешь около автостоянки — так удобней покупателю, а покупатель всегда прав. Ну и, само собой, улыбка при входе, улыбка при выходе.

Ладно, колбасы у нас нет. Но почему нет и улыбки?

Все просто. В квартале от американского супермаркета стоит другой, принадлежащий другой фирме. Здесь встретят угрюмо — пойду туда, где улыбаются. Мрачный продавец оглянуться не успеет, как разорится. Конкуренция!

У нас монопольный торгаш — государство. И куда ни толкнись, все равно за прилавком государство, грязное, вороватое, с хамством в нетрезвых глазах. Оно никогда не разорится. В крайнем случае, провернет еще одну денежную реформу, и снова богатое. Так на черта ему нам улыбаться?

В Штатах частники, конкурируя, повышают качество и сбивают цены. Монополия там запрещена законом, а за тайный сговор посадят в тюрьму. У нас все наоборот: одна на страну сверхмонополия заламывает любые цены и давит законами конкурентов.

А нас еще пугают частником...

* * *

Задал Эду, преподавателю колледжа из Майами, свой главный шпионский вопрос: почему они живут хорошо, а мы нет? Он думал секунд десять, не больше.

— У нас очень хорошая конституция.

Видно, лицо у меня здорово вытянулось. Связь-то какая? Я про жизнь, а он про конституцию!

Из дальнейшей беседы выяснилось, что связь самая прямая.

Та конституция, что учил в школе и давно забыл я, и та, по которой живет Эд, разнятся в самом главном. Наш основной закон — это свод правил поведения, который правительство придумало для народа. Что нам можно, чего нельзя и что обязаны. А в американской конституции четко записаны права правительства — что ему можно и чего нельзя. От сих до сих, и не более того.

Короче, наша конституция — наручники для народа. Американская — намордник для правительства. А с пра-

вительством, даже очень хорошим, куда спокойнее, если оно в наморднике.

Может, и в самом деле главный залог успеха — свободный народ и ограниченное в своих руководящих возможностях правительство?

...

Когда перед американцем встает проблема, которую он не может решить самостоятельно, скажем, прокладка дороги к поселку, или воскресная школа для детей, или помощь беженцам, или борьба за мир, — он обходит соседей, обзванивает знакомых и создает общественный комитет. Советский человек в аналогичном случае вырывает из школьной тетрадки листок в клеточку и пишет жалобу начальству, копию прокурору, копию президенту, копию в газету. Разница кардинальная, и именно она во многом определяет столь различный облик наших и их маленьких городков.

“Улица моя, дома мои”, — гордо провозгласил Маяковский. Великий пролетарский поэт малость преувеличил. Улица, может, и моя, но вот рытвины на ней ничейные, и помойки ничейные, и урны, лежащие на боку, явно ничейные, то есть райсоветовские, то есть государственные, то есть общие, то есть опять же ничьи. Американские же улицы завидно ровны и чисты.

Дело не только в этом.

Вот, скажем, мой приятель в Пало Альто живет в прекрасном доме, в хорошем районе, зеленом и тихом. Но вечерами там темно, как в деревне, фонари редки и светят едва-едва. Причина не в экономии электричества — Америка страна немелочная. Просто жители района сами решили, что хотят жить по-деревенски. То есть, чтобы вечерами как раз и было тихо и темно, и свет с улицы не бил в занавески, и у чужих машин не было соблазна прокатиться по незнакомым кварталам. Так людям захотелось — так и живут, и ставить фонари запрещают. Они хозяева. Улица моя, дома мои.

То же самое различие сказывается и в ином.

У нас в любой вечерней компании, о чем бы ни зашел разговор, к концу его непременно станут ругать или хвалить Горбачева. Даже если на столе только чай, а за столом только муж и жена, все равно Михаил Сергеевич с ними третьим.

В обе мои поездки все вечера я проводил с американцами. И ни разу — ну, ни единого! — не заходил разговор о президенте Буше. Если я сам его не начинал.

Дело в том, что ежедневная жизнь рядового американца практически не зависит от вашингтонских политиков, в

том числе и от президента. Останутся у власти республиканцы, победят демократы — все так же будут ломиться от товаров магазины, все те же великолепные машины будут проноситься по великолепным дорогам, все те же рекламы будут зазывать и предлагать, все так же слаженно будут делать свое дело фермеры, рабочие, учителя и полицейские. Я просто не могу представить, какой дурости закон должен принять конгресс, чтобы в продмагах Чикаго или Далласа вдруг исчезла колбаса. Наша страна управляется из одной капитанской рубки, поэтому единственное неверное решение тут же швыряет с боку на бок весь корабль. А жизнью Америки, прежде всего ее экономикой, управляют миллионы людей, каждый из которых у себя в мастерской, или на ферме, или в лавке — полноправный хозяин. Самый глупый его приказ имеет лишь ограниченную сферу действия: он способен превратить в банкрота самого хозяина, но никак не скажется на соседях справа и слева. Экономика Штатов, как корпус огромного корабля, разделена на множество автономных отсеков. Если один из них зальет, корабль не только не потеряет центровку, но и просто не заметит потерю.

Привычка рассчитывать не на президента, а на себя у американца в крови. Поэтому жалобщик по начальству здесь смотрелся бы так же странно, как у нас человек, ни разу в жизни не "сигналивший" наверх.

* * *

Пообедать решили в ресторане. Выбор места предлагается гостю.

— Решай, куда хочешь. Можно в китайский, мексиканский, индийский, тайландский. А хочешь в русский?

— Ну уж нет, — отвечаю, — в русский пойду в России.

— Тогда, может, в итальянский, французский? Или — в японский?

Сил нет слушать. Издеваются, что ли? Ну откуда такое изобилие в городе, который даже не столица штата?

Изобилие, между прочим, не только ресторанное. У десятков магазинов свое национальное лицо. В Сан-Франциско самый, пожалуй, интересный квартал — китайский. Практически целый район — Чайна-таун. Вот уж где глаза разбегаются! Чего только нет — от старинных ваз до пуховых курток. А поблизости — Россия, салон живописи: Эрнст Неизвестный, Михаил Шемякин...

Америка — страна эмигрантов. Здесь нет чужих, все свои. Спросишь человека, кто он по национальности, недоуменно пожмет плечами: американец, кто же еще. Белые, черные, смуглые — все американцы. И каждый год тысячи приезжих получают гражданство, становясь американцами.

Соединенные Штаты считают самой доброжелательной к эмигрантам страной на земле.

Эта доброжелательность не только гуманна, но и выгодна.

Ведь каждый народ привозит в Америку свои знания, свой опыт, свои идеи, фасоны, рецепты, навыки. Мозги и руки со всего света сделали молодую республику самой развитой страной на планете. И, между прочим, ее обеденный стол — самым разнообразным.

Доброта окупается даже в мелочах.

...

Я человек советский, даже в Америке ищу дефицит.

Дело, честно скажу, трудное. Чего нет в стране, где есть все?

Оказывается, кое-чего нет и в Америке.

Две поездки, четыре штата, множество новых знакомых. И — ни единого унылого лица. Страна без нытиков.

Впечатление такое, что тут все оголтелые оптимисты. Человек без улыбки тут был бы странен, как прохожий без штанов. Все поголовно улыбаются. Я уже упомянул об этом, теперь остановлюсь подробнее.

Запомнилось: рейс Вашингтон—Москва, уже объявлена посадка, к дверям аэропорта подогнан широченный автобус с подвижным тамбуром, и пассажиры, в основном мои любимые соотечественники, валом валят к выходу. Можно бы, конечно, и не спешить, но это иностранцы пусть не спешат. А у нас в крови: в любой очереди лучше быть первым, даже в той, где ничего не дают.

В числе прочих возвращается домой хоккейная команда. Какие у рыцарей ледовой площадки медали, не знаю — а вот чемоданы здоровенные. Что вполне логично: здесь не Иркутск и не Хабаровск, сюда летают не за медалями. Ребята вошли в автобус, и, естественно, где вошли, там и сели. Гора чемоданов буквально завалила проход.

И тут же — молоденькая стюардесса. С улыбкой, по-английски: прошу пройти вперед. Даже если парни не знают языка, то уж жест точно понятен.

Тем не менее сидят, как сидели. Места у двери ключевые, жаль упускать. И багаж ворочать неохота.

Стюардесса вновь указывает на чемоданы, и вновь с улыбкой. Но и парни упорны — никакого шевеления.

И вот форменная девчонка начинает сама оттаскивать с прохода здоровенные чемоданы. Ладно бы только волочила — так ведь еще и улыбается! Через силу, через обиду — но улыбается!

Может, как раз улыбка и подействовала, парни нехотя взялись за багаж.

Американцев учат улыбаться с детства. И это не школа лицемерия — это уроки оптимизма. Того самого, что в большом дефиците у нас.

А ведь качество жизни в стране напрямую зависит от запасов оптимизма.

Американец, встретив на пути завал, сразу начинает думать, как его устранить. Ну а мы принимаемся искать виноватого. В результате каждый получает свое: американец — свободную дорогу, мы с вами — возможность обругать начальника или соседа.

Сегодня у нас человек, который не твердит без конца, что страна погибла, смотрится просто дураком. Американец же в любой ситуации деловит, подтянут и нацелен на успех. Улыбка — лишь фирменный знак потенциального победителя.

Кроме того, врачи утверждают, что улыбка освобождает мышцы лица от напряжения, а кожу от будущих морщин. Может, поэтому в Штатах так мало старческих лиц: здешние пенсионеры на редкость моложавы...

...

У американцев детская реакция на юмор, всегда готовы расхохотаться. Здесь ценят только остроумных ораторов. Говорят, Рейгану Америка прощала все именно за его шуточки.

На конференции во Флориде я выступил весело, и сразу же оказалось, что у меня полно друзей. Американцы гостеприимны фантастически: лишь одну ночь мне удалось переночевать в гостинице.

С хозяевами везло все время. Один раз — особенно. Выяснилось, что глава семьи занимается в правительстве штата малым бизнесом, то есть как раз тем, что меня интересовало, пожалуй, больше всего.

Потом в Москве я спрашивал многих приятелей, сколько, по их мнению, в США малых предприятий. Ответы были разные: от ста тысяч до пяти миллионов. Ошибались все — в Америке восемнадцать миллионов малых предприятий! Именно столько. Три миллиона фермеров кормят США, да еще и нам немало перепадает: четверть века покупаем у них зерно и разное прочее. Остальные пятнадцать миллионов малых предприятий располагаются в городах, городках и у дорог. Рамки малого бизнеса вот какие: не больше пятнадцати наемных работников, не больше трех миллионов годового дохода.

В Штатах малый бизнес на каждом шагу. Бензозаправка — малое предприятие. Закусочная у дороги — тоже. И типография в маленьком городке. И за рулем фургона, развозящего молоко, сидит малый бизнесмен. И в газетном киоске маячит предприниматель. И машины ремон-

тирует независимая фирма, папа и сын. И гостиничка на двадцать мест относится к этому роду деятельности. И кафе знаменитой фирмы "Макдональдс" тоже вполне может оказаться малым предприятием: компания огромна, обороты миллиардные, но эта конкретная кафешка, работая в системе, тем не менее сохраняет финансовую суверенность — и прибыль в карман хозяину, и убыток ему на шею.

Восемнадцать миллионов малых предприятий — становой хребет Америки, ее страховой фонд, киль под днищем, незыблемый фундамент всех ее небоскребов. Форд может разориться, Рокфеллер, упаси Бог, пойдет по миру — но на месте провала тут же выстрелят вверх три-четыре крепких жизнеспособных ростка. Малый бизнес — постоянно действующая школа бизнеса большого, где конкурс первых учеников на открывающиеся вакансии жесток, но справедлив. Восемнадцать миллионов претендентов на успех гарантируют американскую экономику от всех случайностей.

У нас вот все набросились на Артема Тарасова, от журналистов до генерального прокурора. Но в Артеме Тарасове если и есть что плохого, так то, что он такой один. А наши блюстители равной нищеты, вместо того чтобы приписать к столь яркой единице пять-шесть нолей, норовят саму единицу перечертить в ноль.

Впрочем, теперь уже, пожалуй, не получится. И у нас малый бизнес поднимается на ноги. А этот дубок покрепче топора...

В воскресенье меня везут километров за сорок от Майами, на знаменитую крокодилью ферму. Болотистая равнина рассечена каналами, по каналам две широкие тупоносые плоскодонки с моторами катают туристов. Наклоняться к воде не рекомендуется: крокодилы в каналах настоящие, и зубы у них настоящие.

Не решился спросить, куда идут потом эти суперящерицы — в зоопарки или на дамские сумочки?

Ферма, между прочим, тоже малое предприятие...

...

Рано или поздно на вопросы приходится отвечать.

Итак — почему они живут хорошо, а мы плохо?

Сухая наука статистика словно бы решила съехидничать. В США восемнадцать миллионов малых предпринимателей. У нас восемнадцать миллионов аппаратчиков. Не здесь ли кроется простой и печальный ответ?

Восемнадцать миллионов американцев, чтобы выжить, вынуждены, конкурируя между собой, производить товары все качественней и дешевле. Восемнадцать миллионов наших соотечественников, чтобы выжить, вынуждены тор-

мозить экономику страны: сперва все запрещать, а потом за взятку разрешать. Люди разные, случаи разные, но общая схема, увы, такая — выгода американских предпринимателей совпадает с выгодой государства, выгода наших чиновников противоречит ей. Миллионы маленьких бизнесменов толкают их страну вперед, миллионы маленьких чиновников хватают нашу страну за колеса.

Ну а почему правнуки авантюристов и каторжников не воруют?

Не воруют потому, что — собственники. А собственники необходимы закон и порядок, ибо ему есть что терять. Даже вор, построив дом и разбив сад, начинает бояться воров.

Семьдесят лет мы боролись с собственническими инстинктами. Победили. Теперь у нас инстинкты люмпенские: украсть и удрать. А бизнес, прежде всего малый, быстро повышает уровень честности в обществе. В деловом мире ложь разорительна: и чужая, и — особенно! — своя. Вралю не поверят на слово, халтурщику не дадут новый заказ, ловчила получит кредит только один раз. Особенно сегодня, когда компьютеры помнят все, в том числе и репутацию любой фирмы.

В Америке самое невыгодное — красть и врать.

Авось, и у нас когда-нибудь так будет.

* * *

Скорей всего, после изложенного мне непременно зададут столь популярный нынче вопрос: уезжать или не уезжать?

Особо колебаться не буду. Если есть хоть какая-то возможность — не уезжать.

Соображения патриотические в данной ситуации я не учитываю: во-первых, привязанность к родной земле — дело глубоко личное, во-вторых, в последние годы столько громогласного жулья норовило прибыльно торгаться традицией и славой Отечества, что целый ряд достойных понятий из сферы духовной как бы перешел в сферу коммерческую. Словом, не хочу сводить любовь к Родине до аргумента в практическом вопросе.

Не ехать же, на мой взгляд, вот почему.

Даже в самой благополучной стране люди все равно люди, а значит, не могут жить без проблем. И в Чикаго спиваются, и в Бостоне кончают с собой, и в Сан-Франциско мучаются от несчастной любви, и в Майами лезут на стену от одиночества. Даже нищеты в Америке хватает, и хоть нищета эта не наша, а ихняя, то есть сытая и на машине, американские бедняки все равно несчастны и оз-

любленны: ведь нищий не тот, кто живет плохо, а тот, кто живет хуже всех вокруг.

У эмигрантов шансов на бедность и одиночество гораздо больше, чем у коренных жителей страны, — при всей справедливости и гуманности здешних законов.

Приезжий быстро привыкает к богатым прилавкам, перестает радоваться отсутствию очередей и начинает замечать то, что на первых порах полностью заслонялось картиной тотального изобилия.

Многих наших эмигрантов (не только в Штатах, но и в других странах) я спрашивал, не жалеют ли, что уехали. Почти все бывалые переселенцы отвечали — не жалеют. И вернуться хотят лишь единицы, в основном люди творческие, которые на Родине были нужны и любимы, а на новом месте безвестны, отгорожены от привычно широкой аудитории глухой стеной иной психологии и иного языка. Но если вопрос ставился по-другому — уехал бы, если бы можно было все начать заново, — большинство отвечало твердым "нет".

Противоречия тут никакого.

Наши эмигранты по прошествии времени устраиваются в той же Америке вполне прилично, постепенно входят в средний класс, живущий по нашим меркам просто великолепно, да и по ихним неплохо, приспосабливаются к новым традициям и правилам — но на все это, как правило, уходит лет пятнадцать. Бывает, и больше.

Так вот заново проживать эти пятнадцать лет охотников мало.

Чисто бытовые трудности — деньги, жилье, машина — преодолеваются довольно быстро, стоит лишь найти нормальную работу, а это в Америке для человека с руками и без претензий, в общем, не дефицит. Но...

Вписавшись худо-бедно в американскую экономику, приезжий, увы, гораздо труднее вписывается в американскую культуру, в том числе в культуру быта. Через полгода он уже умеет сносно объясниться — но еще долго не получает удовольствия от разговора, не улавливает смены интонаций, мучается косноязычием, упускает скрытый смысл понятных фраз. Ведь язык не только запас слов, это еще и уйма прочитанных книг, и строчки стихов, давно вошедшие в живую речь, и популярные анекдоты, один намек на которые вызывает бурную реакцию собеседников, и многое другое. Наш эмигрант, как правило, начитан — но здесь росли на других книгах, заучивали другие стихи. Здесь по-иному празднуют дни рождения, по-иному дружат домами, по-иному ходят в гости, по-иному знакомятся, по-иному договариваются провести вместе ночь, по-иному прощаются утром и по-иному оценивают то, что произошло. Как следует выучить чужой

язык непросто, но выучить чужой образ жизни еще сложнее.

Повторяю: Америка к эмигранту добра. Но все равно каждый шаг стоит ему тройных усилий.

Дома был классный специалист — здесь вынужден переучиваться. Дома принято было брать на глотку — здесь приходится постигать силу холодноватой вежливости. Не каждому под силу американские ритмы — а выпадешь из ритма, и поезд уйдет без тебя. У нас важно вовремя пообещать; а здесь с ненадежным партнером перестают иметь дело сразу и все.

В калифорнийском промышленном городке программист-эмигрант получает на треть меньше программиста-американца. Этого вполне хватает на хорошую жизнь, но обидно, когда тебя числят вторым сортом.

На набережной в Сан-Франциско торгует с лотка белокурый парень лет двадцати пяти. Приехал в гости на месяц, но вот уже почти год гуляет по Штатам, смотрит великую страну. Документов практически никаких, права на работу нет, но для парня с мозгами разве в бумагах счастье? На поденку берут и так, а в Америке и поденка американская, пять долларов в час. Работа с восьми до восьми, без выходных. Можете посчитать: шестьдесят в сутки, тысяча восемьсот в месяц. По нынешнему аукционному курсу в день набегает больше, чем у нашего министра в месяц. Эх, такие бы дивиденды да в родном Отечестве!

Увы, в Штатах пять долларов в час — зарплата, которой не хвастаются, а стыдятся. И на вопрос про жизнь парень бросает презрительно:

— Опять пашу на дядю. Как в Совке!

Америка — страна замечательная. Но если смотреть на вещи трезво, наш эмигрант в ней типичный лимитчик. У других все права и блага от рождения, а ему еще надо заслужить. Другие выбирают работу по желанию, а он хватается, что дают, и еще кланяется, чтобы дали. Ему охотно помогают адаптироваться, но забыть свою пришлость мало кому удастся. Может, мне так неудачно выпадало, но сложилось впечатление, что русские эмигранты в Америке дружат с русскими же эмигрантами или не дружат ни с кем.

Без причины Родину не покидают. Но если беда еще не сдавила горло, если дышать можно, стоит очень серьезно подумать, что разумней: пятнадцать лет вживаться в чужую жизнь или за те же годы все же еще раз попытаться переустроить свою.

Вячеслав Костиков

ХОЛСТОМЕР И КОММУНИЯ

(Опыт личности и опыт
истории)

Мы все еще переживаем упоение личностями и, говоря о политике и наших надеждах, чаще называем не явления или процессы, а имена. В недавнем прошлом — Ленин, Сталин, Молотов, Хрущев; в последние годы появились новые модные фамилии и лица. Наш газетный и книжный рынок затоплен статьями, романами и воспоминаниями бывших “тайных советников” наших вождей, их шоферов, телохранителей, кухарок и составителей речей.

Разумеется, личность, особенно личность яркая, обладает магнетизмом. Да и человек с его слабостями, страстями, житейскими интересами, со склонностью посудачить любит обращаться к интимной, более того — к подноготной стороне жизни действительных или мнимых героев. Нам крайне увлекательно узнать, что Владимир Ильич любил побаловаться пивком, да и к дамам, как выясняется из архивов, имел извинительное для крепкого “волгаря” пристрастие; что Алексей Иванович Рыков закладывал за воротник и по причине такого увлечения ездил за границу лечиться; что Троцкий, призывавший других к революционному аскетизму, сам любил княжескую роскошь и обосновался со своим штабом в реквизированном дворце графа Шереметева, что...

Впрочем, таких “что” из жизни советских вождей можно было бы вспомнить немало.

Но по мере того как все основательней входим в прежде скрытые от нас пласты истории, мы начинаем излечиваться от этого обывательского пристрастия подглядывать за вождями в замочную скважину. Все чаще мы ищем в житиях вождей не политические “изюминки”, но опыт истории. И здесь нас, увы, подстерегают

самые горькие открытия и разочарования. Полученные в лучах исторической флюорографии снимки героев советской истории обнаруживают при всех различиях ума, характера, темперамента одно поразительно устойчивое свойство — в сущности, политическую патологию: невосприимчивость к урокам истории. Касается это не только исторических вождей революции, но и самых свежих героев нашего политического времени. Во всех или почти во всех наших лидерах личный опыт или опыт "дедушки", махавшего шашкой в армии Буденного или зачинавшего первый колхоз, затемняет опыт истории и опыт народа.

Ленин не учел уроков Парижской коммуны и развязал в стране кровавый террор, повлекший за собой гражданскую войну. Сталин пренебрег поучительным опытом нэпа и окончательно ликвидировал рынок, "забыв" о том, что именно рынок сделал Россию к началу первой мировой войны страной с самой динамичной экономикой в мире.

Хрущев, понявший, что нельзя управлять государством при помощи страха, не извлек из чудовищного опыта сталинизма главного: человека, у которого нет собственности, невозможно сделать гражданином. Его лозунг — "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" — при всей политической "живости" Никиты Сергеевича свидетельствует об его исключительной исторической слепоте.

Брежнев и Суслов, правившие при благоприятной нефтяной конъюнктуре, вообще вообразили, что все проблемы развития можно решить при помощи идеологии, проглядев, что на Западе и в Японии колоссальный технологический рывок происходит в деидеологизированном экономическом пространстве.

Скудость экономического навару от политики "наведения порядка" в краткое царствование Ю.Андропова лишь подчеркнула узость экономического маневра, который можно осуществить в рамках заданного образа мыслей.

Месть истории

В сущности же, все лидеры после Ленина лишь меняли запчасти экономической машины, которая доказала свою полную неэффективность в первые же три года социалистического эксперимента. Провал всех без исключения экономических программ и планов, независимо от того, проводились ли они с помощью "железа" или более "мягких" идеологических хлыстов, свидетельствует о

том, что изъян был даже не в сменявших один другого лидерах, а в идеологии большевистской партии. Лидеры приходили и уходили, а партия оставалась, передавая по наследству гены исторической невосприимчивости. Результаты этой исторической глухоты налицо — трагедия страны, трагедия народа.

К сожалению, история слепа в своем возмездии и опрокидывает чаши гнева как на истинных виновников трагедий, так и на головы миллионов невинных, которые были либо обманом, либо силой вовлечены в "государственный разврат". Так, историческая вина КПСС преподносится как вина народа, как рок страны.

Мсть истории вообще своеобразна. Она оставляет на своих страницах не только деяния героев и апостолов, но и отпечатки рук злодеев, диктаторов, политических иллюзионистов. Говоря в своей последней статье о судьбе Сталина, Троцкий грозил, что того настигнет мсть истории, как она настигла Нерона, чьи статуи были разрушены на следующий же день после смерти ненавистного тирана. Увы, Троцкий заблуждался. Истинная мсть истории — это забвение. Несправедливость истории в том, что в забвение канули миллионы и миллионы жертв социалистического и нацистского экспериментов, тогда как виновники грандиозного обмана XX века вписаны кровью в страницы истории. Наличие или отсутствие памятников не меняет сути. В Германии не осталось ни одного памятника Гитлеру (разве только в запасниках). В Москве иностранные дипломаты и туристы начали скупать аляповатые бюстики Ленина, смекнув, что скоро и они станут курьезным сувениром прошлого наподобие камешков от берлинской стены.

Да, памятники Ленину исчезнут, даже если к ним выставят караул или огорожат колючей проволокой. Завершится, к удовлетворению В.Солоухина, спор вокруг хранящихся в мавзолее "нетленных мощей". И всем, даже самым упорным в нежелании видеть, станет ясным, что дискуссия велась о частностях, о мумиях, о фетишах истории. Вероятно, такой исход можно рассматривать, если воспользоваться логикой Троцкого, как мсть истории. Но с точки зрения миллионов людей живущего поколения, мсть истории лишена смысла. Виден ли из окна дома аляповатый памятник давно умершему вождю или нет — никто от этого не сделается счастливее или несчастнее. Что спорить о памятниках, если фанатики ленинской школы украли из истории России без малого век. Но мстить участникам этого ограбления века так же бессмысленно, как и пытаться отколоть голову у статуи Нерона в римском музее. Властители прошлого оставляли после себя хотя бы дворцы, ставшие музеями. Прави-

тели века нынешнего оставляют мусор заброшенной стройки. Жалкий век. Жалкие правители. Но история не судит. Она лишь фиксирует опыт ошибок. И горе тем народам и государствам, которые не извлекают уроков из этого опыта.

Опыт личности

В конце тридцатых годов, в период "большого террора" в крупных городах, где "ежовы рукавицы" были особенно хватки, в результате массовых убийств освобождались тысячи квартир. Люди, занимавшие их, радовались, что вселяются в пристойное жилище. И новоселам казалось, что им счастливо отломилось от великой стройки коммунизма.

"Великие стройки коммунизма" и до и после войны создавали впечатление поразительного могущества и динамизма. И рядовому "ударнику", надрывавшему на них пуповину, едва ли известна была классическая формула В.О.Ключевского "государство пухло, а народ хирел". Рядовому человеку, приехавшему в город из разоренной коллективизацией деревни, казалось, что он подсмотрел великое будущее. Энтузиазм был валютой нищих. То, что человек умирал в бараке на окраине великой стройки, смущало немногих.

Жизнь коротка. Короток и опыт личности. Людям говорили, что нужно чуть-чуть потерпеть, поскольку новая история только-де начинается. И едва ли кто вспоминал уже сказанное: что революция — не начало новой жизни, а конец старой (Н.А.Бердяев). Но Бердяева вместе с историей уже изъяли из обращения, как золотые рубли, тоже оказавшиеся не у дел в советском хозяйстве. И люди терпели, не ведая, что помимо опыта их собственной короткой жизни есть опыт поколений, опыт истории. Но историю нельзя безнаказанно изымать из народного обихода, оставляя ее тайным хранителям. Через некоторое время обнаруживается, что и причастные к тайнствам власти тоже теряют историческое зрение, становятся рабами политических прихотей или сиюминутной конъюнктуры.

Лжедмитрий, чувствуя непрочность власти и желая угодить сановникам и войску, удвоил им жалованье. Однако и сановники, и войско предали его, как только fortuna отвернулась от самозванца.

Опыт истории свидетельствует, что подкуп и лукавство могут принести лишь короткую выгоду. Увеличивая довольствие сановникам из КПСС, М.С.Горбачев расчи-

тывал привлечь их на свою сторону. Но, вероятно, не учел опыта истории. И сегодня мы видим, как облагодетельствованная им партийная номенклатура готова съесть его и как Президента, и как своего генерального секретаря.

Человеку "с улицы", которому шесть лет перестройки превратили жизнь в муку выживания, эти призывы — "распни" — отчасти и импонируют.

Да они, в сущности, и рассчитаны на самые примитивные инстинкты толпы. И, чтобы не поддаваться искусам упрощенных решений, опять-таки полезно помнить об исторических прецедентах. Опыт истории предостерегает об опасности смены лидера в период государственной смуты. Все знают, как велика была неприязнь населения к Лжедмитрию. Однако мудрый и хитрый Шуйский готов был сохранить его у власти, по-государственному полагая, что хаос и анархия хуже непопулярной власти самозванца.

Понятие "самозванец" вообще внушает неприязнь, хотя отечественная история опять-таки подсказывает нам, что самозванничество стало у нас чуть ли не политической традицией. "Известно, что Россия вообще страна самозванцев", — сетовал В.Г.Короленко. Вдвое справедливо по отношению к России советской: ведь все без исключения советские вожди с юридической точки зрения были самозванцами: Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов... Никого из них народ не призывал и не утверждал на государственное дело. Разница в том, что царей и цариц делала дворянская гвардия, а коммунистических вождей — гвардия партийная, то есть номенклатура. И нужно отдать должное М.С.Горбачеву: он первым сделал попытку легитимизации власти. Попытку ограниченной легитимности, скажет строгий критик, и будет справедлив. Но для страны, не имевшей вообще никаких традиций, кроме монархического престолонаследования и партийного самоназначения, это уже большой шаг к правовой демократии. Фактически Горбачев прервал монархо-партийную традицию.

Расстегаи для инкогнито

Александра Львовна Толстая, дочь писателя, рассказывая о своих встречах с М.И.Калининым (она неоднократно ходила к нему хлопотать о посаженных на Лубянку священниках и интеллигентах), вспоминает о весьма своеобразном восприятии Михаилом Ивановичем страшного

голода 1921 года, унесшего, как известно, пять миллионов жизней.

— Вот, говорят, люди голодают, продовольствия нет, — удивлялся “всероссийский староста”. — На днях я решил сам проверить, пошел в столовую, тут же, на Моховой, инкогнито, конечно. Так знаете, что мне подали? Расстегаи, осетрину под белым соусом, и недорого...

Надо ли говорить, что “обычная” эта столовая была рядом с приемной председателя ВЦИК, и обеды там предназначались для молодой советской номенклатуры. Но “другу крестьян” было и невдомек, что его личный опыт хождения “инкогнито” в спецстоловую не исчерпывал страшного опыта голодающей страны. Характерный пример искажения восприятия у человека, приобщившегося к власти и отравленного ею. А ведь М.И.Калинин был, как говорится, “из простых”: слесарил, ходил на завод.

Михаилу Ивановичу такое сужение государственного видения можно отчасти и простить: его советский опыт к моменту разговора с А.Л.Толстой ограничивался четырьмя годами. Двадцать с лишним лет неограниченной власти Сталина давали уже больше материалов для суждений по поводу “преимуществ” социализма. Но и в его эпоху действовал целый ряд российских и мировых факторов, которые затемняли исторический горизонт: мировой кризис 1929 года оставлял впечатление близкого краха капитализма; и, напротив, успехи индустриализации (отчасти фальсифицированные) создавали иллюзию опережающего развития социализма.

Трезвый анализ “грандиозных успехов” свидетельствует о том, что величайшие усилия, истощившие нацию, дали ничтожные в сравнении с несоциалистическими странами результаты. Одряхлевшие монументы сталинской индустрии сегодня не приносят даже той пользы, что пирамиды фараонов в Египте.

И тем не менее на последней майской демонстрации бойкая бабенка в жалкой курточке вызываясь гордо несла портрет Сталина. Прости ее, боже. Со своей укороченной памятью чем она хуже “всероссийского старосты”, тайно смахивавшего слезу при подписании смертных приговоров и публично славившего “отца народов”. Ее тоже воодушевлял упрощенный опыт упрощенной личности.

Но что воодушевляет стоящих на трибуне мавзолея государственных людей, имеющих перед глазами семидесятилетний прогон советской истории, но все еще продолжающих петь осанну социалистическому выбору и коммунистической перспективе?

Лошадь на путях социализма

Среди множества лозунгов, обеспечивающих идеологическое обрамление социалистического строительства, имелся и такой: "Лошадь угрожает социализму!". Сегодня мы, пожалуй, могли бы улыбнуться такой пропагандистской находке, если бы при более серьезном осмыслении за такого рода "наивностями" не проглядывала бы глубинная сущность "плохого отношения к лошадям". Опасность лошади для социализма состояла в том, что лошадь олицетворяла собой живое и естественное начало в сельском укладе, тогда как большевики такое начало отвергали, заменяя его механистической схемой — идеей. Социализму вообще не нужен был мыслящий, сомневающийся и вечно ищущий человек. Напротив, поскольку абсолютизированная идея социализма как бы гарантировала заведомый успех ("учение Маркса всесильно, потому что оно верно"), такие люди были лишь помехой для победного шествия. Для реализации абсолютной идеи нужен был рабски послушный исполнитель в низах и жесткий, не ведающий сомнения вождь наверху. Нормальный, "сокровенный человек" платоновского типа так же "угрожал" социализму, как и лошадь.

Русский человек, вообще склонный к словечку, на глине замешанному, попробовав расстегаев коммунального социализма, уже в 20-х годах начал горланить частушку:

Ах, коммуна, коммуна моя!
Ах, и рожато вся подлая твоя!
У коммунии карманы все в дырах!
У коммунии полцарствия в ворах!*

Но и такого рода фольклор угрожал социализму, и в ГУЛАГах оказались целые ансамбли частушечников и рассказчиков анекдотов. Социализм оказался самым безжалостным к людям общественным строем, истратив в своих окопах миллионы и миллионы россиян. Толстовскому Холстомеру, родись он попозже, едва ли пришлось бы вспоминать в старости свою былую жизнь. При социализме он просто не дожил бы до старости: его или съели бы во время одной из бесконечных голодов, или свели бы на живодерню при очередной повышенной разверстке на мясо.

Сегодня, читая в "Правде" негодующие реплики по адресу бастующих шахтеров, можно подумать, что социа-

* Частушка приводится в книге Б.Савинкова "Конь вороной".

лизму угрожают даже пролетарии, во имя которых якобы и совершалась революция. А ведь совсем недавно советская пропаганда не уставала умиляться забастовками шахтеров в Англии, железнодорожников во Франции, dockers в Америке. В сущности, единственный класс, который угоден и приятен социализму, — это бюрократия, она и пожинает плоды всеобщего рабского труда, зато по обилию песен, прославляющих труд, мозолистые руки, коллективный разум трудящихся, мы превзошли всех.

Перехитрить человека, разумеется, можно, особенно если отгородить его от опыта других стран и народов. Но историю перехитрить нельзя.

С возвращением гласности люди получили наконец возможность сравнить исторический опыт тех стран, которые шли по иному пути. С горестной очевидностью мы видим, что повсюду в мире, куда проник социализм, люди живут беднее, униженнее, с большими болезнями, с меньшей защищенностью от произвола и ударов судьбы. И парадокс состоит в том, что от революций, от социализма более всего в конечном счете пострадали “движущие силы” — рабочие. И вот сегодня опять возвышают до крика голос фальшивые “защитники” пролетариев, вновь пытаются соблазнить рабочих сдобными булками “социалистического выбора”. Как будто бы этот “выбор” не виден на примере разделенных стран. Западная и Восточная Германия, Северная и Южная Корея, Китай и Тайвань, Финляндия и Россия... Всем памятен анекдот брежневской поры: “Что будет в Сахаре, если туда придет социализм? В течение семидесяти лет — ничего, потом обнаружится нехватка песка...”

Простенький этот анекдотец до предела обнажает реальность истории: повсюду, где загостился социализм, рано или поздно начиналась деградация экономики, общества, человека. Сегодня от социализма, как от чумы, бегут не только европейские страны, но и недавние “оплоты социализма” в Африке, в Азии, в Латинской Америке...

Вопрос Пилата

Один из самых честных писателей XX века Генрих Бёлль, побывав в СССР, воскликнул: “Жизнь на Западе трудна, а у вас невозможна”*. А ведь были времена, когда идеи социализма доводили до экстаза тончайших интеллектуалов Европы. Его обаянием обольщались Ромен

* Цитируется по воспоминаниям А.Сахарова.

Роллан, Анатолий Франс, Лион Фейхтвангер, Андре Жид, Андре Мальро... Всем памятли хрестоматизированные пропагандой беседы Герберта Уэллса с "кремлевским мечтателем" со знаменитейшим ленинским "приезжайте к нам через десять лет". Один из самых романтических поклонников социализма Андре Жид называл происходящее в СССР "естественным и практическим чудом". В 1936 году для личного ознакомления с чудом он приехал в СССР. Знаменитого француза принимали "по высшему разряду". С ним встретился и беседовал Сталин, его водили к изголовью Николая Островского, возили в пионерский "Артек", ему даже позволили произнести "сомнительную" речь с трибуны Мавзолея Ленина на траурном митинге в память Горького. Его провезли "по стройкам коммунизма". Возили не случайно: "агитпроп" ждал от этого визита огромного пропагандистского наваара на Западе.

Ожидания не оправдались. Сталин был взбешен появлением в Париже очерков А.Жида "Возвращение из СССР". Имя писателя мгновенно вычеркнули из советского обихода. Чем же не угодил честный человек? А.Жид более чем на десять лет предвосхитил знаменитейший роман Дж.Оруэлла "1984", опубликованный лишь в 1949 году. За барочной лепниной социализма он безошибочно распознал мертвящий взгляд тоталитарного василиска. Прозрение и отрезвление было почти мгновенным: ведь писатель пробыл в СССР всего несколько недель. Почему же не прозревали другие, и прежде всего — поколения большевистских лидеров, объявивших себя "друзьями народа"? Чего не доставало и недостает им для ясности исторического видения? Дж.Оруэлл выявил одну из причин отбрасывания опыта — духовную бесчестность, именно она позволяла фанатикам "социалистической идеи" не замечать или сознательно игнорировать опыт, приобретенный в ходе болезненного соприкосновения их идеологии с реалиями жизни. Один из героев романа "1984" говорит: "Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть". Для лидеров большевистской закваски власть была и остается началом и концом бытия. Публично признать, что опыт жизни и истории отвергает социализм, это значило бы отдать власть. Но по морали большевиков это немислимо, это преступление перед идеей. Следовательно, нужно изворачиваться, лгать, объявлять черное белым, правду — ложью. То есть заниматься в политике тем, чем "внутренняя партия" в КПСС занималась на протяжении семидесяти с лишним лет.

Нас пытаются убедить, что отказываться от своих убеждений безнравственно, что человек с убеждения-

ми — это порядочный человек. В самом деле, какие претензии мы можем предъявить всем этим знаменитейшим фанатикам, “людям с убеждениями”, — Савонароле, Руссо, Робеспьеру, Сен-Симону, Марксу, Ленину...

Вся идеология — идеология ниспровержения законов, обычаев, традиций, границ, религий, морали — вероятно, могла быть даже и привлекательной для части европейских интеллектуалов. Но как только эти идеи беспредельного улучшения мира и человека обрели кровавую плоть в опыте советской России, от европейского революционного романтизма остались жалкие отзвуки. Достаточно взглянуть на состояние коммунистических партий в Европе (в значительной мере уже бывших), чтобы убедиться, что идеология коммунизма оказалась в аппендиксе цивилизации XX века. Н.Бердяев оказался прав — свершилось “внутреннее преодоление коммунизма”. И на наших глазах жернова истории перемалывают в прах последние его плевелы. Истинными строителями современной Европы и мира стали не фанатики троцкистско-бухаринского толка, а “люди без убеждений”: Монне — во Франции, Эрхард — в Германии, Икеда — в Японии, Тэтчер — в Великобритании. Как правило — люди без регалий, без звезд, без пышных титулов “великих кормчих” и “генеральных секретарей” и, главное, без претензий на то, чтобы удивить мир каким-нибудь чудом.

Никто не станет возражать, если “люди с убеждениями” будут смотреть на социализм, как на некий мистический идеал, на систему ценностей наподобие христианства, буддизма, джайнизма и т.д. Можно даже построить храм и хранить там мощи святых и мучеников социализма (последних оказалось больше). Но наших монашествующих социалистов никак не устраивает роль служителей храмов. В их кликушеских призывах “вернуть ценности” слышится ярое, похотливое желание властвовать, повелевать, делить не ими заработанное богатство. Навязывая обществу полемику по поводу частной собственности, они уподобляются францисканским монахам, ведшим в XIII веке схоластический спор по поводу того, “был ли у Христа кошелек”. Тайная цель таких споров известна — подвести оппонентов под костер инквизиции. Идеология, будь то идеология францисканцев или коммунистов, в конечном счете была лишь инструментом борьбы за власть или обрамлением власти. И чем меньше эта власть законна и популярна, тем больше требовалось идеологических перьев. Люди, вырывавшиеся на Запад из наших замусоренных убогих городов, после первого шока от богатства и изобилия более всего удивлялись тому, что в Европе, в которой действительно имеется что показать и чем похвалиться, нет лозунгов типа “Да здравствует капитализм,

светлое настоящее человечества" или "Капитализм победит!". Система, основанная на здравом смысле и опыте истории, не нуждается в павлиньих хвостах.

* * *

Недавно на одном из московских кладбищ мне встретился участок с унылой бетонной плитой, на котором без всякого изящества было выведено — "захоронение нево-стребованных прахов". Я подумал о социализме. Опись его имущества засвидетельствовала полное банкротство усопшего. Как ни вспомнить в виде эпитафии знаменитое гегелевское: "Истина возникает как ересь и отмирает как предрассудок". Коммунизм был, вероятно, величайшей ересью XIX века. В XX веке он тирански властвовал над огромной частью мира. А теперь на наших глазах превращается в величайший предрассудок. Не видеть диалектики этого превращения — значит читать историю глазами слепцов. Упорствовать в желании не видеть — преступление перед собственным народом, перед историей собственной страны.

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Ольга Бирюзова

"Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ"

Игорь Михайлович Доброштан, "простой украинский хлопец", как он себя называет, во время войны — разведчик 31-й дивизии Сталинградской ордена Богдана Хмельницкого, ордена Красного Знамени 52-й армии, контрразведчик той же армии. "Выполнял особо опасные задания по линии контрразведки в Румынии, Польше, Германии в 1943—1945 гг." (Зам. начальника ОКРСМЕРШ Линьков В.И.) — из боевой характеристики.

Он был арестован в 1948 году. Решением Особого совещания лишен свободы сроком на 25 лет. В 1955 году руководил восстанием в Воркуте, в котором участвовало более 300 тысяч человек. Тогда же советскому правительству был предъявлен документ. Это было не прошение, не просьба, не петиция. Назывался он гордо и свободно — "Меморандум". Наконец, люди не просили того, что им полагалось от Бога, — свободы. Они требовали. "Меморандум" — это единственный документ в своем роде. Сейчас, в годы борьбы со сталищиной, которая до сих пор живет в крови народа, "Меморандум" должен выйти из архива и прозвучать.

Познакомились во время войны в Полтаве, в немецкой тюрьме. За месяц стали друзьями. Игорь Доброштан и Евгений Кузьмин. После войны ни разу не встречались. Прошло 40 лет. В квартире раздался телефонный звонок, потом прозвучал голос:

— Это квартира Кузьмина?

— Да, — сказал Кузьмин.

— Женя?

— Игорь! — и он узнал друга. Как будто все эти годы ждал услышать этот голос. "Я не видел его 40 лет, но никогда не забывал. Я знал, что Игорь жив. Игорь был не такой человек, которого могли убить".

Давайте послушаем, что говорит Кузьмин про своего

друга: "1942 год. Не просто у немцев, не просто в концлагере, но — в тюрьме. И не в какой-нибудь тюрьме. В немецкой тюрьме. И вот появляется Доброштан. И забываешь, где находишься! Тюрьма — не тюрьма! Подымается чувство собственного достоинства! На фоне этих жестокостей. Сразу — мысли о свободе! О борьбе! О дерзости! Верить начинаешь в собственные силы. Мне было тогда 20 лет. Я был здоров! Два года в армии. Физически тренированный. Мастер спорта. Всеми видами борьбы владел, чуть ли не с элементами бандитизма. У меня был период романтического бесстрашия. Сидел в застенке, пел антифашистские песни на немецком языке! Мне было плевать на все! Пасьянс на картах раскладывал: завтра меня убьют или нет? И — Игорь! Я перед ним — хлюпик. Под его влиянием бежал. Увел за собой большую группу здоровых ребят. Можно дать какие-то характеристики — но все это будет не то. Силой богатырской он обладал. Но и другие были у нас ребята-богатыри. В нем против них все равно было чуть больше силы, он был чуть умнее самых умных, чуть смелей, и вот все эти "чуть" складывались в огромный образ. Ему было 19 лет, в полном расцвете сил. Был он и сдержанный, и реактивный. Прекрасно владел немецким. При нем люди, которые должны были потенциально погибнуть, не погибли. Когда не мог помочь — плакал. От бессилия. Я сам это видел.

Вши, клопы, 40 человек в камере. Пот — в глаза. Сейчас бы обычные люди с ума посходили, а мы жили, добивались чего-то: "За мирный труд, на смелый бой". Сидела с нами в тюрьме Клава Кошман. Игорю эта девушка нравилась, он здоровый, а она против него — стройная такая была. Говорили ей: поживет с немецким офицером — выпустят. Она платье свои разорвала в клочья в знак протеста. Как Игорь тогда бушевал! Он безумный был, хотел, чтобы фашисты его вместе с ней расстреляли.

И вот утром Клаву выводят во двор. Она махнула нам рукой, улыбнулась и пошла. На тот свет. Вот как люди умирали за родину! И вот что эти гады сделали со страной!"

Доброштан натренировался спасать хороших людей от фашистов, а потом — от нашей сволочи в сталинском застенке. С одной чумой он боролся там, с другой — здесь.

У каждого человека есть кульминация в судьбе. У Доброштана в его борьбе за жизнь против смерти, против мертвечины — это восстание в Воркуте, это "Меморандум". Меморандум советских рабов — советским подонкам. Мир не знал еще таких людей! С чем можно его сравнить? Спартак поднял восстание, но он никакого ме-

морандума не писал. Это "Меморандум" отчаявшихся рабов, которые на все пошли и победили. Заключение не только его написали, но и довели до высшего партийного руководства. Как понять значение документа, о существовании которого никто из людей в массе своей не знает!!! "Меморандум" — это мощный толчок снизу. И "мафия" дрогнула! "Мафия" почувствовала этот мощный толчок, "мафия", которая весь народ держала за горло! "Меморандум" стукнул по голове всем и явился посылом к освобождению миллионов напрасно осужденных людей. В какой степени это повлияло? Никто не скажет — на сколько процентов. Но без него не было бы массового освобождения. Бомба разорвалась! Хрущев освободил тогда 20 миллионов человек.

Правительственная комиссия привезла Доброштан в Москву. С ним разговаривали Пospelов, Руденко. Но если и повернул кто-то историю в сторону справедливости, а бесправное государство в сторону правового, так это не Руденко и не Пospelов. Это заключенные, "Меморандум", Доброштан. И что, ему отплатили добром за добро? Нет! Его упрятали в еще более худший застеноч. И как нужно любить свою родину, чтобы, пройдя гитлеровщину, сталинщину, бериевщину, возвратиться, чтобы опять начать трудиться в этой обескровленной, обещенной стране!

Кто он, Игорь Михайлович Доброштан? Да никто. Не академик, не деятель государственный. (Хотя он и обладает фантастической энергией — он имеет два высших и одно незаконченное высшее образование; сидя по тюрьмам — когда он успел это сделать?) Человек всю жизнь боролся за достоинство своего народа. Бесстрашный человек! Свободный человек! Вот как это называется. Несмотря на цепи, в которых его держали. Мы и забыли, что именно это называется свободным человеком.

* * *

Приводят на допрос, следователь сидит, ерундой занимается. Ночные допросы — у него тройная зарплата идет.

— Считаешь себя невиновным? Думаешь!

— Сидишь, думаешь, смотришь на него, с открытыми глазами спишь.

— Ах, ты спишь! Не спать! Спишь?! В камеру! — приведут в камеру, начинаешь спать.

Открывается кормушка, стук ключа:

— Д. Д. Д. Д. Д. — вызывает тебя на "Д", фамилию не говорит.

— Доброштан.

— Доброштан! Без вещей! — значит, на допрос.

— Спишь? — А у следователя ряшка гладкая, он днем высыпается. — Не спать! Ах, ты не будешь признаваться, фашистская сволочь! — Как я на него навалюсь за эту "фашистскую сволочь" — родители и Бог здоровьем не обидели, — придавил и держу под собой. Тут другой влетает:

— В карцер! 20 суток! — Там темно, душно, смрадно, сток нечистот, вонь страшная и вентилятор денно и ночью сильно гудит, не поймешь, что он гонит, только не прохлада, мало июльского жара — дополнительный нагнетает.

Карцеры бывают разные. Хлеба 20 граммов на день, на третьи сутки — "щи" — вода на капусте. На тебя все время "глаз". Но при этом стерильная чистота. Утром открывается дверь — женщина лет тридцати пяти, в форме, у нее на груди — "Красная Звезда".

"Внутренние дела" получали ордена в тылу: 5 лет служит — "За боевые заслуги", 10 лет — "За отвагу", 15 — орден Красной Звезды, 20 — орден Красного Знамени, 25 — орден Ленина. Это все боевые, офицерские ордена, а дают их за то, что они издеваются над советскими людьми. Издевательство приравнивается к фронту. Смотришь телевизор — сидят в президиуме "герои войны".

Так вот, та женщина с "Красной Звездой" дает веник мести пол. А там так чисто, белено, ни соринки. Мести нечего. Но веник берешь и метешь, ничего при этом не собираешь, но делаешь дело. В этом уже какое-то помешательство. Сделал, нет мусору — она дает совок. Собираешь то, чего нет, на совок.

Стал совок с "мусором" в ведро опускать, а там, в ведре, — хлеб. Кусок старый, весь посиневший от цвели. И тут взгляды наши встретились.

— Вы мне позволите взять этот кусочек хлеба? — говорю.

— Возьмите! — Нарушила дисциплину. Что в ней произошло — мать, женщина? Взял я тот кусок и несколько дней его ел, отламывал по крохам — можно было продержаться некоторое время за счет доброты тюремщика.

Решение Особого совещания было: 25 лет лишения свободы по статье 54-1а. Доброштан отказался подписываться под тем, что он — изменник родины.

— Почему? — спросил майор.

— Это все ерунда, — сказал он спокойно.

— Ну, как хочешь. — Привели двух понятых, они на обратной стороне приговора поставили свои подписи как свидетельство о том, что заключенный отказался руку приложить.

У надзирателя, старшины, на груди (среди других на-

град) значилась медаль "За освобождение Праги". И Доброштан тоже участвовал в этой операции.

— Вот и я фронтовик. Сколько, ты думаешь, мне дали?

— Пять.

— Двадцать пять!

— Ого!

— Верь мне, я честный человек. Послушай, накорми меня хоть раз до отвала? А?

— Ты биться в камере не будешь?

— Вот тебе крест.

Привел старшина меня в камеру и следом притащил ведро с вареной картошкой и морковью. Жидкое блюдо такое. Ем и ем, ем и ем, больше, кажется, не могу, а я ем и ем. Потом — все, а глаза еще хотят. Раз — на лавку, и через минуту спал. Это после того как они мне объявили срок — 25 лет лишения свободы.

Уже на следующий день с этапа хотел бежать. Дело было на Каланчевке в Москве. Одет — в синюю шинель с оторванными пуговицами, фуражку мятую, типа милицейской. Ботинки — без шнурков. Состав был сформирован, в вагон нас приняли четверых и повезли. Куда-то. В Воркуте за Сухобезводным пошла сплошная проволока, сплошные лагеря. И лесоповал. Вагоны, покрашены они были в красный цвет, и назывались они краснушки. Из краснушек выгружали, строили, считали, потом следовала команда: "Садись!" — все садились на холодную землю. На каждой краснушке была вышка, от вагона к вагону тянулся телеграфный провод, присоединен он был к машинисту. И вот в такой обстановке я поклялся, что все равно буду бежать.

Нас привезли в кировскую пересылку. Выгрузили.

— Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Ясно?

— Масло! — обычно я им кричал.

— Шагом марш! — Двинулись. — Чего отстаешь?

Так, как тогда, я смеялся за всю свою жизнь политзаключенного несколько раз. Это был раз первый. Пасмурно, крик, лай собак, босяки, урки, среди "58" — блатные. У этих блатных, у них все было — берут копейку и оттачивают ее, как бритву. Среди нас шли женщины, видимо, переселенцы, много женщин, и на плечах у них висели мешки, а у одной в том мешке была фасоль, как выяснилось. Кто-то из блатных раз ей по мешку копейкой, и вот фасоль эта посыпалась... Дорога, крытая льдом. Скользко. Из мешка скачет фасоль на дорогу под ноги. И я начинаю смеяться как сумасшедший. Верхом переживаний для меня это оказалось. Фасоль. Смеялся как ненормальный, пока не дошли мы до пересыльной зоны.

В ворота, все опутанные проволокой, по бокам — вышки и у входа — красный плакат, вертухай нарисован:

“Я охраняю мирный труд нашего народа”. Это еще не все. Зона, колючая проволока и арка. А над аркой — “Мы живем в эпоху, когда все дороги ведут к коммунизму”. Вяч.Молотов. Вот и такой коммунизм мы пришли там строить.

* * *

Лето в Воркуте быстрое, стремительное. И яркое. Яркие цветы, яркие цвета. Яркий свет. Круглые сутки день и солнце. Оно поднимается от одного края горизонта и, чуть не дойдя до другого, отправляется в обратный путь. Как мяч. Успевали все это замечать.

Зима — безжалостная. Один снег. Ветер с Карских ворот. И ни одного дерева. Это бросается в глаза, что ни одного дерева. Все убого внешне. Серо как-то совсем.

Лагерь. Встречают новую партию заключенных. На вахте стоит здоровый детина. С номером каторжанина на лбу:

— Ну что? Фашистов привели? Зачем привели? — спрашивает у конвойных. — У нас хватает рабочих рук! Нам не надо вашей работы! — Издевается детина. А перед ним — советские офицеры, профессора, учителя. Люди стоят. — Ну ладно! Сейчас доложу!

Приходит начальник, бывший у фашистов комендантом лагеря военнопленных:

— Будете стараться работать — похоронят вас в гробах из необструганных досок. А не будете стараться — без гробов. Вот так, — и широким жестом показывает, как нас похоронят. А там, слева, в двух метрах от нас, как дрова, трупы штабелями сложены. Замороженные. Снежком их прикрыло слегка. Мы до того момента, как он нам на наше будущее указал, и не заметили их. И какие худые трупы. Вот это — лагерь.

Профессора, учителя, офицеры начинают работать. Те, кто занимал большие должности, выполняли самую срамную работу, а тем, кто поменьше в жизни преуспел, находили более легкое занятие. Ленинская гвардия — те были ассенизаторами. Основная же масса — это шахта.

Работали на износ, на гибель, ели репу, турнепс, лист капустный, ели с таким достоинством — сидят чинно, спина прямая, осанка, не спешат. А есть так хочется! Не есть, а уничтожать эту репу, турнепс, лист капустный.

Те, кого называли доходягами, им есть уже не хотелось. Они были такие худые, что ягодиц там не было, на себя они переставали быть похожими и себя не помнили. Думали они только о табаке. Они вообще больше ни о чем не могли думать. Увидят курево — трясутся, лишь бы затянуться, лишь бы один раз затянуться. Перед смертью.

...

Была в лагере культурно-воспитательная часть — КВЧ. Руководил ею старший лейтенант Маклецов:

— Хотите быть на легком труде — дневальными по барaku, в медсанчасти? Или — не умеешь шевелить мозгами — упираться руками? — В КВЧ перевоспитывали людей, читали им лекции о достоинствах советской власти. И был хор. Руководил им протодьякон из Ленинграда Юдин. Он имел сильный бас.

— У кого хороший голос? Кто умеет петь? Кормить станут лучше, — так собирал он этот хор.

И вот человек десять-двенадцать, благодетельствованные Юдиным, — обстриженные, бледные, в робах с номерами — щеки красными кругами намалюют — и на сцену. Аккордеонист растягивает свой аккордеон еле-еле! Сил у него нет. А ноги — подкашиваются. Душа у них не поет, а они ради куска хлеба... Первое, что я там услышал, это:

О Сталине мудром,
Родном и любимом,
Прекрасную песню слагает народ.
Музыка Александрова.

Смотришь — цепенеешь. И ничего не понимаешь! Стоят и прославляют. Кошмар. Неестественно, не могу смириться:

— Ну-ну, давай. Пой ему славу. Ты жив остался — и славу ему поешь! — Страшная картина. А я смеюсь. Тут я со времени ареста второй раз смеялся. Не могу остановиться.

Очень администрация хотела, чтобы заключенные славу ему пели. И пели. Боже ты мой!

Поют эту песню посты и границы,
Поет эту песню советский народ.

Сто шестьдесят песен было о Сталине.

...

Мой номер заключенного был — 1А 154. На спине вырезали в бушлате вату и — раз — марлицу, как раз чтобы продувало тебя. На марлице — цифры. И на правой ноге, повыше колена.

— 1А 154 по вашему приказанию явился! — Но я им этого никогда не говорил! — рассказывает Доброштан. — Они меня ненавидели еще как! Но при этом уважали и боялись. Одновременно. При конвоировании на этапах ходил всегда со скрученными назад руками. Мои лагер-

ные пожитки носили другие заключенные. Конвой идет с собаками и автоматом:

— Шире шаг! Шире шаг! — орет, и собака у него лает. Дальше идем — собака уже устала, не лает больше, а он все свое нарочито: — Шире шаг! ^

— Сейчас я тебе покажу — шире шаг! — "Шире шаг" мог значить попытку к побегу. При попытке к побегу конвой имел право в заключенного стрелять.

Так в течение 10 лет. За эти десять лет — 1386 дней карцера, БУРа и штрафных лагерей. На деле Доброштана было пять цветных полос: склонен к побегам, склонен к нападению на конвой, склонен... склонен... склонен...

— Я в душе казак, запорожский казак. Я знаю, что будут в меня стрелять, убивать будут — я все равно не уступлю! Тут — на грани с фанатизмом. Нас, казаков, когда-то поляки сажали на кол, и мы умирали так.

Зимой в шахту идешь по веревке. В столовую — тоже по веревке. 45 градусов — все равно идешь на работу, только дают тебе маску на лицо. Ночью все набьются в барак, и, чтобы люди спокойно не отдыхали, — проверка. Шмон. С одной стороны барака на другую гонят, считают. Одеться не успеваешь, бушлат накинешь, валенки... Только согрелся, а согреться там трудно — одеяла плохонькие. Проверка. Одного не досчитались — опять считать — ходить по всем баракам. Спать начинаешь — встать! А волосы при этом к нам примерзают. Штанов надеть не успеваешь. Боже мой! И не нужно им на самом деле никакой проверки. По пять, по шесть раз за ночь были эти проверки. А утром рано на работу.

• • •

— Это была уже не проверка, а прямое издевательство. Ночь. БУР (барак усиленного режима). Нары, печка холодная, уже остывшая, рядом — ящик с углем. На ящике том — тяжелая деревянная крышка.

Надзорслужба лагеря — Семоньков. Эти фамилии хорошо запоминаются. На всю жизнь. Орден Богдана Хмельницкого у него на груди. Фронтовик:

— Кто смерти не боится? Шаг вперед! — в руках у него пистолет.

"Ну, гад, — думаю. — Я смерти не боюсь!" — шагнул вперед.

Стреляет в меня! Раз! Я увертываюсь. Второй раз!

"Давай, — думаю, — бей, — думаю, — хватит, убивай!" Стою! Стреляет! (Сколько раз они в меня стреляли!!!)

А вторая гильза застряла у него в стволе...

Тут я с того угольного ящика крышку хватаю, развора-

чиваюсь и — как ему... по голове, она у него заскользила. Он упал.

...

БУР. Комната надзирателей. Лежит громадная смирительная рубашка черного цвета. Длиннющий подол и рукава по два-три метра. Надзиратели и врач Галевич. Рубашкой можно пользоваться только в присутствии врача. Это крайняя мера наказания. Такому наказанию был недавно у нас подвергнут Чернышев, вор, по прозвищу Поносник. Через стены нам было слышно, как он просил начальника центрального изолятора Воркутлага, палача Мышечкина, и надзирателей не надевать на него смирительную рубашу.

— Не губи меня, начальник. Не бери грех на душу. У меня жена, маленькие дети, — рубашкой был поломан позвоночник этому человеку. Комиссия приехала, посмеялась, акт составила, в котором не было ни одного слова правды.

Принцип действия ее таков: надевают робу и бесконечными руками закручивают назад руки, ноги сгибают в коленях, стопы тянут подолом к затылку. При этом подол пропускается сзади под руками, чтобы все это сильнее схватилось. Туже и туже утягивают подол и рукава. Пока человека не сломают. Обычно жертва умирает. Умирает, как правило, от удушья, от перелома позвоночника. Сначала лопались сухожилия на голеньях.

Я как будто знал, что со мной такое произойдет, как будто специально готовился к подобному испытанию — в мои физические упражнения входило кольцо.

Я брыкался, когда на меня натягивали это добро.

Висел вниз животом — тянуло восемь надзирателей, — голова была задрана кверху. Несколько раз в течение лагерной жизни я смеялся и несколько раз молился. Я молил Бога, чтобы Он помог мне потерять сознание. И Он мне помог. Я терял сознание. Несколько раз. Когда приходил в себя, видел красные, потные лица, мокрые волосы. У кого-то шапка съехала набок. Я был живой. Тогда они обдали меня водой — рубашка еще крепче схватила тело. Продолжали тянуть, я — просить Бога о том, чтобы мне не приходиться в себя. Они видели, что я все еще жив. Зверели. И тут кто-то крикнул:

— Ах, гад! Бей его! — И они стали бить меня ногами, сапогами в таком спеленутом состоянии. Я почувствовал адский ожог в крестце. Потом на воле мне сделали снимок, и врач обнаружил следы этой рубашки на моем позвоночнике.

В камере ребята хотели меня поднять — не смогли,

вся спина у меня была сплошная боль. Я лежал без движения двадцать дней, весь помятый. Врача, на многие просьбы заключенных, мне так и не вызвали, но зато на второй день известили о "Постановлении" — содержании меня в БУРе 3 месяца. За покушение на жизнь Семонькова. Подписать я этой бумаги не мог физически. Постепенно с помощью друзей и неба начал двигаться.

Стало мне легче, и решили мы бежать втроем с Васей Вовком, солдатом, и попом Герасимовым. Через попа, он заведовал складом на кухне, собрали продуктов на дорожку. Во время выюги припрятали пожитки в снег, прорезали проволоку под вышкой, смастерили компас. Ночью меня и Васю схватили, бросили в карцер, который стоял на отшибе. Оттуда мы не могли известить людей о том, что этот поп нас заложил. Карцер стоял за зоной, и вот пьяные надзиратели стали нас брать к себе поодиночке и вчетвером, впятером избивать. Били палками, чем попало. Нас избивают — мы кричим. Был у нас там маленький такой Волуевич в камере, он кричал больше всех, когда его вызывали. Потом выяснилось, что били всех, кроме него. Его кормили салом, хлебом. И заставляли имитировать крик. Он признался в том, что — наседка. Был среди надзирателей ссучившийся вор, порвавший с блатным миром, слуга оперативников. Ходил в серой каракулевой кубанке. Раз дежурил он пьяный, вызывает меня:

— Ну! — Наган приставил ко лбу. — Прощайся с жизнью. — Как я дал по тому нагану! Он просил, чтобы я никому об этом случае не говорил — носить и применять оружие в зоне было запрещено. После этого посадили меня в отдельную камеру в том же карцере.

* * *

Это был не первый мой карцер в лагере. Я решил, что последний. Холодина — я босой. Одежды нет. Ноги голые. Голова голая. Голову кое-как закутал. На мне одна телогрейка. Ноги, чувствую, доходят. Сам весь дохожу. Тогда я телогрейку с себя снял и рукава телогрейки на ноги натянул.

Чего жду? Не знаю! Не могу взбодрить себя. Сил нет никаких. Ни физических, ни душевных. Жить нечем! Засыпать стал — снятся красивые женщины. Не даю себе права такие сны смотреть. Просыпаюсь. Сил нет, опять засыпаю — и у меня поллюция за поллюцией. Все замерзает, и я понимаю, что отдаю концы. Сдаюсь. Назавтра не встаю. Заводят в мою кутузку врача — заключенного Блауштейна Григория Соломоновича:

— Погибаю, — говорю ему.

— Что?

— Такие дела, — рассказываю, — помоги, тяжело.

— Первое, — говорит, — не падай духом. Второе — передал мне порошки, очень сильные. Запах и привкус ка-нифоли у них. Жуть. Пью эти порошки, а сам — еле жив. Голова болит, кушать нечего. А меня морозят! Потом смотрю — кое-где проталинки маленькие. Мимо карцера — один сумасшедший у нас был, на лошадке трупы возил. На задворках лагеря стояла яма со снегом, и он вниз головой, вверх ногами их в яму, в снег втыкал. Я пошел на первую прогулку и увидел — кое-что стало открываться: рука, одежда какая-то. Оттепель была. Иду дальше. Гляжу — лужица. Что такое? Грязная птичка такая в этой лужице. Не пойму. А это первый воробей прилетел в Воркуту. Как я обрадовался!

...

Приводят меня в “кабинет” за зоной — сидят: старший оперуполномоченный Широков и все тот же капитан Семоньков, начальник надзорной службы. Широков веселый такой. Семоньков играет маленьким коровинским пистолетом.

— Почему меня изолировали? — спрашиваю.

— Ну и что? — А веселость у них особая. — Подохнешь! Мало ли вас подыхает? Подыхают и лучше тебя, — говорит Широков.

— Кончайте меня морозить! — Он мне на капитана Семонькова указывает.

— Ты стрелял в меня, — поворачиваюсь к нему лицом, — я тебя ударил. Как бы ты поступил на моем месте?

— Какая хитрая! — это Семоньков улюлюкает.

— А говоришь, что ты фронтовик.

И тут — “ба-бах”, пробил он себе палец — доигрался пистолетиком.

— Врача! — Сразу прибежал врач.

— Мы тебя переведем, — говорят, — только ты молчи.

...

Переводят меня из одного лаготделения в другое и пускают там слух, что я — провокатор. Делается это так: оперуполномоченный вызывает своих и дает задание... Чтобы люди поняли... Начинается...

На кухне наливают полчерпака. Не надо, мол, стучать! Народ тут же стоит, смотрит. Со стороны человек подходит, спрашивает:

— Ты кто?

— Я скажу, ты же все равно не поверишь, — и не раз-

берешь, для чего он интересуется тобой — для достоверности или чтобы сделать больно.

— Тут пришло письмо с другой шахты. Вроде неплохо про тебя там написано?

— Спасибо людям, — чувство благодарности появляется и становится чуть легче. Но все равно кошки на сердце скребут. Само состояние, что на тебя косо смотрят, очень тяжелое. Заводят в лагерный тупичок, выясняют личность. Смотрю, люди настроены ко мне определенно. Как `докажешь, что ты не стукач? Надо что-то делать. Я взволнован, но настроен по-боевому. Дело к вечеру.

“Ну что? — думаю. — Начнем, пожалуй”, — и тут я “загулял”.

Баракы — все на замок. Проверка.

— Стройся на проверку! — В конце строй не сошелся у них на одного... Раз проверка, второй... А я лежу. Лежу, правда, не просто так. Привели меня в этот барак, положили у окна — руку продуло так, что она не подымается. Чем лечить? Было два камня, на них мочились. Вот я один на печке согрею и прикладываю. Вонь страшная. Но ничем не лечить — еще хуже.

— Вставай! — орет.

— Я — Доброштан!

— Встать! — Вокруг меня человек пять.

— Оставь. Христа ради!

— Встать! — Такое редко бывает. Весь барак не спит. Ждут, что будет.

— Ах, вы, гады! — Вскакиваю.

И Володя Маркелов с верхних нар:

— Бей их! — И вот мы вместе с Володией давай их бить! Да так — от души! Так давно во мне это копилось! Но это ЧП в лагере — надзирателей бьют. Вдруг влетает в барак человек пятнадцать.

— Встать! Лечь! Руки вниз! — Хватают меня. Хватают Маркелова. Я не оделся, в кальсонах, в рубашке, только на одну ногу успел валенок натянуть. А на дворе снегу — по пуп. Двое меня скрутили, а двое сзади бегут и под зад мне по очереди, то один, то второй — зло свое избывают таким образом. И так мы с ними идем метров пятьдесят. Те, кто меня ведут, слабей стали держать. И тут я выворачиваюсь из рук тех, кто держит, — и на тех, кто сзади! Бить их! На одного навалился — за нос его! Хрящ перекусить! Их много, и каждый хочет бить! Я бью того, который снизу, по морде! Схватил его зубами за голову и бью! А они меня бьют. Потом все, устал я. Лежу, больше не двигаюсь. Так меня и поволокли.

Карцер — сверху лед, снизу лед, а посередине — нары. Руки назад, наручники — клац. Ноги — клац. Короткое

время проходит — наручники начинают утопать в теле, кисти тяжелеют, пальцы теряют подвижность.

"Ну, — думаю, — теперь ты пропал". Еще несколько часов — и все. Заморозят они меня.

На 40-й шахте в БУРе мы уговорили как-то дневального, заключенного, чтобы он добыл и принес нам хотя бы одну пару наручников. Он принес, и мы несколько дней их изучали. Научились открывать. Спичкой.

Вот стою я в том карцере и соображаю, чем бы? Спичек нет. Ничего похожего на спички тоже нет. И увидел я тут доску. Ноги у меня в кандалах, замерзшие — я с трудом к той доске приблизился. Но приблизился! Как же мне отщипнуть палочку? И стал я грызть. Грыз, грыз. И вот держу треугольник во рту. Мне надо переправить его изо рта назад, в руки. Я наклонился, губами положил его на нижние нары. А руки немеют, коченеют, пальцы ничего не чувствуют. Поворачиваюсь спиной и беру каким-то образом ту щепочку. Еще одна победа! Держу ее, но не ощущаю!

Когда я был обречен, был спокоен — ни щепочки, никакого хода у меня не было. Теперь, на полпути к успеху; дурно мне! Я сильно взволнован. Даже теперь, когда приходится вспоминать этот момент жизни, делается дурно.

Пальцы еле движутся, и мне надо попасть в маленький зазор в этих наручниках, придавить последний "зуб", довольно тонкая работа. Вот, кажется, я попал, давя, и надо не сломать щепку... Чик — разошелся наручник на одной руке. Этот момент, он мне жизнь спас. До утра я бы там был готовый. А охранники все то время ходят рядом, смотрят в волчок:

— Ну что, фашист, не подох еще? Ничего! До утра подохнешь! Ха-ха-ха! — А я стою уже чистый! Ноги освобождаю. Вот и с ног снял...

— А плевать я на вас хотел! Гады! — И так, у меня две пары наручников, стою, держу их у себя за спиной. Вертухай:

— Как ты там, фашист! — а я ему в ответ:

— Ты сам, гад-фашист! Ты хуже Гитлера! Геринга! Гиммлера! И Геббельса! Вместе взятых! И более того! Потому что ты плюс ко всему вонючка по сравнению с ними! — Стою рядом с дверью, чтоб они меня в волчок не видели. Но они завоновались, волчок не открывают, а сразу — ко мне в карцер.

Как я дал им этими наручниками! Одному! Другому! И — наружу! Наручники выбросил в снег, бегу к своему барaku:

— Бей, братцы, гадов! Ломай бараки! — С вышек тут прострел — тр-тр-тр, бегут ко мне! Как волчья стая! Как

псы на меня охотились! Бегаю босиком по снегу. А они меня гоняют. А они меня гоняют! Потом поймали...

— Как же ты наручники, твою мать, открыл?

— С Божьей помощью; — говорю. А как я их открыл? Я и сейчас не знаю. Только так — с Божьей помощью.

— У нас такого никогда не было.

— Но и у меня такого тоже никогда не было, чтобы у зверей надо было вырывать зубами свою человеческую жизнь и свое честное имя.

Оперуполномоченный влетает в изолятор, надзор лагерной службы — все собираются. Они даже не подозревают, что я сам открыл наручники.

— Как открыл? — один вопрос их интересует.

— Бог помог, — повторяю, а сам думаю, как мне у них подольше побыть. Замерз, а у них тут тепло. Хоть отогреться.

— Мы тебе ничего не сделаем, только покажи, как открыл.

— Пришел, — говорю, — надзиратель в карцер, видит, мне плохо, я прошу — открой, он и открыл.

Они о том происшествии никому не доложили, потому что их начальство решило бы там наверху, что все они здесь — шляпы. Дали мне пятнадцать суток карцера. Но тут уже сразу кто-то пришел из барака, принес мне обувь, одежду. Назавтра стало все это известно на других шахтах, по всей Воркуте, еще и преувеличили мои подвиги, как и положено в такой ситуации. И пошло — дух Доброштана. Дух — это значит сила. Дух — так говорили. Стали мне после этого носить из кухни хлеба лишку. Как только надзиратель в сторону, раздатчик мне — раз в миску кусок сала. А если он не будет этого делать, будет ему нехорошо. Таковы законы тюремные.

Переломали мне тогда несколько ребер, ребер двенадцать, наверное, потом на свободе рентген показал. И простыл я. Кашель сотрясает, а кашлять не могу — грудной клетке больно от переломов. Пришли, обмотали меня бинтами — еще хуже. И вот я в том карцере опускался на колени, становился раком — кашлять ведь надо, в таком положении кашлял.

* * *

Из Воркутлага за время его существования было совершено 94 побега, и только один остался не ликвидированным. Побег из лагеря — это ЧП. Но побег из лагеря — это и величайший политический протест. Куда из Воркуты можно бежать?! В 45 градусов мороза? И с чем бежать? С тем реквизитом, который был у заключенных? Но такие мысли приходят после, на свободе.

Тогда... Мы сэкономили сахарный песок, чтобы собрать что-либо в дорогу. Нам полагалась одна столовая ложка непосредственно в рот. Зимой ложка стала примерзать к языку — не отодрать, песок стали высыпать на бумажку, а с бумажки не в рот, а потихоньку в пакет. Было пол-литра спирту. Беглецы заточили край дюралюминиевой ложки — это стало ножом и оружием.

Игорь Доброштан и Петр Саблин бежали 21 января 1952 года.

Начальник Воркутлага генерал Деревянко выступил:

— Пусть ваши шахты завалятся, но поймать беглецов вы обязаны! — Их поймали на станции Абезь.

Петю приказано было убить, чтобы положить потом напоказ у проходной лагеря.

— Старший я был, — говорит Доброштан. — Стреляй в меня! — Как развернулся к тому вохре. Вохра растерялся. А потом поворачивается к Пете:

— Ну, скажи спасибо Доброштану! — И рукояткой нагана рассек ему лицо под глазом. Петя упал.

Нас заключили в кольцо. Охрана. Я вынул из мешка, с которым мы бежали, бинт, опустил перед Петей на колени. Гляжу — жив. Стал за ним ухаживать. На станции все пассажиры на нас глазели, потом пришел поезд — нас ввели в вагон. До Воркуты мы ехали вместе с людьми.

Бежать испокон веков было святым делом. Каждый по неписаному закону тайги обязан был заключенному чем-нибудь помочь. На ночь перед домом выставлялся кусок хлеба, махорка, одежда. Эта традиция еще теплилась в сталинские времена. Только желающих бежать поубавилось.

В Первом лаготделении беглецов поместили в штрафной изолятор.

— Два дня спустя повели на отправку, и вдруг у меня отказали ноги, — говорит Доброштан, — распластался посреди коридора. Упал, потом лежал месяц неподвижно. Через месяц допросили. Готовился суд. И вот однажды:

— Саблин, Доброштан. — Одели на нас бушлаты, сцепили одним наручником Петю за правую, меня за левую руку. Выглядели мы страшно. Но им все казалось мало. Мышечкин очень радовался и суетился. Взял он валявшиеся на земле рваные брюки и повесил мне на шею. При исполнении служебных обязанностей был он рьян и жесток.

— Чтoб не снимал. Беглец! — таким было его напутствие. Нас повели по всему лагерю. Вели, как на расстрел. Справа, слева, сзади — по пять человек вохры. Сделалось немного страшно.

Было холодно, ветер дул с Карских ворот. Пурга. Всех людей из бараков выгнали на снег — демонстрировали нас. Конечно, были такие, которые говорили, что из-за нас им теперь режим еще больше усилят. Но в основном благосклонно относились. Нам предстояло пройти 300 метров до вахты, а потом вернуться обратно.

— Петя! — говорю. — Голову выше! Мы ничего с тобой плохого не сделали! Каждый из заключенных должен был так поступить!

— Не разговаривать! — орет конвой.

Но я сказал:

— Выше голову! — И сам стал на голову выше. И Петя вырос. Мы шли! Как мы шли! Одна рука была свободна, и я поприветствовал ею людей.

— Здравствуйте, — говорили мы, вокруг были знакомые, и нам стали отвечать. — Здравствуйте!

Нас хотела администрация опозорить, но получилась обратная картина. Мы шли! Я торжествовал! Разве расскажешь? Гораздо величественней это было!

К обеду нас вернули в изолятор.

Потом должен был быть показательный суд в лагере.

Чекист, начальник лагеря капитан Воронин, осведомился:

— Как вы будете вести себя?

— Как обычно ведут себя на суде политзаключенные.

Воронин был опытным оперативником, он сделал выводы из нашего заявления и не стал устраивать светопредставление в зоне. Суд состоялся в клубе МВД Воркуты, куда набилось вохры и офицеров человек семьдесят.

Это меня воодушевило. Настроение было приподнятое. В такие моменты будто укол кто мне делал, и я сразу преображался. Экстремальная ситуация — вот моя стихия.

— Ладно, спрашивайте, я буду отвечать, — говорю. — А ты, секретарь, пиши. Пусть хоть один раз в протоколе вашего судилища будет записана правда! — Зачуханные, больные, худые, мы с Петей командовали на том суде.

— После революции в семье революционера родился сын — я провел параллель между двумя ситуациями. — Сначала отец сидел в царских тюрьмах, а теперь сижу я. То, что было с царским правительством, будет и с вами. Сталинско-бериевское государство разлетится в прах! Поднимется мускулистая рука заключенных, разрушатся казармы! Порвется колючая проволока!

Чувствовалось, что они были поражены нашим поведением.

А закончил я свою речь так:

— Вы можете меня убить, но вы меня никогда не переделаете!

Дали слово Пете. Он маленький был такой парень, на голову ниже меня, но до того хороший:

— Доброштан все правильно сказал. Мне нечего больше добавить. Но и убавить тоже нечего.

Дали нам 10 лет сроку и еще год изолятора. Побег из лагеря в то время (1952 год) не считался побегом, но — саботажем. Бежит — значит не хочет человек работать. Такой закон издал Калинин в 1943 военном году. Посадили меня в изолятор, а в изоляторе — в карцер. Вот как они надо мной издевались во главе со старшим лейтенантом Мышечкиным, начальником центра!

...

При Деревянко, начальнике всего Воркутлага, привезли в Воркуту большой, до неба, памятник Сталину. Он состоял из кусков. Ставить памятник можно было только подцепив верхнюю плиту за шею. Начальство все разбежалось. Бежал Деревянко, чтобы не видеть, как будут его возводить. Иоську за шею? Дело сделали на рассвете.

Однажды пришла в центральный изолятор свита.

— Встать! Руки по швам! — То был сам генерал Деревянко с адъютантом. Адъютант держал блокнот — писать чаяния заключенных. Дошел Деревянко до меня:

— Ну как, Доброштан, дела?

— Дела изоляторные.

— Есть вопросы?

— Один вопрос. Почему меня наказали дважды. Десять лет и еще изолятор? Два наказания не должно быть по закону.

— Закон — это мы. Я тут закон. А если откровенно — у меня в Воркуте много тысяч сидит, но таких, как ты, человек двадцать пять. Если они в лагерных условиях, я просыпаюсь ночью и думаю: не случилось ли там чего? А когда вы в изоляторе, у меня этой мысли нет. Так что сидеть будешь.

— Что можно сказать всесильному владыке? Спасибо за откровенность.

Завтра этап, завтра соберут бунтарей со всего Советского Союза всех вместе, погрузят в вагон, потом на какую-нибудь списанную баржу и отправят в "Магадан"... И меня тоже ждал этот путь. И был этот путь последним. На тот свет... Грузили людей на посудину, выводили ее в море и там затапливали. Время от времени эти операции повторяли.

Что делать? Надо было срочно раздобыть молока. Хоть каплю! Но в лагере его не нашлось. Тут же работали вольнонаемные, и вот, на счастье, выяснилось, что у одного из них был ребенок и, на счастье, в бутылочке с

соской сегодня осталось немного молока, как раз столько, сколько надо. Вот это молоко меня и спасло. Друзья-заключенные стали делать мне молочные уколы — вводить чужеродный белок. Сахар, махорка и аспирин. И опять молоко. Сахар, махорка, аспирин. Поднялась предельно высокая температура, к утру была под сорок. В таком состоянии заключенного конвойные войска не берут. И никто им не указ. Так я остался в лагере. Так остался жив. Избежал еще одной смерти.

...

Через год вышел я из центрального изолятора. Место мое в бараке было — верхние нары. В первый же день взял пилу — больше писать было не на чем, — залез наверх и сижу, пишу ровными печатными буквами, чтобы не было никакого почерка. Руки жиром смазал — отпечатков пальцев не оставлять.

“Бандит и крыса Берия и подобные ему подонки пьют народную кровь”.

Сочинял воззвание. А за воззвание — только смерть. И вот снова себе эту смерть зарабатываю. И до обеда уже написал три экземпляра. Клял Берию и Сталина. Призывал не работать, саботировать.

“Ни одной тонны угля, ни одного гвоздя в гробстрой”.
“Взрывайте, ломайте!”

Пророчил: “Гады уже бегут, как крысы с корабля, который вот-вот должен затонуть”.

И подписался я тогда “Комитет действия смелых”.

Этот комитет потом поднял восстание на Воркуте.

Тогда его еще не было вовсе. Я был один. Но это очень важно, чтобы завелись в подобных условиях один-два таких человека, как я.

Заходит в барак надзиратель:

— Что, Доброштан, делаешь?

— Пишу письмо домой.

— Дай почитать.

— Не дам. На то цензура есть, — оперативники не были тупые, они были хитрые, но им и в голову не приходило, что человек в первый же день после изолятора станет такое делать. Я всегда действовал против них так, как они того не ожидали.

И ведь повесили те плакаты! Это сделал Петя Чечельницкий. Плакаты висели на вахте, по дороге на шахту, над столовой — то есть там, где было более всего народу.

Гробстрой — называлась мирная стройка. Заключенные “строили” город Воркуту. Был вырыт котел под фундамент здания — работяги откликнулись на призыв, по-

бросали в него тачки, деревянные чурки и залили цементом.

...

В 1953 году на Воркуте было восстание. Лагерное начальство сумело убедить правительственную комиссию и лично генерала Масленникова в том, что восстали враги народа. Краснопогонники устроили на 29-й шахте кровавое воскресенье. Танки стреляли по беззащитным людям. Потом энкаведешники фотографировали...

Они вытаскивали трупы за территорию лагеря и складывали композицию, они развешивали убитых на колючей проволоке, имитируя нападение. Им надо было отчитаться. И они "отчитались": "Заключенные нападали на них группами: одна группа, другая группа... за что были расстреляны". По слухам, погибло человек тридцать.

Всех, кто участвовал в восстании, свезли во Владимирский централ. Во время событий я сидел в изоляторе на 7-й шахте, но каким-то образом тоже попал в число восставших. (Ну а если бы не сидел? Такая у них была логика.)

— Во Владимире был шмон — все у нас забрали и дали прекрасную одежду! Полосатые брюки, полосатый пиджак и ермолку полосатую — настоящие политзаключенные, как в Освенциме или в Бухенвальде. Ой! Мы обрадовались!

Сколько надо было духу иметь, чтобы вот так к жизни относиться. Убить дух — вот чего они добивались! Убить дух, а потом что хотят, то и делают с тобой. Но это им не удалось!

Дух убивали всячески. Камера, куда поместили заключенных, вся сплошь поросла плесенью. Но люди были уже не те, чтоб унывать от обстановки. Парень-шутник прикрепил у себя в уголке вырезанную из газеты карикатуру на Эйзенхауэра, каждый день вставал на колени и на него молился. Шутовство — это тоже особый протест. Так просто, мол, нас не сломишь.

Во Владимире скопилось человек сто из Воркутлага и около восьмидесяти из Норильской "Медвежки", где тоже было восстание. Воркута и Норильск хорошо сообщались. Через день-два то, что происходило по одну сторону Урала, становилось известно по другую.

Первым делом стали учить азбуку Морзе. Учили так: кто-то караулил волчок, а кто-то в это время кричал буквы в высокое окно, забравшись повыше. За раз успевали передать пять-шесть букв. Тут на шум подходил надзиратель: "Что происходит?" — "Разве что-нибудь

происходит?" — тот, кто стоял на стреме у волчка, закрывал передающего корпусом и долго удивлялся.

В это время человек, который передавал азбуку, успевал слезть.

Я заболел. Это было легко. Люди ходили такие голодные, что стоило им немного больше поесть, "пожадничать", а после того еще выйти на тяжелую работу — организм не выдерживал. Чидяев Коля, парень из камеры, ходил на разгрузку вагонов, воровал там масло, прятал его под ворот и принёс мне. Удалось немного подлечить желудок, но врача тюремщики не звали. И вот вся тюрьма, обученная морзянке, об этом узнала и подняла шум: "Почему Доброштан не лечат?"

На прогулку выводили в сектора, так что по соседству гуляли "камеры", далекие по расположению друг от друга. Хотелось узнать, кто же рядом. Шли в открытую — кричали или перебрасывали через стену записочки. Потом стали перебрасывать записочки о дальнейших действиях протеста.

— Тюремщики перехватили раз одну такую бумажку, — говорит Доброштан, — подписывался я "Игорь", но по-украински. Первая буква "і". Они читали — "Угорь". Стали искать этого угря. Ищут... Одного схватили — а связь у нас была налажена, — мы сразу в известности:

— Родную кровь бьют! — и тут мы пошли! Двери бить! Окна! Двери повывлетали из камер! Военные курсанты какого-то училища были брошены на наше усмирение. Вот мы показали себя! Свою силу! Потом стали брать нас на допрос, мы не разрешали нас водить поодиночке. Вызывают меня. Я один не иду. У меня секретов нет от друзей. Вот он меня сегодня сопровождает. Организованы были люди для выступления. Была составлена бумага. Но мы ее не подписывали и не ставили даты. Требовали газет, радио чтобы в камере было. Нереальные были требования, но мы душой знали, что мы уже не разъединены, мы можем быстро, сразу объединиться. Мы прошли одну школу и почувствовали локоть. "Наглеть стали" — так это звучало на языке тюремщиков.

Нужна была вспышка — и тут кто-то нас заложил. Вызывают меня к начальнику тюрьмы подполковнику Бегуну:

--- А ведь ты попался, угорь какой! Двадцать суток карцера — за подписью Абакумова, министра МВД.

Карцер — щель, бетон, на пол не ляжешь. Ляжешь — конец. А в 12 часов ночи давали гроб. Самый настоящий гроб, деревянный, темно-желтого цвета. В нем спать.

Сидели во Владимирском центре брат С.Орджоникидзе, жена Кузнецова, атаман Семенов, император Пу И, фельдмаршал Кляйст... Ночью открывает дверь дежурный

офицер — там тоже попадались разные люди, — показывает их мне — после двенадцати их водили на прогулку. Первым шел Кляйст... Был он в черном, уже поношенном берете: "Вы, русские, настоящие фашисты. Настоящие фашисты — не мы!" — дерзкий был человек.

Карцер — бетон, высота, а в конце бетона, наверху — решетка. Долго я стоял, смотрел... Там в небе было много голубей. Это я помню. На территории тюрьмы они жили. Голуби, а над ними ястреб стоял. Сесть мне было нельзя. На ногах — 20 часов в сутки. И я все прыгал вверх. И все лез к той решетке!

Куда бы я ни попадал, первое, о чем думал: как можно отсюда бежать. Бежать! Дух протеста, дух воли был так велик, что, когда я понимал, что сейчас бороться нельзя, плакал.

Во Владимир нас собрали на год с разных лаготделений в надежде, что мы будем сидеть врозь. Расчет не оправдал себя; и нас решили отправлять, но куда? Мы почему-то думали — на Тайшет. Я спросил об этом подполковника Бегуна. Обычно нам не отвечали на такие вопросы, но тут он, видимо, не сдержался:

— Такую заразу, как ты, нельзя отправлять в новое место. Поедете в Воркуту.

Мы тренировались. Будем бежать с этапа. Все было отшлифовано. Я "работал" безукоризненно. Продуманы были детали. Мы ехали в Горький. Остановка поезда должна быть в Коврове. И там... Первое — схватить, переломать вертухая, который стоит около туалета. Дальше — перерезать весь конвой.

Не было шансов на жизнь! Мы это знали! И бредили — быстрее, быстрее, погибнуть! Дерзнули тогда не мы, другие. Они все погибли.

У нас случилось непредвиденное обстоятельство — к нам добавили заключенных по дороге, мы отложили наш побег.

Тюрьма в Горьком была громадная, красная. Тюремщики все похожи друг на друга — опытные, лет по пятьдесят, в маленьких сильных морщинах, очень бледные. Казалось, что еще при царском режиме они там работали.

* * *

Даже сейчас, если будешь рассказывать, что делалось при Сталине, многие люди не станут верить. Или будут искать криминал: "За что сидели?"

Хочется развернуться и заорать в бессилии:

— Господи! Да ни за что! — но голос опять вязнет в пустоте.

Люди, как овцы, шли на казнь. В надежде своей смертью, если не жизнью, доказать свою невиновность. Ибо они верили в то, что белое это белое. И они говорили: это белое. Тогда как Сталин объявлял это черным. И какой-нибудь Ульрих повторял за ним: черное. И ему плевать было на то, что этот цвет — белый! Люди не умели перекрашиваться, они верили в белое и гибли за правду. Сталин был самым большим изувером на свете.

Человеку показать одно-два злодеяния — он придет в ужас. Но если ему показать море зла, он теряет восприимчивость. Мы воспитаны на зле. Мы утратили восприимчивость. Мы тусклы и бесчувственны. Будто это было где-то далеко и не с нами. И это кривое восприятие — плод той изуверской лжи, что воспитана в нас сталинской эпохой. Мы и сейчас не хотим пускать в себя трагедию. Вся косность организма — против трагедии. Потому что до нее надо дорасти. Душой. Культурой. Трагедия — это очищение. Но трагедия — это и боль. Причем боль чужая. Надо, чтобы она стала своей. Когда-нибудь мы научимся плакать не от того, что нам наступили на мозоль. Должно минуть время, и боль сама пройдет сквозь коросту. И тогда наступает жизнь. Потому что жизнь — это также и боль. Через ту боль все мертвое выйдет из нас: мещанство, хамство, эгоизм.

* * *

Третья шахта считалась незыблемой. Начальник Пятнадцатого лаготделения майор Захаров был уверен в себе:

— Давайте мне сюда 50—60 человек из Владимира, — и нас оставили у него под началом. Была осень 1954 года.

В 30—40-е годы заключенных было много. Холодные, голодные, они мерли как мухи. Утром вставали, мертвых уносили из барака. Некоторые трупы припрятывали, чтобы потом как живых их пропустить и на них пайку лишнюю получить. Черный хлеб давали — течет с него. Думали только о еде. Силы не было, связей между людьми не было. Потом работяг стало не хватать. Начали кормить.

Мы уже наелись хлеба к 1955 году! Даже простыни у нас появились. Из бязи.

Пока люди были голодные, они сильно разобщились. Но позже группы появились.

Вот он украинец — и все! Очень много работы приходилось проводить, чтобы объединиться. Толкуешь ему: "Что ты отделился? В лагере нет ни грузин, ни поляков, ни русских, есть заключенные. И только!" А он разбирает: "Жид то чи не жид". "Жиды все в органах остались", —

скажешь ему. Было много Иванов Денисовичей. Они тормозили дело. Сталинцам и требовалось, чтобы все были жертвы, все были Иваны Денисовичи.

К марту наладилась связь по всей воркутинской мульдe. Через вольнонаемных, которые работали взрывниками на шахтах. Через немцев, которые жили рядом с лагерями. У многих из них были мотоциклы — связь была стремительной. К весне люди прочно объединились.

Шагом к свободе были похороны эстонца. Первый раз хоронили заключенного по-человечески. Эстонцы — отличные плотники. Они смастерили красивый гроб. Между жилой зоной и шахтой весь немецкий поселок, когда шла процессия, стоял со снятыми шапками. На похоронах был пастор — заключенные поставили и такое условие администрации. Звучала речь над могилой:

"Ты умер далеко от родины. На чужой земле. Без вины. Мы не забудем, кто тебя прислал сюда. Мы отомстим за тебя!"

С этих пор лагерное начальство чувствовало себя неудобно. Но майор Захаров был человек самодовольный и думал, что справится с ситуацией.

К нам, тем, кто сидел по 58-й статье, от уголовников сбежал пацан четырнадцати лет. Уголовники стали требовать вернуть его обратно — насиловать. Мы не давали. Тогда решили забрать парня краснопогонники. В майский день часов в одиннадцать на территорию лагеря вошел взвод солдат. Без оружия, но с палками метра по два.

— Отдайте!

— Нет!

— Будем применять силу!

Люди, кто не был в это время на шахте, вышли из барраков и стали краснопогонников окружать. Безмолвно. Медленно. Кольцо людей сжималось, страшных, разъяренных.

— Братья! Отцы наши! Мы тут ни при чем! Пощадите нас! — кричали солдаты.

— Шапки долой! — командовали заключенные. Солдаты фуражки на землю положили.

— Палки долой! — И палки — рядом.

Капитана оттянули от солдат и — топтать его ногами. Все происходило в полной тишине.

— К вахте! — Люди похватили камни и гнали их вплотную до вахты.

Недели за две до восстания получилось что-то вроде репетиции.

Один работяга не поздоровался с начальством. Его потащили в БУР. Тут же собрались люди:

— Выдать человека! — Там было тогда двое осужденных по 58-й статье и один блатной.

Начальство не отреагировало на требование. Тогда заключенные побросали бушлаты на проволоку и перебрались таким образом к БУРу. Повалили две вышки. Разгромили барак. Надзирателей избили, порвали на них форму. Из огнетушителей "стреляли" пеной в лицо. А блатной тем временем бежал. Потом возле КВЧ повесили плакат: "Убить стукачей!". Три фамилии, а внизу кровь капает с топора.

* * *

Обстановка в лагере была сильно наэлектризована. И тут Н.С.Хрущев поехал в Женеву на совещание "О правах человека...". В тот же день началось восстание. Сначала на шахте...

Кончила работу смена, поднялись на-гора человек сто. Эту группу людей должен был забирать конвой — с отъездом Хрущева дали приказ его усилить. Зеки по пять человек пошли через вахту. Был в той смене старый еврей Рабкин. Он отстал.

— Иди быстрее! Старый хрен! — орет надзиратель. — Задерживаешь весь развод!

И тут здоровенный такой западный украинец повернулся:

— Зачем ты оскорбляешь старого больного человека?! Хрущев вылетел на конференцию, будет брехать о нашем рае, а вы здесь создали ад кромешный, рабство. И еще кричите на нас!

Подошел начальник конвоя:

— Если так будете вести себя — вообще не поведем в лагерь.

— Братцы! Пошли обратно в зону! — И заключенные все до единого возвратились в рабочую зону. Ворота закрылись, и все разбрелись по двору кто куда. Через полчаса приехал начальник лагеря майор Захаров. Он был бледный, испуганный, обратился к людям с призывом вернуться в лагерь.

Никто его не послушал.

Вечером было немного холодно. Хотя стояло лето, но лето в тундре. Потом потянулась светлая полярная ночь. Кто костры жег, кто в буфет шел.

— Что же вы хотите? — спрашивал Захаров, но никто ему не отвечал.

На шахту приехал начальник комбината Воркутауголь Дёхтев. Он сделал смелый шаг — подошел один к людям около костров, там их было больше всего:

— Что случилось? Почему не идете в жилую зону?

Все молчали. Он повторил.

Литовец, парнишка лет восемнадцать, спокойно ему ответил:

— Гражданин начальник, настало время людей освобождать. Берия, который нас посадил, оказался врагом народа — вы его расстреляли. Значит, он виноват во всем. А мы все продолжаем сидеть в заключении.

— Берия получил по заслугам. И вы тоже по заслугам, — ответил Дехтев.

— Тогда нам не о чем с вами разговаривать, — сказал литовец.

Дехтев снова заговорил, но теперь его уже никто не слушал. Все повернулись к нему спиной. Он выглядел жалко и ушел на проходную.

В 23.00 эта смена соединилась с заключенными второй смены, которых подняли из шахты. Так две смены и бодрствовали всю ночь.

На другой день утром прислали усиленный конвой и заключенным предложили идти в лагерь. Стали выходить по пятеркам. Их провели мимо немецкого поселка, и все немцы вышли смотреть на это шествие.

Что же происходило в это время в жилой зоне? Пять часов дня, люди возвращаются с шахты — в это время приходит развод. Все обычно бегут в столовую в очередь, чтобы успеть взять баланду погорячей.

Развод не пришел. Администрация суетилась. Между бараками двигался надзор.

— Где народ? — спрашивают зеки.

Отвечают, что есть причина.

— Что вы сделали с людьми? Вы их убили?

Через полчаса стало ясно, что люди сами отказались идти домой, потому что руководство не выполнило их требований.

Решено было — смена из лагеря не выходит, пока другая смена с шахты не возвратится. Решали, как вести себя. Перебирали варианты. Решили не вмешиваться пока ни во что, дабы товарищей не отправили куда-нибудь в другое место.

Главный инженер и секретарь парторганизации уговаривали заключенных выйти на работу, но ни один человек не поддался.

Утром, когда люди наконец вернулись с шахты, по всему лагерю тут же было объявлено восстание. Это было настоящее восстание, настоящий протест. Немцы разъехались по всем другим отделениям и объявили о начале. Остановились все шахты, кроме 6-й. Воркута замерла. Труба созвала заключенных в столовую. Было проведено первое собрание. Требовали начальства из Москвы. Правительственной комиссии. Выбрали комитет из четырнадцати человек. Туда вошло от каждой национальности по

представителю. Нужен был руководитель. Кто-то сразу сказал:

— Доброштан.

— Здесь есть более опытные люди, старше меня, мудрее, и в заключении проводившие больше времени.

Настаивали на моей кандидатуре.

— Я согласен, но при одном условии. Вы будете слушаться меня, как Бога. Не избежать моментов, когда советоваться не хватит времени. Я должен буду сам принимать решения. Вы согласны выполнять мои приказы? Даже если они вам покажутся неясными. Поклянитесь слушаться меня во всем.

Люди поклялись. Сначала тихо, нестройно. Потом — дважды — убежденно и громко.

— Раз так, спасибо за доверие.

Первое слово, которое Доброштан сказал перед восстанием, было такое:

— В лагере нет ни поляков, ни эстонцев, ни латышей. Есть одни политзаключенные. Среди нас немало доносчиков и стукачей. Это ясно всем как Божий день. Теперь мы должны про это забыть. Если они не пойдут на провокацию, не будут выполнять требования из-за зоны, мы учтем это в будущем. Тем, кто не желает быть вместе с нами, кто не согласен с нашей позицией, я предлагаю уйти из зоны.

И вот те, кто не пожелал принимать участие в восстании, медленно стали расходиться по баракам, медленно выходить оттуда со своими чемоданчиками и — на проходную вахту.

Один, два, три...

— Предатели! Гады! — кричали им вслед заключенные. Насчитали всего двадцать девять человек. А начальство в это время через громкоговоритель кричало:

— Кто не выйдет сейчас к нам — зачеты снимем! — Когда человек перерабатывал норму, срок шел — один день к двум, а то и к трем. Это называлось зачет.

Лагерное начальство старалось, как могло, сбить людей с толку.

— Кто вас кормить будет?

— Ничего. Есть посылки, есть в магазине крупа, но мы можем и не есть.

Обратились к народу, собрали деньги. В лагере был магазин. Работал в нем свой заключенный. Он сказал, сколько стоят крупы. Люди купили все по государственной цене. Питание шло в основном на то, чтобы прокормить больных, которые лежали в лазарете.

Было страшно. Лагерь окружили со всех сторон: танки, самоходки, согнали солдат со всей Воркуты. Была усилена охрана на заводе взрывчатых веществ.

Громкоговоритель призывал: "Хватайте Доброштан. Он является большим государственным и военным преступником. Ловите его. Убейте его. Кто это сделает, будет немедленно освобожден". Но никто на это не пошел. К Доброштану была приставлена охрана из трех-четырех человек. Это организовали латыши. Они знали, где он будет спать, когда и куда будет уходить из барака. Они, сменяясь, не отходили от него до конца восстания.

Кругом по Воркутинской мульдe шли вагоны, с верхом груженные углем. При этом начальство агитировало людей идти на работу. Люди видели уголь и начинали верить, что на других шахтах работают. Люди сомневались во всем и склонны были идти в шахты. Кто-то предложил заметить номера вагонов — оказалось, что они одни и те же. Один и тот же состав прогоняли по кругу. Обман вскрылся. Но трюк с вагонами удался. Засомневались.

— Не верим, что приедет комиссия!

— Давай свиней резать. Есть хочется. — В лагере было на откорме два десятка свиней.

Доброштану приходилось выступать перед людьми по 15—16 раз в день.

Все-таки народ не верил в себя. Народ — ничто. Он подписался под своим бессилием при Сталине. Народ надо было убедить в том, что он — сила.

— Чем мы хуже испанских, французских революционеров? Наш народ, неграмотный и темный, совершил такое! А теперь сидит и не в силах помочь себе! — Надо было сделать так, чтобы людям некогда было думать. Надо было их поднимать, чтобы они опомниться не успели. Надо было, чтобы они увлекались, верили! Надо было самому зажигаться, не щадя себя, и собою зажигать остальных.

— Что сделал этот уголовный преступник с таким прекрасным народом, как наш?! Хватит! Поклянемся — или умрем, или уйдем на свободу!

Сам комитет функционировал вне всякой напряженности и суматохи, как будто люди много времени работали вместе. Быстро принимались решения и быстро выполнялись. Была выделена группа — она стала следить за порядком. Были люди, которые передавали указания за зону вольнонаемным, вольнонаемные распространяли их по другим шахтам.

Комитет решил, что если приедет правительственная комиссия, то она не должна уехать назад с пустыми руками. Политзаключенные начали писать обращение к властям. Шли в столовую, столы ставили в ряд — с одного торца садился Доброштан, с другого — эстонский журналист Рахнула. Документ состоял из 12 пунктов. Первым

делом требовали освободить женщин, которые были заняты на тяжелой физической работе.

Этот первый пункт документа — благороднейший пункт, говорит сам за себя, говорит о величии всего документа в целом.

Последнее, что требовали заключенные от правительства, — гарантий: "Все люди, которые принимают непосредственное участие в восстании, не будут преследоваться после освобождения и привлекаться к уголовной ответственности".

В документе обвинялось местное руководство: "Жизнь меняется к лучшему, руководство становится в сто раз грубее, хуже и безжалостнее, чем прежде". Заключенные обговаривали каждый момент, сообщая искажи слова, поскольку знали, с кем имеют дело. Это была крепкая машина, прочно стоявшая на ногах, которую они только что начали раскачивать.

Обращение писали пять дней, составило оно 15—20 страниц. Потом надо было назвать написанное. Протест? Заявление? Прощение?

— Что если назвать "Меморандум"? — предложил Доброштан.

— Подойдет, — сказал Рахнула.

— Меморандум?

— Меморандум. — Все проголосовали за "Меморандум". Зачитали. Кто-то должен был подписаться под ним. Все? Или только комитет? Решили — подписаться должен только один руководитель восстания. Он взял ручку, окунул перо в чернила и поставил подпись под "Меморандумом" — Доброштан. Подписал себе смертный приговор.

— Мы решили погибать с беспримерным в истории документом, погибать с музыкой. Если бы я остался жив во время восстания, то меня повесили бы после того. Мы на это шли. И почему-то было так спокойно на душе.

Шел седьмой день. От Воркуты до Печоры дороги были забиты порожняком.

— Что ж вы за варвары? — обращался к заключенным директор шахт Ичигинских. — Шахты разрушаются и заваливаются, техника гибнет. Спасайте шахты!

Одна хитрая женщина — инженер — чуть не убедила восставших выйти на работу. Тогда Доброштан приказал выгнать ее из лагеря.

Паек пришлось урезать. Люди начинали голодать. Комиссии не было. Воркута стояла. Техника — в полном боевом порядке.

И вдруг в 12 часов появилось несколько самолетов в небе. Они не пошли сразу на аэродром, два из них низко опустились над 15-м лаготделением, сделали круг, потом еще один.

Доброштан вызвал Славку, который руководил украинской группой. От этой группы многое зависело — она была самая многочисленная. Доброштан подарил Славке фотографию, дал свой адрес: если он погибнет, Славка должен был сообщить об этом домой.

— Пανε Игорь! — протестовал Славка.

— Так! — сказал он. Сжег все письма, уничтожил документы, пошел в барак и там заставил себя заснуть.

Потом умылся, надел синюю латаную куртку с номером, синие латаные брюки, тапочки, "Меморандум" он держал в руках. Пошел навстречу комиссии. Комиссия — человек семнадцать — ступила на территорию лагеря.

— Я, Доброштан, — руководитель восстания.

— А, это ты? Ну что? Будем в столовой разговаривать?

— Давайте на площади, всенародно.

Комиссия согласилась. Она сделала смелый шаг, хотела, очевидно, узнать истину и скорее сорвать восстание.

На площади поставили столы, застелили их тряпками. Все сели. Доброштан стоял вместе с людьми. Потом заключенные опустили на землю. Напряжены все были до предела.

— К вам приехала очень представительная правомочная комиссия. Она имеет право многое решить. — Из самых влиятельных в нее входили генералы: зам. генерального прокурора Хохлов и зам. министра МВД Егоров. — Выходите на работу, а там посмотрим...

— На работу мы не пойдем, раз комиссия правомочная!

— Ну что ж. Давайте рассмотрим конкретно ваши требования.

— Разрешите мне! — выступил Доброштан. И тут случилась заминка. Среди заключенных были человек пятнадцать баптистов, они поднялись.

— Нас за что посадили? Мы ни в чем не виноваты!

"Я поворачиваюсь к ним", — рассказывает Доброштан.

— Сядьте.

— Нет!

— Сядь! — как заору!

И их там на месте усадили. — Мы сюда пришли не за тем, чтобы слушать о баптистах! — Стал читать "Меморандум". Смотрю на реакцию правительственной комиссии. Егоров улыбается, и на лице у него написано: "Ты, мол, читай себе, читай". Меня задела эта улыбка. Все смотрели на меня. Я был готов на все. Сосредоточен. Знал, что отвечаю за людей, за их судьбу. Сильно работали и ум, и сердце, и душа. Я дошел до 1-го пункта. "Мы требуем..."

— Женщин освободим, а кто ж работать будет? — спрашивает Егоров.

— Мы, — говорю. — Мы! Пока вы будете с нами разбираться! Я вам говорю пункты эти!.. И мы хотим слышать ваше мнение, — и как ударю кулаком по столу прямо перед этим Егоровым. И тишина... Тут люди встают. Медленно. Они должны были меня поддержать! И поддерживали. Это выглядело очень грозно. Не пересказывать.

— И еще здесь 12 пунктов! Вы! Будете отвечать?! — Я был очень страшен в тот момент. Как говорится, народный мститель. А люди в это время надвигались! Что-то такое предпоследнее в этом было. Конечно, прострел с вышек, но многотысячная толпа комиссию из семнадцати человек успела бы растерзать. Я стоял перед Егоровым.

Люди прошли метров семь. Жуткая тишина. Люди продолжают надвигаться. Я тут руки вскинул вверх. И, как тигр, прыгнул на толпу:

— Садитесь!! — И они стеной чуть отступили. — Садитесь! — Они нехотя, впившись в меня глазами, медленно, как замороженные, сели на землю. Это была такая сцена! Такого комиссия никогда не видела. Было у нас семнадцать заложников, да еще каких!

Помог мой артистизм. Наверное, это так называется. Я им жизнь спас, тем семнадцати. В обычной обстановке меня не видно, а в такие моменты что-то во мне возникает... Я отдал Егорову "Меморандум" в руки.

— У вас замечательный, умный руководитель. Вы послушайте, что он скажет, и выполняйте. Мы умеем работать. Мы будем здесь и день и ночь работать. И мы изложим ваши требования правительству. — Егоров поднялся и пошел прямо к вахте, толпа расступилась.

Народ молчал.

— Братцы, — я пришел немножко в себя, — мы много раз верили им. Многие миллионы из нас с этой верой ушли на тот свет. Но то были иные времена. Мы не были так организованы, как сейчас. Теперь мы почувствовали эту нашу способность, и мы пойдем на все вплоть до смерти. Сейчас мы поверим им в последний раз. Вы поклялись меня слушаться во всем. Так вот: по пять человек стройся! На вахту и на работу на шахту. Мы должны поддержать комиссию.

И вот достали откуда-то четыре трубы, один кларнет, и несчастные заключенные — с музыкой — пошли на развод. Первый парад заключенных! Несколько тысяч прибыло на вахту.

— Мы выходим на работу! Зам. генерального прокурора и зам.министра МВД СССР Егоров просили нас идти в шахты.

— У нас конвоя нет вас вести, — говорит Захаров. — Мы вас не выпустим.

— Спрашивайте Егорова.

— Он уехал на 40-ю шахту.

— Я даю вам сроку десять минут. Вас в живых не оставим, если вы не свяжете меня с Егоровым.

Проходит пять минут.

— Доброштан. Идите сюда. Генерал Егоров у телефона.

— Все до единого люди находятся на вахте и хотят идти на работу. Начальник лагеря говорит, что нет конвоя нас вести.

— Я не могу приехать, потому что должен выступать перед заключенными на других шахтах, — ответил Егоров.

— Не надо. Мы дали команду всем на других шахтах идти на работу. И они пойдут.

— Трубку начальнику лагеря, — и Егоров распорядился отпускать людей без конвоя.

Открыли ворота, и человек сто—сто пятьдесят пошли первый раз сами.

— А теперь завозите продукты, — командовал я, — мы голодны.

— Как ненавидело меня лагерное начальство, — говорит он. — Тишина в зоне. Кухня работает. Надзиратели по лагерю ходят. Я целую ночь не спал, следил, чтобы не было провокации. Наутро мы почувствовали, что выиграли битву. Впервые получилось так, что комиссия не объединилась с лагерной администрацией. Людей не расстреляли!

Днем в барак пришел начальник лагеря майор Захаров:

— Доброштан, вас вызывает комиссия.

— Доложите по форме, пожалуйста, — сказал я.

— Заключенный Доброштан! Вас вызывает председатель комиссии генерал Егоров!

— Можете идти, — отпустил его заключенный.

К конторе сбежались люди и окружили ее кольцом. В приемной, за столом — Егоров, Хохлов, лагерное начальство. Перед генералом — дело Доброштана.

— Вы заинтересовали нас как человек и как заключенный. — Пауза. — Что побудило вас к восстанию? Вы могли бы действовать по-другому.

— Нет. Не те времена. Не те люди. Сидеть в лагерях мы больше не будем! Было много нарушений социалистической законности. Ни за что сидят вояки, фронтовики, ученые.

— Вы уверены?

— Да. Вот сидит грузинский писатель Леван Готуа. Он

отбыл срок. Сейчас его должны отправить как пораженца в правах на лесоповал, жить в землянке. Он человек большой — он там умрет. И он ни в чем не виноват!

— Найдите Левана Готуа, — приказывает Егоров Захарову.

— Володя Соколович. Большая умница, ученый, геолог. Он тоже сидит у вас в лагере...

— Вы затронули в своем "Меморандуме" очень сложные проблемы. Правительство будет читать и могут возникнуть вопросы. Лучше вас никто на них не ответит. Мы решили забрать вас с собой в Москву. Там будет переследствие. Как вы смотрите на это дело?

Тут в дверь заводят Готуа.

— Заключенный Готуа прибыл.

— Вы кто по профессии?

— Я писатель.

— У вас произведения есть?

— Есть.

— Какие?

— В основном драмы.

— У вас срок кончился?

Принесли дело Левана Готуа. Егоров и Хохлов переглянулись. Хохлов написал что-то на бумажке, вынул печатать прямо из кармана и этой печатью ударил.

— Вы свободны.

— Ничего не понимаю.

— Как не понимаете? Идите, берите вещи!

— А вы готовьтесь, Доброштан, мы вас будем этапировать в Москву.

Толпа ждала своего руководителя перед конторой.

— Я должен ехать.

— Нет!

— Разъяснить обстановку — это мой долг.

— Не верь им. Тебя убьют. Повесят.

— Я не знаю, что со мной там будет. Но я знаю, что ехать надо. Вы мне обещали слушаться меня во всем. Я знаю другое. Вы уже не те, что два года тому назад. Вы знаете, как себя вести, если правительство станет игнорировать наш "Меморандум". Если со мной что-то случится — вы и об этом узнаете. Мы прошли школу, а им стоит над этим призадуматься. Они увидели, кто мы. А в том, что они вручат "Меморандум" правительству, я не сомневаюсь.

Кто-то снял шапку и пустил ее по кругу: собрали на дорожку денег, тысяч пять.

* * *

Теперь представьте себе человека — молодого, здорового и свободного, судимость с него снята, в кармане но-

венький паспорт с московской пропиской, который он получил в отделении милиции на Каляевской, впереди — МАИ, его восстановили в институте. Дома на Украине его ждут мать, жена и дочь. За время, что он был в лагере, мать состарилась, дочь стала взрослой.

...Из чего состояла его жизнь до этого момента? Один курс института, в семнадцать лет — фронт. Потом, после войны, — три курса института. Тюрма, лагерь, Воркута. Правда, детство — вот счастливый фундамент! Родом из украинской деревни Терновка. Был способный — поступил в школу сразу в пятый класс. Зато как поступил — не то, что ходил туда каждый день — но бегал: 15 километров в одну сторону, 15 — в другую, босиком по любой погоде. В семье еще два брата и сестра. Дома говорили по-украински и по-русски, в школе тщательно преподавала язык немка. Иногда пропадал из дому на два, три дня. Его искали, волновались, потом привыкли — бродил по воле, ночевал в лесу — ничего не боялся...

И вот Игорь Михайлович Доброштан звонит с московского телеграфа в Воркуту.

— Это я, Игорь.

— Какой Игорь? — недоумевает Воркута.

— Игорь Доброштан.

— Тебя уж давно повесили, Игорь, а весь забастовочный комитет, которым ты руководил, арестован. — Кажется, что в этот момент по всей земле раздалась минута молчания.

— Никому ничего не говори. Я еду к вам!

И человек, перед которым только что окрест лежала мирная жизнь, поворачивается и буквально и внутренне на 180 градусов, чтобы ехать назад в Воркуту. Нет больше чистенького паспорта, института, жены, дочки, Москвы... Есть судьба. Есть Доброштан, равный себе самому. Есть фотография: на вокзале перед отправкой поезда на север сидит человек в телогрейке, рядом — мешок, а в мешке вся его жизнь, которую он носит с собой.

Имея паспорт, видя волю, институт — все бросить и пойти опять сесть в тюрьму?

— Вот мой московский паспорт. Сажайте меня — забастовочный комитет арестован. Как могу я быть в стороне? Я могу умереть, но провокатором я никогда не был.

...

— Я чувствовал, что меня арестуют.

По возвращении в Москву Доброштана в вечернее время украли с улицы около милиции, что рядом с метро "Новокузнецкая", а на другой день уже отправили поездом в штрафной лагерь в Джезказган (Казахстан).

На старом деле нет помет о его сентябрьском освобождении 1955 года, как будто не освобождали человека вовсе. Какая уж тут санкция прокурора на арест? Какой закон?

На медном руднике в Джезказгане начальник лагеря подполковник Бурдюг захотел познакомиться со своим заключенным.

— Дайте я посмотрю на этого Доброштан. Вот ты какой!

— Какой есть.

— Бунтовать будешь?

— Буду.

— А бежать будешь?

— Буду. Почему вы меня об этом спрашиваете?

— А зачем будешь?

— А затем, что вы меня посадили! Если опутаеете всю землю колючей проволокой, то я все равно буду бежать.

— Но у меня ты не убежишь.

— В Джезказгане я ослеп. Люди выводили меня на улицу — вот перед тобой куча снега. Кидай. И я кидал, весь мокрый, в тридцать градусов мороза. Потом начал свет появляться. Светлее, светлее. К весне зрение вернулось”.

...

Он был арестован в 1948 году. Следователь Володя Шугало, старший лейтенант КГБ, тогда сказал:

— Отвоевал войну за советскую власть, а теперь — черт с тобой, сиди!

С 43-го — на фронте.

В его деле нет помет о том, что он фронтовик, был разведчиком и работал в контрразведке. 25 лет лишения свободы — решение вынесло Особое совещание.

В 1952 году — после 4 лет тюрьмы — он был подвергнут дополнительному наказанию: лишен награды — ордена Красной Звезды. Если бы он был лишен ее в 1948 году, стало бы очевидно, что это фронтовик. Орденосцу 25 лет дать нельзя!

— “Забрали одну награду — заберите и остальные”, — вел переписку с органами. Органы молчали.

Теперь люди, кажется, знают, что человека имеют право судить не за то, что он человек, но за то, что он совершил преступление; имеет право выносить приговор не какой-нибудь неправомочный, неконституционный орган, как Особое совещание, а суд или трибунал.

Но то были сталинские времена.

В 1955 году Доброштан после амнистии был схвачен таким же бандитским образом, что и в бесправном

1948 году, и водворен в Джезказган. То были уже не сталинские времена, но сталинщина.

В 1975 году с ним все еще мечтал расправиться КГБ Караганды. Это были тоже плохие времена.

Но вот — год 1986-й. И.М.Доброштан пишет прошение прокурору Советского Союза А.М.Рекунову с просьбой помочь восстановить справедливость. Он получает ответ, где отписано, что справедливость не может быть восстановлена, потому что в 1952 году проситель совершил побег из Воркутлага, а в 1955 году принял активное участие в массовых беспорядках в ИТЛ. (Массовые беспорядки — это то, что бесправные люди гордо именовали восстанием. Побег — это то, что на русском языке именуется протестом против беззакония.) Подпись: помощник генерального прокурора В.Г.Проворотов.

В 1987 году И.М.Доброштану приходит ответ на его просьбу вернуть орден Красной Звезды из отдела наград. Ему не могут вернуть орден, так как "Доброштан совершил тяжкое преступление против государства". Подпись: зам. нач. отдела наград С.А.Зима. В том же 1987 году прокуратура Москвы, чтобы охаять человека перед областным военкоматом города Днепропетровска, где он проживает, отписала: "Доброштан — участник антисоветской организации в Воркуте в 1955 году". Именно — антисоветской! Не антисталинской и не антибериевской! "Распишитесь, — сказали ему в военкомате, — в том, что вам награда не положена".

Почему везде стоят подписи "замов"? Наверное, у нас очень много людей поднимали восстания в лагерях, и по важному делу человеку не в состоянии ответить ответчик?

Один раз И.М.Доброштан подавал на реабилитацию. Отказали: "Вы были активным действующим лицом в воркутинских делах, и никакой реабилитации вам не положено!"

Последнее письмо с просьбой о восстановлении справедливости Доброштан отправил в адрес XIX партконференции... Вы думаете, он получил ответ? Так какие сейчас времена? Кроме "времен", жить ведь когда-то надо. Или опять этап надо как-то назвать? Дать ему кличку? Или дело не во времени?.. А дело в том, кто сидит в прокуратуре? В отделе наград? Все те же бандиты, которые делают времена? Или дело в том, что Доброштан человек чересчур прямой и слишком активный для любых времен? Конечно, страшно. Доброштан — история. Доброштан — дела. Вот сейчас Доброштан выйдет на Красную площадь...

Так как мы очень любим этапы, то можно сказать: первый этап разоблачения культа личности Сталина прошел. Второй был свернут. Купирован. Это настораживает. Сейчас третий...

* Воркута — это уголь, тундра и могилы. Воркута стоит на трупах. Это одна Воркута. Другая Воркута ждет. Люди живут и по 30 лет запрещают себе думать о лагерной жизни, вспоминать прошлое. Но им оно снится.

* * *

Есть такое мнение, что самые хорошие люди погибают сразу, в первые дни беды. Что ж, одна посредственность оседает на земле? Нет, есть сорт людей — добротных, — которые остаются в живых. Это те, кто ничего не боится. Такие не могут погибнуть. Фатально. Именно в силу того, что ничего не боятся. А ничего не бояться — это привилегия истинно свободного человека, с чистым током крови. Не бояться ни смерти, ни войны, ни сталинщины. Если бы все люди были свободны и ничего не боялись — ни сталинщины, ни войны, ни раскованной мысли, — быть не могло бы ни Сталина, ни войны, ни скованной мысли. Но пока этот тип людей-исполинов единственно прорастает могуче и грозно сквозь коросту крови, лжи и хамства. Они редки, эти люди, но на них держится остаток света, и благодаря им свет брезжит вверх.

— Я не хочу реабилитации, — говорит Доброштан на пороге правового государства. — Пусть я буду “изменником родины”. Они реабилитируют тех, кто умер. Я живой. Я не мертвый. Разговаривайте со мной. Судите меня. Судите меня судом, если я в чем виноват.

* * *

Когда-нибудь, пройдет время, и кто-то вместит в себя эпоху, проанализирует и объяснит нам этот феномен — сталинщину. Это будет при условии, если мы и теперь не станем себе отказывать в попытках анализа.

Что же случилось со страной, обзаведшейся лучшим в мире строем? Она обособилась. Она зачеркнула не только прошлое, но и чужой опыт. То не была первая в мире революция, но общие закономерности почему-то перестали распространяться на это явление. Уроки истории были забыты.

После каждой революции наступает реакция, каждая революция уничтожает своих героев, революция добивается не того, что постулировано в ее идеалах, но того, что требует жизнь, потому что жизнь сильнее любой революции. Разрушается культура и образуется культ, нечто более молодое и неразвитое. В России все огромно. И культ.

Враз не стало — Бога, царя и веры. Россия, плохо ли, хорошо ли организованная по принципу пирамиды, пре-

кратила свое существование. Лежало туловище народное с перерезанными сухожилиями. Из этого туловища торчало много оборванных, незадействованных связей и связочек, на которые раньше, на каждую свое — что-либо крепилось: власть земная, Бог, вера. Это было создано жизнью, обусловлено генетически, психически, исторически, мистически. То, чего остерегались веками — кумир, — овеществилось. Все связочки и связки замкнулись на одно: стал и Бог и царь в образе нечеловеческом. И стала новая вера. Народ верующий не способен был враз перестать верить. Он был способен создать эрзац. И он создал эрзац.

Россия была построена по принципу пирамиды. Вершина ее уходила в небо. Потом развернулась в ад. Сейчас — это руины. На руинах верить можно в одно. В жизнь. Потому что жизнь очень сильная вещь. Потому что жизнь сильнее всякой сталинщины. Она своим током снесет ложь, исправит уродство.

Бирюзова Ольга Евгеньевна — родилась в 1954 г. в Москве. В 1977 г. окончила Литературный институт им. Горького. Автор ряда повестей и рассказов.

Александр Поклад

ЭФИР ИЗ "СТАКАНА"

— Стой! Стреляю!

Вот тут я испугался по-настоящему. Обидно было, что могли пристрелить свои же. Я стоял в крошечной тьме при входе в холл, где располагался секретариат Бурбулиса.

— Это Поклад, — сказал я. — Служба новостей "Радио России".

— Один?

— Один.

От стены отделилась темная фигура и приблизилась ко мне. Удостоверившись, что я — это я, охранник бросил в темноту:

— Все в порядке, отбой.

Оказалось, что за несколько минут до моего появления в секретариат поступила непроверенная информация о том, что в здание проник спецназ. Охрана подумала, что я и есть спецназ.

* * *

11

Впрочем, все по порядку.

В этом коротком повествовании я не хотел бы вдаваться в анализ причин путча или выстраивать его хронологично — это дело историков и политиков. Я расскажу о своих личных впечатлениях и о том, как работала служба новостей "Радио России" 19—21 августа 1991 года.

В то, теперь уже почти былинное утро, мы вышли из дома в безмятежном настроении. Квартиру мы с Наташей

сняли лишь три дня назад и не успели перевезти туда ни радиоприемник, ни телевизор. Поэтому мы совершенно спокойно разъехались по работам. Наташа — на "Мосфильм", а я — в Останкино, где мне предстояло вести выпуски новостей "Радио России".

У останкинских подъездов стояли автоматчики в десантной форме. Мне это сразу не понравилось.

— В чем дело? — спросил я милиционера.

— Горбачева сняли.

Многие накануне говорили о таком варианте развития событий, но когда он стал реальностью, впечатление было такое, как будто вокруг тебя крутят стереофильм, ты действуешь в нем, но смотришь на себя как бы со стороны. Впрочем, это чувство через несколько часов прошло.

Поднявшись в комнату службы новостей, я первым делом прочитал документы ГКЧП, из которых понял две вещи: а) в стране установлена диктатура; б) с этой минуты мои коллеги и я начинаем заниматься тем, что было названо "распространением подстрекательских слухов". Тогда я пошел к одному из руководителей Главной дирекции программ (ГДП — подразделение, командовавшее на Гостелерадио теле- и радиозфиром) Ахтырскому, который вежливо, но твердо заявил, что устным распоряжением Кравченко телевидение и радио России на неопределенное время из эфира убраны. Кравченко и ГКЧП пытались устроить мне бессрочный выходной. При других обстоятельствах я, может, и не отказался бы сачкануть. Но в тот понедельник я был против такой постановки вопроса. Я поехал на пресс-конференцию янаевцев.

* * *

Тем временем "на Яме". Здание Всероссийской телерадиокomпании находится на 5-й улице Ямского поля и среди сотрудников уважительно называется "Яма". В штаб-квартиру службы новостей радио к обеду съехались почти все — около 30 человек. Не приехали только те, кто проводил отпуск вне Москвы (август все-таки). Наш начальник, Александр Нехорошев, помимо пышных усов и мягкого юмора обладающий еще и некоторыми организаторскими способностями, быстро наладил работу в условиях отсутствия эфира. Дело нашлось каждому. По крупницам собирались сведения об обстановке в городе и в стране. Из "Белого дома" поступали документы, принятые руководством России, звонили внештатные корреспонденты и просто радиослушатели, работали Россий-

ское информационное агентство, "Интерфакс", еще в эфире была программа "Эхо Москвы". (Ее потом вырубили на "Дип Пёрпл". Пустовойт сказал: "Сволочи, не просто вырубили "Эхо Москвы", а вырубили на "Дип Пёрпл". Я им этого никогда не прощу".) Вся информация аккумулировалась и готовились пресс-релизы. Они по факсам и устно, по телефону, рассылались по редакциям в Москве и в другие города Союза. Женя Кондратьева и Саша Тихонов записали на магнитную ленту спецвыпуск службы новостей. Его по телефону также передавали в другие города. Тиражировались листовки с указами Ельцина и распространялись в городе и в аэропортах.

...

Тем временем в Севастополе. Все-таки в журналистике, особенно в демократической, работают сногшибательные женщины. Одна из них, корреспондент нашей службы новостей Татьяна Феоктистова, проводила в семейном кругу законный отпуск в Севастополе. В этих же краях проводил законный отпуск, тоже в семейном кругу, президент СССР. Татьяна, конечно же, не могла пройти мимо самой историей предоставленного ей шанса первой узнать о здоровье не на шутку захворавшего Михаила Сергеевича. Не долго думая, она упростила своего знакомого — начальника транспортного отдела фирмы "Квант" — выделить ей машину с водителем и отправилась на президентскую дачу.

Водитель остановил машину километра за полтора до дачи, боясь, вполне оправданно, что спецслужбы засекут номера. Дальше Татьяна пошла одна, вспоминая напутствие мужа: "Ты нужна мне живой". Много разных эмоций пришлось пережить Тане по дороге к даче. Но вот и кордон. Из всех охранников представился только один: Николай Михайлович, полковник КГБ. Они тщательно записали все данные визитерши. Ошиблись в одном: вместо Всероссийской телерадиокомпании записали Всесоюзную.

— Это что же за редакция такая — служба новостей? — спросил полковник.

— Как, вы не знаете?! На Гостелерадио это самая известная информационная редакция! — благородно оскорбилась Феоктистова.

Николаю Михайловичу стало, видимо, неловко (даже в КГБ за всем не уследишь!) за свою неосведомленность и он, в свою очередь, соврал, что теперь вспомнил — конеч-

но, есть такая редакция. Вообще, много мыслей, надо думать, пронеслось в этот момент в голове у полковника. Если бы ему на голову свалился Рембо, перепоясанный лентами с анимительным пулеметом в руках, или на худой конец здоровенный небритый вонючий журналист — а именно такими представлял себе полковник журналистов-демократов, — он бы знал, что делать. Но перед ним стояла крайне очаровательная молодая женщина в просвечивающей белой маенке и требовала свидания с Горбачевым. Много чего разного перевидал Николай Михайлович на своем веку, но это переходило всякие границы. Он собрался с духом.

— Ну а теперь — до свидания! Уходите отсюда!

— Для чего же вы переписывали мои данные?

— Так положено. Мы всех переписываем для доклада руководству.

Феоктистову руководством было не напугать. Она вступила в переговоры с полковником КГБ.

* * *

Когда журналисты договариваются встретиться у пресс-центра МИД СССР, иногда встречу назначают у большой фотовитрины. 19 августа витрину, на которой, кстати, еще висела фотография Горбачева, почти не было видно — ее загораживали танки. Там, в пресс-центре, в 17.00 началась пресс-конференция ГКЧПистов.

Вход в пресс-центр — по аккредитационным удостоверениям. У меня такое удостоверение есть, но стоявший у входа чекист Женя меня не пускал. Выручил сотрудник пресс-центра Андрей Силантьев, уговоривший Женю пропустить меня. Но для входа в зал требовался спецпропуск, так называемый "пул". Мне его не дали. Выручил сотрудник пресс-центра Вася Харитонов, невероятным образом где-то урвавший для меня "пул". Подозреваю, что Вася рисковал в этот момент как минимум служебным положением.

И вот я в зале. На трибуне — паноптикум. Руки Янаева ходят ходуном. Такое впечатление, что он только сейчас понял, на какую орбиту уголовной ответственности вынесла его нелегкая. Он смотрит в зал на журналистов и осознает, что это не журналисты смотрят на него из зала; на него смотрит весь мир — мир, который понимает всю степень его ничтожности. На физиономии Пуго написано, что кроме совместного патрулирования других форм борьбы за демократию он не знает. Со Стародубце-

вым все ясно — его лоб не бороздят морщины интеллектуальных усилий; в этот тяжелый час он — с крестьянством.

Ведет пресс-конференцию Гремитских. Он не рассчитал. Он был в отпуске, но, услышав о чрезвычайном положении, ринулся в пресс-центр. Сейчас он говорит, что был вынужден... А тогда он дал задать запланированные вопросы Стефанову и Ломакину, проигнорировав при этом "Радио России".

Но настоящие, незапланированные, вопросы все-таки были. Они особенно ярко звучали на фоне подобострастных вопросов журналистов, воспринявших ГКЧП как манну небесную. Поиздевался над Стародубцевым Бовин. Спросил про Пиночета итальянец. Но героиней вечера стала корреспондент "Независимой газеты" Татьяна Малкина. Ровным, спокойным тоном эта очаровательная девушка задала вопрос, потрясший зал. Она была первая, кто публично бросил хунте обвинение в совершении государственного переворота. Это был настоящий журналистский подвиг.

...

Тем временем "на Яме". В прокуренном кабинете с табличкой "Нехорошев А.Ю." его хозяин руководил работой штаба службы новостей "Радио России". Дым стоял непролазный. На большом конференц-столе — пакеты из-под молока и кефира, а также печенье рассыпью и в пакетиках. На диване, креслах и журнальном столике лежали стопки материалов, которые пытались свести воедино Кондратьева, Тихонов, Абакумов, Бабурин, Ведута... Нехорошев и Чуриков беспрерывно говорили по телефону... Кто-то диктовал машинистке что-то очень важное... Кто-то бегал в ксероксную и приносил оттуда стопки листовок.... Народ тусовался.

Так они будут работать трое суток. Без прикрытия, без охраны. Рядом, на улице "Правды", будут стоять девять БТР. До подъезда Всероссийской телерадиокомпании им надо проехать метров триста. Но из компании не уйдет никто.

К тому моменту, когда я приехал с пресс-конференции и смонтировал отчет о ней, по "Яме" пронесся слух, что в "Белом доме" пытаются смонтировать радиостанцию. (Вообще, можно только поражаться беспечности демократов, не имевших альтернативного передатчика!) В любом случае, кто-то с радио должен был нахо-

диться в "Белом доме". А тут еще заехал Саша Любимов и говорит: "Кто со мной в "Белый дом"?". Поехал я. Во-первых, в то время я был еще холостой, сам по себе. Во-вторых, я уже бывал в условиях переворота — Уганда, 1986 год.

Надо сказать, что к хунте у меня были еще и личные претензии. Мы познакомились с Наташей за несколько дней до переворота и решили пожениться. В ЗАГС хотели пойти 20 августа. Заговорщики покушались на мое семейное счастье!

Первое, что я сделал, когда мы добрались до "Белого дома", так это позвонил невесте:

— Сiju в "Белом доме", когда вырвусь, не знаю.

— Это твоя работа, — сказала она. — Я буду тебя ждать.

Потом я узнал от будущей тещи, что Наташа плакала две ночи, пока я был в "Белом доме".

* * *

Тем временем в Севастополе. В переговорах с полковником КГБ Феоктистова нажимала на то, что приехала для встречи с Горбачевым из самой из Москвы. Полковник-нажимал на то, что Горбачев, ну, очень болен, просил никого не пускать. Минут двадцать Татьяна уламывала Николая Михайловича, пока тот куда-то не позвонил. Устраивал ли он спектакль с телефонным разговором лично для нее или внутренняя связь на даче президента СССР действительно была — об этом остается только гадать. Так или иначе, положив трубку, полковник еще больше помрачнел:

— Я же вам сказал: нельзя! Убирайтесь отсюда!

Это были уже не шуточки. Но Таня настаивала, прося свести ее хотя бы с лечащим врачом Михаила Сергеевича. Полковник развернулся и зашагал внутрь территории. Феоктистова успела сделать за ним три шага.

— Еще один шаг и мы начнем стрелять! — окликнул ее патруль.

В их глазах не было и намек на шутливую угрозу. Введенные автоматы были направлены на невооруженную молодую женщину. Таня развернулась и зашагала прочь от дачи. От дачи, где сидел президент, преданный собственными гебистами. Президент, на защиту которого встали такие журналисты, как Таня Малкина, Таня Феоктистова и Аня Колина. Об Ане чуть позже.

* * *

Вечером 19 числа в "Белый дом" съезжался разный известный люд. Многие сначала приходили в радиорубку на первом этаже, откуда велась трансляция внутри здания и через громкоговорители на прилегающую к нему территорию. Вещание вели Белла Куркова, Саша Политковский и Саша Любимов. Запустили в эфир и наш спецвыпуск, который я привез с собой. В рубке появлялись Руцкой, Попов, Оболенский, Говорухин...

Но "внутреннее" радио работало только для защитников "Белого дома". Серьезный же эфир был фактически блокирован. Положение спасли радиолюбители. Они приехали в "Белый дом" и к полуночи с 19-го на 20-е смонтировали на шестом этаже передатчик с позывным "Радио-3-Анна". Его принимали только радиолюбители, но принимали по всей стране и за рубежом... Это было уже что-то! Надо было информировать людей об обстановке в Москве, об указах Ельцина, распоряжениях российского руководства. Так "Радио России" вышло на волнах "Радио-3-Анна". Мы вещали несколько часов подряд. А затем состоялся дебют иновещания "Радио России". Профессиональная переводчица (фамилию ее я, к сожалению, не запомнил) перевела на английский язык основные документы, принятые российским руководством на тот момент, и зачитала их в эфир, а мы с Артемом Боровиком сделали комментарий на английском об обстановке в Москве. Эту передачу слушали в Европе и в Америке.

Ближе к утру я спустился в секретариат Бурбулиса, где находился один из мозговых центров обороны "Белого дома". Депутаты, журналисты, функционеры, охранники работали, подбадривая друг друга. Рыжов, Полторанин, Попцов, Молчанов, Кобец, Вощанов... Никогда в жизни я не встречал такого скопления хороших людей на столь маленькой территории. Внутри и вокруг здания работали съемочные группы Авторского телевидения, "Пятого колеса", "ТВ-Прогресс" и группы "Вестей", ведомые Рыбиным, Пищаевым, Милянчиковым и Джафаровым.

Те, кто был на баррикадах и в "Белом доме", ждали штурма. Игорь Мензелинцев предложил по чуть-чуть коньячку. Стратегически это было очень правильно. Коньяк взбодрил и согрел.

Рассвело. Первая кризисная ночь миновала. Утром, ваяясь с ног от усталости, но чрезвычайно довольный собой, я поехал домой поспать. Предчувствие человека, уже

бывавшего в перевороте, подсказывало мне, что самое трудное еще впереди.

На четыре часа я провалился в черное пространство. В четыре часа дня 20-го, заехав на "Яму" и взяв свежие материалы, я вновь входил в двери "Белого дома".

* * *

Сергей Пустовойт, мой коллега по службе новостей "Радио России", обладает не только столь запоминающимся многим радиослушательницам металлическим голосом, но и железной журналистской хваткой. Именно с ним мне предстояло провести самую опасную, но и самую интересную ночь в своей жизни, эту ночь я не променял бы ни на что. Эта ночь показала, кто есть кто и кто на что способен. И лучшего сотоварища по эфиру я себе сейчас не представляю.

Накануне, проработав всю ночь в штабе "на Яме" и поспав несколько часов, Сергей прибыл в "Белый дом" утром 20-го и начал работу в эфире на волнах "Радио-3-Анна". С ним работали Игорь Васильков, Игорь Зорин и Наташа Бехтина.

Мы работали в размеренном ритме до полпятого вечера. Вдруг заходит Бурбулис, садится к микрофону и зачитывает в эфир указ Ельцина о том, что президент РСФСР принимает на себя командование вооруженными силами СССР, которые находятся на территории России. Пожалуй, это был ключевой указ в этот вечер. Сразу же за этим по "внутреннему" радио передают обращение к женщинам — немедленно, до пяти часов, покинуть здание. Штурм, ожидавшийся накануне в три часа утра, теперь, с большей долей вероятности, ожидается в пять часов вечера. Почти все дамы покидают "Белый дом". "Держитесь, парни", — говорят они.

Но, оказывается, не все дамы эвакуировались. Около шести в комнату вбегает Аня Колина, сотрудница одного из бесчисленных подразделений Верховного Совета РСФСР. На ближайшие сутки она из чиновника превращается в журналистку. Она станет нашим референтом на эфире. Она будет отвечать на звонки слушателей, суммировать поступающую от них информацию, бегать в штаб обороны и в пресс-центр за сводками новостей.

— Наверху смонтировали средневолновый передатчик, — выдыхает Аня. — Там уже Игорь Демин, тоже с "Радио России".

Мы с Пустовойтом хватаем противогазы и бежим на-

верх, поднимаемся на крышу, проходим в надстройку, еще два этажа вверх — и вот мы оказываемся прямо под флагом Российской Федерации. В шесть часов вечера 20 августа служба новостей "Радио России" начинает свою работу в режиме прямого эфира из "стакана" "Белого дома".

Наша импровизированная студия располагается в чердачном помещении с несколькими небольшими окнами. Около одной из стен стоит стол, на нем — передатчик. Через час стол уже завален сводками новостей, указами Ельцина, газетами, вышедшими в этот день в ксероксном варианте. Позже на столе появляются пирожки, помидоры, фляга с водой, стакан с чаем, пепельница, заваленная окурками. Посередине, у стола, стоит стул — стул ведущего, слева от него — стул, куда садятся гости студии, пришедшие на интервью. Справа — дверь в маленькое помещение, где установлен телефон (окно этой комнатки находится как раз внутри часов "Белого дома"). Когда эту дверь открывают, она, как правило, бьет по стулу ведущего. Ведущему это всякий раз не нравится и он про себя нецензурно ругается.

В левом углу — лестница, ведущая вниз, по ней приходят люди, которые хотят обратиться к радиослушателям. Академик Рыжков, Саша Политковский, представитель Сагалаева из Союза журналистов, народные депутаты СССР и РСФСР... Утром, когда нас сменили, поднимался и Ростропович.

Справа — лестница вверх, на площадку, где установлен флаг. Обзор оттуда — шикарный. Когда мне еще доведется побывать на самой верхотуре "Белого дома"?

Помимо Ани, Сергея, Игоря и меня, в "студии" еще находятся Толя Трихудайлов, начальник службы общественной безопасности Краснопресненского района, а в ту ночь — референт эфира, и майор милиции, поддерживающий нас морально. После полуночи к нам присоединяется Саша Куряков, днем вещавший на волнах "Радио-3-Анна". Такова наша эфирная бригада. Мы сами себе ведущие, редакторы, режиссеры, референты, корреспонденты и комментаторы. Мы проговорили с 18.00 до 23.00 двадцатого августа и с 00.00 до 06.30 — двадцать первого августа (с 23.00 до 24.00 будет техническая пауза, нам попытаются подсоединить более мощный передатчик, но безуспешно). Языки у нас опухнут, мы выкурим по несколько десятков сигарет, но это будет самая запоминающаяся ночь в нашей жизни.

(Теперь, когда случается идти мимо "Белого дома", я

подмигиваю "стакану" — классно мы поработали там в свое время.)

Стемнело. Охрана — человек, десять милиционеров с автоматами, дежуривших внизу на крыше, — распорядилась выключить свет. Вокруг полно снайперов. Разбили даже четыре опознавательных красных фонарика вокруг флага. Отмечаются ли такие рекорды в книге Гиннеса или нет, но два часа мы эфирили в полной темноте. Текстов не видно (только часа через два нам установили тусклую "переноску"). И вот тут мы дали волю импровизации: излагали тексты указов по памяти, на ходу придумывали комментарии, устроили спор между собой... Порой по лестнице поднимался кто-то, едва различимый в темноте. Блестит только депутатский значок.

— А сейчас к нам в студию поднялся депутат, — говорит ведущий. — Я не вижу кто это, но надеюсь, он сейчас представится...

В одиннадцать вечера наступила вынужденная техническая пауза. Но она была нам на руку. Языки могли отдохнуть. Демин успел спуститься вниз и взять несколько интервью на баррикадах и в коридорах "Белого дома". Пустовойт встретил посланца с "Ямы", который привез свежие сводки. Я разыскал Артема Боровика, в диктофоне у которого была моя кассета. На ней было интервью Шеварднадзе. Я взял его у Эдуарда Амвросиевича, случайно столкнувшись с ним днем в "предбаннике" у Ельцина.

Потом мы все собрались в кабинете у Ани. Нашлась пара банок консервов и, я бы скорее поверил, что Язов действительно читал Тургенева, — две бутылки холодного пива! Аня стала уже не просто нашим референтом, она стала нашим ангелом-хранителем.

Пустовойт позвонил домой:

— Дорогая, — сказал он жене, — тебе повезло. Когда я вернусь домой, то буду молчать как минимум неделю.

Я представляю, каково было Тане в ту ночь. Ее муж на всю Москву поливал хунту из "стакана" "Белого дома", а она сидела дома с ребенком и ждала, когда придут... Ей было сложнее, чем нам с Серегой.

Когда мы допивали пиво, раздались первые автоматные очереди. Вскоре в здании потушили свет, отключили большинство лифтов. Мы бежали наверх, очертя голову. Первым бежал Пустовойт. Именно он поэтому и налетел в темноте на завал, устроенный охраной крыши на лестнице в "стакане". Мне показалось, что металлический голос Сергея слышен дальше, чем сигналы нашей радио-

станции. Суть его высказываний сводилась к тому, что он имел в виду государственные перевороты, янаевых и крючковых, а также охранников, установивших завал, — Сергей действительно сильно ушиб ногу!

Мы вновь вышли в эфир в полночь с минутами. Мы вещали на средних волнах в диапазоне 1500 килогерц, охватывая зону в 12—13 километров вокруг “Белого дома”. Нас было хорошо слышно в центре Москвы, слышали нас и в некоторых отдаленных районах столицы. Позже мы получили несколько телеграмм — нас было слышно кое-где в Подмосковье. Нас слышали в других городах: москвичи звонили родственникам и знакомым и прикладывали телефонные трубки к динамикам своих радиоприемников. Но что самое поразительное: нас принимали в Италии, Греции, на Кипре и в Финляндии. Каким образом --- для меня до сих пор остается загадкой.

Часа в три ночи я решил спуститься в секретариат Бурбулиса за свежими сводками. Оказалось, что лифт в нашей секции здания отключен. “Белый дом” был во тьме. Я спустился по лестнице вниз и... окончательно заблудился. Я брел по темным коридорам, мысленно в непарламентских выражениях вспоминая тех архитекторов, которые построили здание парламента России.

— Стой! Стреляю!

Вот тут я испугался по-настоящему. Обидно было, что могли пристрелить свои же. Я стоял в крошечной тьме, при входе в холл, где располагался секретариат Бурбулиса.

— Это Поклад, — сказал я. — Служба новостей “Радио России”.

— Один?

— Один.

От стены отделилась темная фигура и приблизилась ко мне. Удостоверившись, что я — это я (все мы успели визуально запомнить друг друга за последнее время), охранник бросил в темноту:

— Все в порядке, отбой.

Назад добираться оказалось труднее: после двух с половиной суток без сна подняться снизу на уровень двадцать второго этажа...

Работа в “стакане” кипела. После стольких часов непрерывного эфира мысль вошла на уровень подсознания. Но зато мы уже приноровились друг к другу, импровизировали, приспособившись к необычной обстановке.

Схема работы нашей бригады была такой. Кто-то вещал в микрофон. Остановиться было нельзя, так как люди

могли потерять волну. Аня и Толя отвечали на звонки, суммировали информацию, и мы тут же передавали ее в эфир. Кто-то вылезал к флагу, наблюдал за происходящими вокруг событиями, спускался к микрофону и тут же рассказывал о своих впечатлениях. Мы назвали эту рубрику "Новости с крыши". Кто-то в это время готовился сесть к микрофону и подбирал из разбросанных на столе бумаг давно не проходившие в эфир тексты, а также продумывал какой-нибудь импровизированный комментарий. При этом все — кроме Ани — курили и время от времени жевали пирожки.

Что запомнилось: нам звонили десятки людей (мы дали в эфир свой контактный телефон). Они сообщали нам об обстановке, о передвижениях войск. Звонил Геннадий Хазанов, рассказал об обстановке в здании гостиницы "Мир". Нам дозвонились из Милана — на ходу мы дали интервью миланскому радио. И только один звонивший пообещал нас в скором времени взорвать.

Но к такого рода звонкам журналисты "Радио России" привыкли давно: их раздавалось много после начала работы нашего радио в конце 1990 года. Это потом уже даже отпетые коммунисты привыкли к нашему присутствию в эфире. В ту ночь нам надо было бы бояться снайперов, но мы не успевали бояться — мешал бешеный ритм работы.

В начале седьмого утра к нам на смену прибыли Володя Бабурин, Илья Андросов, Андрей Ведута и Миша Кустов. Им предстояло работать все утро и весь день.

Я последний раз поднялся к флагу. Рассвело. Моросил дождь. Внизу догорали костры. Кризис миновал. Десятки тысяч людей переводили дыхание, осознавая, насколько продрогли они за эту ночь. На лестнице у набережной была смонтирована рок-сцена, кто-то настраивал аппаратуру. На реке стояли четыре буксира и две баржи, пришедшие ночью. Булыжник моста был разобран. Над площадью парил аэростат, к которому был прикреплен трехцветный российский флаг. Вскоре он переместится на флагшток над "Белым домом". За что и боролись.

Увидев меня, Пустовойт сказал:

— А вот и Поклад, у него свежие новости с крыши. Давай, Саша.

Я подошел к микрофону и сказал:

— Над Москвой серое, дождливое утро. Но я бы добавил еще один эпитет — оно доброе. Потому что мы выстояли. Доброе утро, дорогие москвичи.

* * *

Уже потом мы узнали о бегстве путчистов и их аресте. Потом "Радио России" вернется на длинные волны. Потом нам дадут сначала 20, а затем и 24 часа вещания в сутки. Все это будет потом. А пока мы с Пустовойтом, слегка прибалдевшие от бессонницы, пробираясь через баррикады, шли к метро.

— Слушай, — сказал я Сергею, — какой журналистский штамп я придумал: "Пробираясь через баррикады, мы шли к метро "Баррикадная". Я начну с этого рассказ о нашем с тобой эфире из "стакана".

— Ты этим лучше закончи, — сказал Серега.

Этим и заканчиваю.

Москва
Сентябрь, 1991

Читайте в шестом выпуске:

*Ладислав ФУКС
Дело советника
криминальной полиции*

*Сергей ТАСК
Ни ты, ни я*

*Заочный круглый стол "ДИПа"
ПУТЧ: до, во время, после*

Читайте в этом выпуске:

Жерар де Вилье. РЕКВИЕМ ДЛЯ ТОНТОН-МАКУТОВ

Жакмель сидел на корточках у открытого гроба. Мари-Дениз видела, как поднимается и опускается его мачете. Когда Жакмель достал из гроба большой черноватый зловонный шар и осторожно засунул его в пластиковый пакет, ее сотряс приступ тошноты. Теперь Жакмель мощными ударами вскрывал грудную клетку трупа — ему хотелось заполучить и сердце.

— Когда мы уйдем, ты всем расскажешь, что видела, как я унес голову Франсуа Дювалье.

Питер Устинов. ИГРА В ОСВЕДОМИТЕЛЯ

Как его звали? Его имя? Так ли уж важно, если за всю жизнь он сменил столько имен.

И все же, как свойственно многим, ему хотелось выделить из них одно, главное, — ведь человеку нужны корни, а то без корней в жизни, как без якоря. Он написал мемуары. Но даже не представил рукопись на заключение компетентным властям, утверждая, что нет властей достаточно компетентных, чтобы выносить суждение о его книге или хотя бы подвергнуть ее цензуре.

Флетчер Флора. ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ

Я направился в библиотеку и стал ждать. Примерно минут через пять туда вошла Дульчи Кун.

— Мистер Хэнд, — сказала она, — по-моему, я вполне ясно дала вам понять, что наши с вами дела закончены. Зачем вы снова пожаловали?

— Я пришел к вам сообщить, что нашел Мирну. На мгновение в комнате воцарилась тишина, никто не двигался и не дышал...